

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ АН СССР

СТРУКТУРА ТЕКСТА-81

ТЕЗИСЫ СИМПОЗИУМА

МОСКВА

1981

Редакционная коллегия:

Вяч.Вс.Иванов, Т.М.Судник, Т.В.Цивьян

© Институт славяноведения и балканистики АН СССР
1981 г.

1. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

А.В.Головачева, Вяч.Вс.Иванов, Т.Н.Молошная,
Т.М.Николаева, Т.Н.Свешникова, Е.А.Хелимский

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ (ПОСЕССИВНОСТЬ) И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ

(предварительный вариант анкеты)¹⁾

1. Типы выражения отношения (*r*) между обладателем (посессором – *Ps*) и обладаемым (объектом обладания – *R*).

А. Местоименные притяжательные конструкции.

A1. Сочетания имени *R* с посессивами (*Poss*) – притяжательными местоимениями (самостоятельными словами – *Pron_{poss}*) и/или притяжательными местоименными морфами (*M_{poss}*) отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности. Различение форм *Poss* по лицам, в особенности 3 лица и 1–2 лица.

A1a. Обязательность *Poss* при данных *R* в зависимости от семантики *R* (рус. обозначения локуса, множества, привычного действия, хронотопа: *моя земля, его класс, его эпоха*) и синтаксического контекста (анафора с предупоминанием *Ps*, упоминание *Ps* в данном предложении, в том числе как субъекта, или при известности *R* из предшествующего контекста и т.п.). Степень факультативности *Poss* в зависимости от лексико-семантических и синтаксических условий выражения *r* и *R*. Культурно-исторические условия возможности или обязательности появления *Poss* в конструкциях типа *его дождь* (хат. *le-tumil*), *его буря* (хат. *le-wawizil*).

A1б. Место *Poss* в местоименной конструкции и/или сочетании морфов (постпозиция – препозиция, возможность отделения другими словами и/или морфами и т.п.). Ограничения на образование агглютинативных цепочек, включающих *Poss* (например, в венгерском). Возможность следования *M_{poss}* за основой перед падежной морфой: хурритск. *ewri-wwa-s* ‘господин-наш (+ эргатив)’ = ‘нашим господином’.

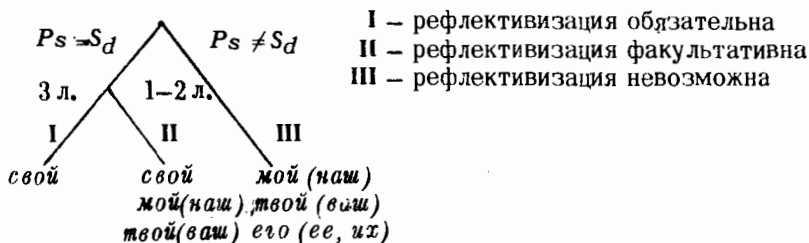
A2. Сочетание имени *R* с личными местоимениями (*Pron_{pers}*) в родительном, дательном и других падежах. Производность *Pron_{poss}* от *Pron_{pers}*. Синтаксическая синонимия и функциональные отличия при возможности дублирования выражения *r* посредством *Pron_{poss}* и *Pron_{pers}* (фр. *moi, mon père il sait trois langues*, буршаски *ja ʒ-ritj* ‘я + моя-рука’ = ‘моя рука’; ср. обе возможности в енисейском: кет. *ab op* ‘мой отец’ = *b-op*).

A2a и A2б. Обязательность *Pron_{pers}*, употребляемого в данной функции, его место в притяжательной конструкции. Конструкции типа др.-исл. *peir Attila* ‘они, Аттила’ = ‘Аттиловы люди’, греч. *οἱ ἀμφὶ τὸν Σοκράτην* ‘те, что с Сократом’.

A3. Сочетание имени *R* с притяжательно-возвратным местоимением (*Pron_{refl}*). Возможная двусмысленность *Pron_{refl}* в нем.: *Er liebt seine Tochter* ‘он любит свою/его дочь’; возможность двусмысленности не изменяющихся по лицам возвратных (“логофорических”)

местоименных слов типа тагальск. *sarili; nag-i-isip sila sa kanilarg sarili* 'они (*sila*) думают о себе самих/о своем (человеческом) я (*sarili*)?'

Аза. Правила рефлексивизации в зависимости от совпадения/несовпадения P_s с глубинным субъектом (S_d) для некоторых (восточных и западных) славянских языков:



Примеры несоблюдения этих правил в балканских языках: с.-х. *У време кадо је Вук радио негов Српски рјечник...* (несоблюдение правила I), ст.-сл. ДОВЛЕТЬ ДЪНИ ЗЪЛОБА СВОЮА (Еванг. от Матф., Юрьевский список, 1119г., VI¹34 – несоблюдение правила III).

А3б. Использование (или неупотребительность) $\text{Pron}_{\text{refl}}$ и/или Poss в согласованных по рефлексивности притяжательных конструкциях, в частности, с R абстрактного типа: аккузативных (R – имя душевного состояния или действия: рус. *скрывать (свой) страх*) и инструментальных (R – имя действия или качества: рус. *отличаться (своей) вежливостью*).

А3в. Семантика $\text{Pron}_{\text{refl}}$, особенности: следы значения взаимности и значения, связанного с обозначением социальной и/или семейной группы (в отличие от 'чужой'): рус. *свой – свойственник, свояк, свояченица, свекор, свекровь*, чеш. *svoji* 'супруги', алб. *vëlla* 'брат' < и.-е. **sue-le/udh-*, ср. рус. *свои люди* и т.п.; ср. и.-е. **swe-sor* 'сестра', ср. также алб. *vajzë* 'девушка' < **varia* < **suo-ro, vjehërr* 'свекор', *vjehërrë* 'свекровь', *vetë* 'сам' < **sue-* и т.п. Адвербиальные и другие производные от $\text{Pron}_{\text{refl}}$.

А3г. Соответствия между языками в употреблении $\text{Pron}_{\text{refl}}$. Ср. польск. *dobrze nam się dziś pracuje* (ср. рус. *хорошо работается*), нем. *mit dir arbeitet es sich gut zusammen* и т.п.

А3д. Особая притяжательная морфа (слово) со значением 'собственный' (англ. *own*, абх. *-тәы: с-ха-тәы* 'мой собственный').

А4. Сочетание имени R с указательным местоимением ($\text{Pron}_{\text{deix}}$) и/или определенным артиклем (A).

А4а. Выбор $\text{Pron}_{\text{poss}}$ или $\text{Pron}_{\text{deix}}$ в зависимости от ситуации и/или синтаксического контекста – анафоры вида $S_1 P_s \rightarrow S_2 R$ или $S_1 R \rightarrow S_2 R$, ср., например, ситуацию в польском и чешском, где для анафоры первого типа характерно преимущественное употребление $\text{Pron}_{\text{poss}}$, а для анафоры второго типа – употребление $\text{Pron}_{\text{deix}}$, иногда в сочетании с $\text{Pron}_{\text{poss}}$, и в русском, где для обоих типов анафоры характерно употребление $\text{Pron}_{\text{poss}}$: польск. S_1 (*jej oczy*) $\rightarrow S_2$ (*te (jej) oczy*) – рус. S_1 (*ее глаза*) $\rightarrow S_2$ (*ее глаза*).

A46. Формальные проявления связи категорий притяжательности и определенности. Возможность (или обязательность) выбора между *Poss* и *A* в контекстах типа анафорического предупоминания имен *P_s* и *R*, а также в других типах контекстов, содержащих имплицитное указание на отношение *r* между *P_s* и *R*.

Б. Именные притяжательные конструкции.

B1. Конструкции с родительным принадлежности (*Gen_{poss}*). Формальные изменения имени, сочетающегося с *Gen_{poss}* (аккадск. *status constructus* и т.п.).

B1a. Семантические и формальные ограничения на трансформацию $R + P_s \text{Gen}_{\text{poss}} \rightarrow P_s + \text{Poss}$. Ограничения на длину и число звеньев цепочки *Gen_{poss}*.

B1б. Порядок слов и/или морфов в конструкциях с *Gen_{poss}*. Возможность образования *Gen_{poss}* от целых словосочетаний (японские конструкции с *no*, саксонский родительный в ранненовоанглийском).

B2. Другие беспредложные именные притяжательные конструкции.

B3. Синонимия и функциональные различия притяжательных падежей.

B4. Предложные и/или послеложные притяжательные конструкции.

B4a. Конструкции с творительным (*Instr_{poss}*). Невозможность употребления "абсолютно неотчуждаемого" (см. II A1a) имени *R* в *Instr_{poss}* без атрибута: *человек с носом (ср. человек с бородкой), *стол с ножками.

B4б. Соотношение падежных и предложных и/или послеложных притяжательных конструкций. Ср. англ. конструкции с *of*, фр. с *de* в отличие от *Poss. Case*; польск. и чеш. конструкции с *od + Gen*: польск. *kołnierz od płaszcza* 'воротник пальто', чеш. *límeč od košile* 'воротник рубашки'.

B4г. Соотношение между предлогами (*Prep*) и послелогоми (*Postp*) и служебными пространственными именами, оформляемыми *Poss* (обычно неотчуждаемой принадлежности): адыгские, эскимосские и т.п. служебные пространственные имена с *Poss*, ср., например, адыг. *ы-бгъу* 'сбоку его' (*бгъу* 'бок'), кит. *димнь* 'поверхность'; ср. также польск. *wyszedł na ich spotkanie*. Использование *Poss* при пространственных именах существительных со значением 'левый — правый' (англ. *on his left* и др.). Этимологическая связь пространственных имен с названиями частей тела (рус. *посередине, внутри* и т.п.). Особенности конструкций с *Gen_{poss}* при пространственных именах.

В. Глагольные притяжательные конструкции.

V1. Наличие/отсутствие глагола-предиката 'иметь' ('иметься') и/или их синонимов (с дальнейшей дифференциацией на служебные и полнозначные и т.п.); использование глагола бытия в этой функции, ср. рус. *у меня есть — у меня нет*. Различные возможные типы отрицательных трансформаций (укр. *ні, нема*). Возможность соединения с местоименными обозначениями, ср. рум. *n-am cînd*, алб. *nuk kam kur* (букв. 'у меня нет когда' = 'нет времени'), польск. *nie tam kiedy* и т.п.

В1а. Особенности употребления "абсолютно неотчуждаемых" имен *R* в конструкциях с глаголом 'иметь'; невозможность употребления без атрибута: **иметь ножки*, **иметь глаза*. Возможность использования "относительно неотчуждаемых" имен *R* в этих конструкциях: *у него есть отец, у него есть борода, усы*.

В1б. Использование посессивного перфекта и других аналитических временных конструкций с 'иметь'. Лексические различия типа исп. *haber* 'иметь' – *tener* 'владеть', англ. *to have* – *have got*, яп. *iru* – *motto iru* и т.п.

В2. Конструкции с дательным принадлежности (Dat_{poss}). Преимущественное использование $Pron_{pers}$ по сравнению с существительными в роли *Ps* в дательнопосессивных конструкциях; степень употребительности существительных в этой функции в разных языках.

В2а. Роль семантики предиката в оформлении конструкций с Dat_{poss} : ср. рус. *поранить ему руку* (= *его руку*) – *подать ему руку* (= *свою руку*).

В2б. Семантические отличия Gen_{poss} , ср. польск. *okulary zasłaniają mu twarz* (+ *r Poss*) – *szachy zasłaniają mu całą świat* (– *r Poss*).

В2в. Семантические отличия $Pron_{poss}$ от Dat_{poss} при возможности дублирования выражения *r* посредством $Pron_{poss}$ и Dat_{poss} (с.-х. *вам олакшати ваше време*) или при невозможности их совместного употребления. Синонимия ст.-сл. МИ СЛОВЕСА (Савина книга, Еванг. от Матф., VII, 24) при СЛОВЕСА МОЕ в Маринском кодексе; БЛИЖНЯГО СИ (там же, V 73) – при ИСКРЬНЕГО СВОЕГО и т.п.

В2г. Обязательность /факультативность/ неупотребительность $Pron_{refl}$ в конструкциях с Dat_{poss} при $Ps = S_d$: рус. *вскрыть себе вены*, *поранить (себе) руку*, *взять (-) руки*.

В2д. Место Dat_{poss} в дательнопосессивных конструкциях. Синтаксические функции разных типов конструкции с Dat_{poss} . Конструкции с именем *Ps* в Dat и именем *Ps* в Nom : польск. *zwichnąć komuś (sobie) życie*. Конструкции с именем *R* в Acc , Nom и в косвенных падежах: чеш. *hríbata mně zahradu kazí*, польск. *czarna suknia już się mamie podarła*, рум. *interesul îmi scăzuse* 'интерес у меня (букв. 'мне') упал', чеш. *z kapsy mu visí šátek*.

В3. Конструкции с Acc_{poss} . Семантические различия Acc_{poss} и Dat_{poss} : рус. *поцеловать его в голову* – *поцеловать ему руку*, ср. польск. *poścłować go w rękę*.

В3а. Аккузативные конструкции типа польск. *boli mię głowa*, чеш. *svědí mě oko* 'у меня болит голова, чешется глаз'.

В3б. Проблема оформления *Ps* и *R* разными (в том числе двумя различными "именительными", как в японском) падежами.

В4. Русские конструкции *у меня*, семантически эквивалентные конструкциям В3а и части конструкций типа В2.

В5. Конструкции с другими косвенными падежами имени *Ps*.

В6. Конструкции с $Ps = S_d$. Согласованность по рефлексивности. Роль предиката в образовании таких конструкций, ср. рус. *держат*

(свое) обещание — чувствовать (чью-то) поддержку, утолять (свой, чей-то) голод.

В6а. Синтаксические функции разных типов конструкций с $P_s = S_d$. Конструкции с именем R в Ass ; обязательность /невозможность/ факультативность $Pron_{poss}$ в конструкциях, обозначающих действие части тела: *протянуть (свою) руку, открыть (свои) глаза*. Конструкции с именем R в $Instr$; обязательность /факультативность/ невозможность $Pron_{poss}$ в конструкциях, обозначающих действие, совершаемое поессором с помощью данной части тела; обязательность /факультативность/ невозможность употребления R при глаголах, обозначающих подобные действия: *махнуть рукой*, но: **писать рукой*. Конструкции с остальными падежами имени R .

В7. Соотношение $Poss$ с глагольными окончаниями: хурритск. *ta-a-na-u [tan-af]* 'сделано мной' = 'делание-мое', *še-e-ni-iw-wə [zeni-offe]* 'брат-мой' и т.п. Наличие спряжения, противопоставленного поессивному. Связь с эргативностью.

В8. Связь $Pron_{poss}$ и $Pron_{refl}$ с выражением возвратного, реципрокного (взаимного) и других залогов.

Г. Притяжательные конструкции с частицами.

Г1. Конструкции с частицей, служащей для выражения r : аккад. конструкции с частицей *sa* и $Poss$ типа *libbi-šu ša ahi-ya* 'сердце-его, [которое] моего-брата' = *lib ahi-ya* 'сердце моего брата', др.-евр. *le-sōpō šel hassōfer* 'язык (этого) писателя'.

Д. Другие способы выражения притяжательных отношений.

Д1. Выражение притяжательных отношений придаточными предложениями.

Д2. Синтаксические трансформации для $Poss$ (типа 'его → чей' и т.п.).

Д3. Притяжательные конструкции с прилагательными и их синтаксические трансформации. Синонимия (*сын человеческий* ← *сын человека*, ср. чеш. *bratrův dům* 'дом брата').

Д4. Сложные слова в функции передачи отношений между целым и частью.

Д4а. Сложные слова, соответствующие по смыслу конструкциям с родительным или предлогом: англ. *finger-end*, нем. *Kartoffelkraut*, ср. также пародийное обыгрывание возможностей образования сложных слов в немецком и английском языках у Джойса в шуточном университетском титуле: *Nationalgymnasiummuseumsanatoriumandsuspensoriumordinaryprivatdocentgeneralhistoryspecialprofessordoctor Kriegfried Ueberallgemein ("Ulysses")*.

Д4б. Конструкции с прилагательными, передающие партитивное отношение и обозначающие целое по характерной его части, и сложные слова, эквивалентные таким конструкциям: ср. фр. *jolie des yeux* и рус. *ясноглазая*. Партитивная функция сложных прилагательных типа яп. *асибяна* 'ногобыстрый', др.-греч. *ποδὸβικς*.

II. Семантическая классификация типов *Ps*, *R* и *r* по выделенным формальным критериям.

A. Различные степени неотчуждаемости.

A1a. "Абсолютная" неотчуждаемость (часть от целого, например, части тела, ряд понятий, неразрывно связанных с личностью, например, 'жизнь'; в некоторых языках также названия постоянно употребляемых предметов, например 'постель' и т.п.).

A1б. "Относительная" неотчуждаемость (отношения родства и некоторые другие социальные отношения, "факультативные" части целого типа 'борода', 'усы' и т.п.).

Проблема сочетаемости имен групп Ia и Ib с указательными и неопределенными местоимениями в разных языках.

A1в. "Окказиональная" неотчуждаемость ("неотчуждаемость" данного предмета в данной языковой ситуации): польск. *igła mi się w maszynie złamała*.

A1г. Другие возможные степени неотчуждаемости, ср. выделение названий одежды, пищи и т.п. в восточно-австронезийских языках.

A2. Типы грамматикализации разных степеней неотчуждаемости в языках мира.

B. Возможности социолингвистического, психологического и культурно-исторических истолкований подвижности границы между 'я' и средой, проводимых в грамматике разных языков. Лингвистическое использование существительных, входящих в семантическое поле обозначений собственности (англ. *the man of property* и т.п.).

Д) Предполагается, что каждый из пунктов анкеты или программы обследования соответствует вопросу, на который должен быть дан развернутый ответ (наличие-отсутствие, подтипы и их специфика) по отношению к каждому из описываемых и сопоставляемых языков.

Вяч. В. С. Иванов

СТРУКТУРА ХАТТСКИХ И ХЕТТСКИХ РИТУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ И СИСТЕМА ХАТТСКИХ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ

Для обосновываемой автором теории отнесения хаттского языка к северо-западно-кавказским существенно выявление на основе сопоставления хаттских и хеттских ритуальных текстов следующей системы притяжательных префиксов, являющихся для первых двух лиц также и субъектно-объектными префиксами глагола:

I л. ед. ч. (e)š : eš-wur 'моя страна', перевод предлагается на основании отождествления хат. *wa₂šhab-ma eš-wu_{ur} aš-ka-hhi-t* = хет. *DINGIRMEŠ KURMEŠ maniyahhir dair-ma-t* 'Боги страны передали для управления и это (эти) они установили' = -at *tapariyaweni-* 'этим мы-

владычествуем' (соответствия в двуязычном строительном обряде KUB II 2+) = LUGAL... *tapašī* 'царем ты владуешь' (о хаттском Боге Грозы в обращении к нему KUB XXXI 1 36 Rs. III 2, -3) = [šiu*n*iyāš-ma-za KUR-eaš... LUGAL-a-n... maniyahatallan DU-at 'он (Бог Грозы) царя правителем стран богов сделал' (архаическая молитва хаттскому Богу Грозы KUB XXXVI 89 Rs 49) = DU-aš-pat... LUGAL-un LU maniyah[ta]lan iyat... nu-šan KUR-e ḥuman... maniyah-ḥiškiddu 'Бог Грозы сделал царя правителем... и он постоянно правит всей страной' (Молитва хаттскому Богу Грозы I Bo T I 30 Vs. 3-6 + Bo 3138 Rs. III) = LUGAL-i-ma-mu DINGIRMES... utne E-ir-mitta maniyahhir nu-za LUGAL-ušša utne-met E-ir-mitta pahhašmi 'царю же мне боги... страну и дом мой передали для управления и я, царь, охраняю свою страну и свой дом' (переложенный с хаттского древнехеттский строительный обряд KUB XXIX 1 + 3, I 17-24), где хет. *udne-met* 'страна-моя' = хат. *es-wur*. В хаттском ритуале вызывания Бога Грозы KUB XXVIII 18 Rs R. Kol. 11, 12 подряд следуют в концах строк *es-wu_ulasne* 'мой-хлеба', *es-karamu* 'мои сосуды с вином' (< семитского названия вина, ср. хат. *wi_n-du karam* 'вино из винограда' > 'кравчий'), Хат. (e)š- сравнивается с кабард., адыг. *с(ə)-*, абх., абаз., *са-*, убых. *с()*, о.-вост.-кавк. (по С.А. Старостину) **čə-*, хуррит. *šū-*.

2 л, ед.ч. *u-*: *u-pulašnen* 'твоего хлеба' (KUB XXVIII 86 II 3), *u-pin* 'твой сын' (< семит. *bin-* с переразложением, приведшим к выделению *b-* как хаттского классного префикса), *u-zuh* 'твоя одежда' при *we* 'ты' (*we gizha e-n-t-ip* 'ты, Трон, возвышаешься', KUB XXVIII 18 Vs II 18), ср. кабард. *уэ*, адыгейск. *о*, абх., абаз. *ya-*, убых. *wə/ɔ*; о.-вост.-кавк. **цə*, хуррит.-урарт. *we-* 'ты' при родственном префиксе с теми же функциями: кабард. адыгейск. *у-(bi)-*, абх., абаз. *у-*, убых. *w-* и хурритском суффиксе 2 л, ед.ч. *-u-*.

3 л, ед.ч.: притяж. *le-* (*le-zuh* 'его одежда', *le-pin* 'его сын' и т.п.; может выступать перед классным показателем *wa_a-*: *le-wa_a-kattah* 'царицыно', *le-wa_a-sah* 'его зло'), родственное убых. *-l-* в притяжательных формах мн.ч.; абх. абаз. *-л-* (3 л. ж.р.), хуррит. *-lla* (суффикс мн.ч.); объектное *i-* в хат. *i-tu-u-e* [itfe] 'мы едим' (абх. *u-ḡ-eum* 'он что-то съел'), *n-i-bu-be* 'когда будем делать', *i-ma-lhi-b* 'ему (≠šši в хеттском варианте строительного ритуала) не делай (это-го)', соответствующее кабард., адыгейск. *u-* (притяж. префикс 3 л. ед.ч.), абх., абаз. *u-/u-*, убых. *у-* и хуррит. суффиксу *-ya* (в 3 л. ед.ч. глагола и в притяжательных формах);

3 л. мн.ч. (объекта) и возможно 3 л. ед.ч. (субъекта для стативных глаголов) *a-* в *a-š-ka-ḥhi-r* 'их-мне-передали-они', *a-n-tu-ḥ*, *a-n-da-ḥa* 'взял себе (их)', *a-n-ta-ḥa-n* 'поставил (их)', *a-m-bu* 'сделал (их)', *a-ne-š* 'положил (их)', *a-n-da-b-u* 'сделали/увидели (их)' (значение форм удостоверяется хеттскими соответствиями в строительном ритуале), *a-n-te-ḥ* 'их (дома-храмы) строил' (в мифе о Боге Солнца), *a-n-ti-u* 'стоит' (яблоня над источником в мифе о ней), соответствует адыгейск. *a-* в функции объекта 3 л. мн.ч. и пережиточному кабард.

а- в притяжательной функции, убых, а- как объекту 3 л, ед.ч, мн.ч., абх, а- как объекту 3 л, ед.ч.; хат, -h- как 3 л, мн.ч, объекта: *tu-h-ta-šul* 'он (Бог Грозы) выпустил (их) за собой' (в тексте мифа о луне, упавшей с неба), *t-u-t-ha-šul* (в параллельном тексте KUB XVII 28 II 5 с теми же мифологическими персонажами), *a-te-h-šul* (в параллельном тексте KUB XXVII 18 Vs. 13); *wa_a-sa-h wa_a-h-zi-herta* 'плохие (вещи) да скроют(ся)' (с согласованием по классному показателю *wa_a*, имеющему очевидные восточно-кавказские параллели, и по аффиксу объекта/субъекта 3 л, мн.ч, -h) в строительном обряде, *a-kka-tu-h* 'подняли (их)' (каузатив с *-kka-* = адыг, *-iʒə-* = убых, -γ-, ср. хат, *ha-gga-zzu-e1* = хет. *akutara* 'тот, кто дает пить', ст.-адыг, *иа-субе* 'поить'), соответствует адыг, *-xə-*, 3 л, мн.ч, объекта/субъекта,

1 л, мн.ч, -t-: *i-t-uu[f]-e* 'мы едим', соответствующее кабард, *-m-ə-* (притяж, *əu-*), адыгейск, *-m-*, чеч, экскл, *m-xo* 'мы', хуррит, суф. 1 л, мн.ч, *-t-illa*; в притяжательной функции: *te-wuri* наша страна (хаттский сакральный текст, обращенный к Богу Грозы, KUB XXVIII 18 Vs. 11, где использованы и глагольные формы с *t-*) *zariun te-pin* 'человека наш-сын = наш человек'; (там же, 12 и 21) *URU Hattus te-kattah* 'Хаттусаса наша царица' (KUB XXVIII 59 Rs. IV 5), *te-karamun* 'наших сосудов с вином', (a) *t-alip* 'наш язык' в контексте, где представлены формы с глагольным префиксом 1 л, мн.ч, *-t wa_a-t-u-ya* (с классным префиксом *wa_a*), *i-t-u-ya* (ср. *i-t-u-e* 'мы едим'), KUB XXVIII 40 III 9-16, *wa_a-(h) t-ah-ah* 'мы кладем', там же, 17.

2 л, мн.ч, *-ip*: *DINGIRMES-un ip-pulasni* 'богов ваш хлеб', *ip-wa_a-alipu* 'ваши языки' (с классным префиксом), *DINGIRMES-un ip-wi_i-warak* 'богов ваш тронный зал' (< аккад, *parakku*), ср. в том же тексте *washawi gizhip* 'богов трона' (ср. хурр, *keshi*, в угаритском алфавите *gš-h*). Структура хаттских ритуальных текстов симметрична: молящиеся называют себя в 1 л, мн.ч, (-t), богов — во 2 л, мн.ч, (ip-). Аффикс ip- (как и -h- в 3 л) выступает в глаголе и в префиксальной (в значении 2 л, мн.ч.), и в суффиксальной позиции — в последнем случае, по-видимому, безразлично к числу, как пишущийся посредством того же клинописного знака *-ip-* (-v) родственный хурритский суффикс 2 л, который при строго агглютинативной структуре хурритского получает значение мн. ч, только при прибавлении плюрализатора /š/.

А.В.Головачева

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПОСЕССИВНОСТИ

0. Посе́ссивность понимается нами как некоторое отношение (r) между двумя объектами (или двумя именами), которое может быть выражено притяжательным местоимением (Pron_{poss}). Помимо экспли-

1.5. Невозможность согласованности по r (для имен N_2 , не сочетаемых с $\text{Prop}_{\text{poss}}$), напр.: *Петр увидел солнце*. \emptyset означает отсутствие посессивных связей N_2 . N_1 N_2

2. Сравнивая описанные выше типы отношений между именами N_1 и N_2 , можно прийти к выводу, что согласованность по r зависит от семантики имени N_2 , семантики предиката и от синтаксической структуры, в которую входят имена N_1 и N_2 . Для описания $r\text{-Str}$ наиболее важны первые два типа отношений, поскольку именно согласованность по r формирует $r\text{-Str}$. Нами был составлен перечень $r\text{-Str}$, наиболее типичных для западнославянских и русского языков, выделены классы $r\text{-Str}$, характеризующихся общностью синтаксической связи и семантики составляющих их элементов. Здесь будет приведено краткое описание $r\text{-Str}$ с устойчивой согласованностью по r .

2.1. Именные $r\text{-Str}$ (Имя R служит дополнением при имени P_s).

В именные $r\text{-Str}$ входит весьма ограниченный набор семантических классов имен R , причем устойчиво согласованы по r только $r\text{-Str}$, в которых имя R означает часть от целого; особенностью таких $r\text{-Str}$, является невозможность употребления в них "абсолютно неотчуждаемого" (см. Анкету в настоящем сборнике, П.А.) имени R без атрибута: а) при одушевленном P_s : чешск. *muž s bradíčkou* (ср. *xmuž s očima*), польск. *mężczyzna z brodka, dziewczyna o jasnych włosach* (*xdziewczyna o włosach*); б) при неодушевленному P_s : русск. *стол с тумбой, стол с гнутыми ножками* (*xстол с ножками*). Устойчивая согласованность по r формируется здесь под влиянием двух факторов: синтаксической структуры и семантики имени R и выражается в невозможности подстановки $\text{Prop}_{\text{poss}}$, не кореферентного P_s (ср. неустойчиво согласованные именные $r\text{-Str}$: чешск. *muž v svých (mých) nedělních šatech*, польск. *kolega z twoim (moim) bratem*).

2.2. Глагольные (фразовые) $r\text{-Str}$. В глагольных $r\text{-Str}$ имена P_s и R являются актантами предиката P (сказуемого). Согласованность по r формируется в таких структурах под влиянием трех факторов: семантики P и синтаксической позиции имен P_s и R по отношению к P . В отличие от именных $r\text{-Str}$, глагольные $r\text{-Str}$ обычно не допускают атрибута при имени R .

2.2.1. Глагольные $r\text{-Str}$, в которых P_s может быть только агенсом.

А. R — часть тела P_s ; а) P обозначает действие, совершаемое P_s (имя P_s в Nom), при этом R (имя R в Acc) является и объектом, и участником действия (см. "простое телесное действие" у А.Вержибикой): польск. *wyciągnąć dłoń*, чешск. *podát dláň (někomu)*; б) P обозначает действие, совершаемое P_s с помощью R (имя R в Instr): польск. *wymachiwać rękoma*, чешск. *hledat očima*, русск. *искать глазами, чувствовать спиной* и т.п.; если P является единственным исполнителем действия, то имя R непременно опускается: польск. *chodzić (*nogami)*, *mówić (*językiem)* и т.п.; (ср. *mówić (swoim) głupim językiem*); в) P обозначает действие, при котором R играет роль некоторого "вместилища": чешск. *vzít do ruky*, русск. *выпустить из рук*; ср. также польские и чешские конструкции с 'иметь': чешск. *mít pěso*

napsáno mezi očima, mít v hlavě, польск. *mieć w ręku* и т.п.; г/Р обозначает принятие некоторого нежелательного воздействия, удара: польск. *wziąć po rysku*, русск. *получить по руке* (ср. ниже 2.2.2.В.); д) Р обозначает положение или движение *Ps* в пространстве относительно некоторого предмета: русск. *лежать головой к окну, встать спиной к двери* и т.п.

Б. *R* – действие или абстрактное понятие, тесно связанное с лицом; набор *P* для каждого *R* ограничен: чешск. *položit, dát život, přijít o život*, русск. *отдать жизнь, предаваться размышлениям* и т.п.; сочетание других *P* с теми же именами *R* требует эксплицитного выражения посессивности: *рассказывать о своей жизни, прервать свои размышления* и т.п.

В. *R* – некоторый предмет, тесно связанный с лицом и играющий роль вместилища для *Ps* (дом, постель, одежда); набор *P* ограничен: польск. *iść do domu, do łóżka, mieć coś w domu* (ср. *leżeć w swoim łóżku* – неустойчивая согласованность по *r*, *zobaczyć (jakiś, czyjś) łóżko* – несогласованность по *r*); польск. *rozebrać się z płaszczem, rozebrać się do koszuli*, чешск. *svléknout se z kabátu*. Вообще конструкции с *P*, обозначающим одевание/раздевание, могут считаться устойчиво согласованными по *r* лишь в том случае, если латентным предикатом для *r* считать не собственно принадлежность ("его одежда" = "одежда, которая ему принадлежит"), а принадлежность по функции ("его одежда" = "одежда, которую он носит"); при латентном предикате, обозначающем собственно принадлежность, *r-Str* с *P* 'снять' становятся неустойчиво согласованными по *r*: польск. *zdjąć (swój) /czyjś płaszcz*, а *r-Str* с *P* 'надеть' – несогласованными по *r*: *włożyć (swój) płaszcz ≠ włożyć czyjś, jakiś płaszcz* (напр., в магазине).

2.2.2. *r-Str*, в которых *Ps* может быть и агенсом, и пациенсом.

В таких *r-Str* *P* обозначает действие, которое может совершаться *Ps* по отношению к себе и своему *R* и некоторым другим агенсом по отношению к *Ps* и его *R*.

А. *P* обозначает некоторое воздействие на *R* (имя *R* в Acc), затрагивающее *Ps*; имя *Ps* (или заменяющее его *Pronpers*) или *Pronrefl* (в рефлексивных *r-Str*) стоит в *Dat* (*Dat_{poss}*). В такие *r-Str* входят только одушевленные имена *Ps*, поскольку для рассматриваемых языков неодушевленный *Ps* не может быть затронут действием, направленным на его *R*: а) *R* – часть тела *Ps*; при наличии дополнения в дативе *r-Str* с именами частей тела всегда устойчиво согласованы по *r*: чешск. *poranit si/někomu prst*, польск. *wyrwać sobie/komuś włosy*. В польском и русском языках рефлексивные *r-Str* при некоторых значениях *P* употребляются без *Pronrefl*, что делает их неустойчиво согласованными по *r*; так, *Pronrefl* регулярно опускается при *P*, обозначающем привычное (косметическое или гигиеническое) воздействие на *R*: польск. *myć ręce, malować usta* и т.п. Чешский язык, по-видимому, избегает неустойчивой согласованности по *r*; почти все чешские *r-Str* данного типа вне зависимости от конкретной семантики *P*

оформляются с помощью Dat_{poss} : чешск. *umýt si ruce, podmalovat si usta, pohladit si knír, ostříhat si nehty, vousy*. б) Остальные R : а) P обозначает действие, не связанное с нарушением отношения Ps/R

(обычно близкое к 'испортить/исправить'); при таких предикатах формируются $r\text{-Str}$ с именами родства, названиями одежды и других предметов постоянного использования, именами абстрактных понятий, тесно связанных с лицом и т.п.: польск. *poprawiać komuś/okulary, pościć, zepsuć komuś/sobie życie, weekend*, чешск. *kazit někomu stěští, poničit si šaty* и т.п.; б) P обозначает действие, связанное с нарушением отношения Ps/R ('отнять/вернуть'); $r\text{-Str}$ с такими P , помимо вышеперечисленных типов имен R , включают имена, обозначающие понятия, которые не мыслятся как обязательно принадлежащие лицу: предикаты, обозначающие качества или различного рода преимущества, имена чисто временного значения и т.п.: польск. *odjąć komuś władze, wdzięk, przywrócić komuś spokój*, чешск. *vzít někomu swobodu, čas*. Рефлексивные структуры встречаются редко: польск. *odebrać sobie życie*, чешск. *vzít si život*. В русском языке вместо Dat_{poss} используется конструкция $у + Gen$: *взять, отнять у кого-л. здоровье, свободу* и т.п. В отличие от $r\text{-Str}$ типа а, где Dat_{poss} часто взаимозаменяем с $Pron_{\text{poss}}$, $r\text{-Str}$ типа б являются единственной формой выражения посессивности при данных P .

б) P обозначает некоторое действие (вызванное внешним агентом), происходящее в локусе R и затрагивающее Ps ; семантика имен R почти столь же разнообразна, как и в $r\text{-Str}$ типа а; в польском и чешском имя Ps стоит в Dat (Dat_{poss}), в русском в зависимости от направления действия употребляется Dat_{poss} или $у + Gen$: русск. *положить кому-л./себе/ что-л. в карман, повиснуть у кого-л. на шее, плакать у кого-л. на могиле, выбить у кого-л. что-л. из головы*, польск. *skoczyć komuś pod koła (samochodu), płakać komuś nad grobem, wybić komuś coś z ręki*, чешск. *vytrhnout někomu (si) trn z nohy, látku z kalhot, pověsit se někomu kolem krku*.

в) P обозначает воздействие на Ps посредством воздействия на R ; имя Ps (или заменяющее его $Pron_{\text{pers}}$) или $Pron_{\text{refl}}$ (в рефлексивных $r\text{-Str}$) стоит в Acc (Acc_{poss}), имя R входит в предложные конструкции. В таких $r\text{-Str}$ более всего употребимы имена частей тела, но возможны $r\text{-Str}$ и с другими R : чешск. *pohladit někoho po tváři, poškubávat matku za sukni*, польск. *rocałować kogoś w rękę, uszkodzić kogoś na majątku* и т.п. Поскольку действие направлено на Ps , Acc_{poss} не может быть заменен на $Pron_{\text{poss}}$. Приведенные $r\text{-Str}$ часто имеют рефлексивные соответствия: русск. *хлопнуть себя по лбу, ущипнуть себя за руку и т.п.*

2.3. $r\text{-Str}$, описывающие нечто происходящее с R .

2.3.1. $r\text{-Str}$, описывающие нечто происходящее с R и затрагивающее Ps (имя Ps в Dat_{poss} , в русском — конструкция $у + Gen$): а) P обозначает некоторый процесс, происходящий с R , причина которого находится внутри Ps (чаще для абсолютно неотчуждаемых R): чешск.

chvějí se jí rty, польск. *serce mu zamiera, prędko mu się drą skarpetki*; русск. *у него дрожат руки, замирает сердце*; б) *P* обозначает некоторый внешний по отношению к *Ps* процесс, происходящий с *R* и затрагивающий *Ps*: чешск. *syn jim šel na vojnu*, польск. *koń mu zwichnął nogę*, *umarła mu żona*, русск. *у нее порвалось платье, у них сын учится в пятом классе*; следует заметить, что русская конструкция *y + Gen* шире, чем *Dat_{poss}*, она может включать и неодушевленное имя *Ps*, у которого нечто происходит с *R* (частью о *лого*): *у стула отломалась ножка*, ср. также дубликацию конструкции *y + Gen* в русском просторечии для обозначения "ступенчатой" посессивности: *у меня у платья карман отрывается*.

2.3.2. *r-Str* описывающие физическое страдание, испытываемое *Ps* в локусе *R* (имя *Ps* в *Acc_{poss}*, в русском — конструкция *y + Gen*): чешск. *bolí ho hlava, svědí mě oko, kůže ho svrbí*, польск. *boli ją głowa, swędzi mię palec*, русск. *у меня болит голова, коет рука*.

В отличие от *r-Str* типа 2.3.1., *r-Str* типа 2.3.2. обычно не могут быть заменены на конструкции с *Pron_{poss}*.

3. Приведенное выше краткое описание *r-Str* польского, чешского и русского языков с устойчивой согласованностью по посессивности позволяет выделить некоторые наиболее существенные черты *r-Str*: а) *r-Str* возможны в первую очередь для одушевленных имен *Ps*; б) в *r-Str* входят такие имена *R*, семантика которых каким-то образом связана с лицом, и чем теснее эта связь, тем больше вероятность образования *r-Str*; в) невозможность замены *r-Str* на конструкцию с *Pron_{poss}* характеризует аккумулятивные *r-Str* (2.2.2.В. и 2.3.2), а также дативные *r-Str* с *P'* 'отнять/вернуть' (2.2.2.А.β); такие структуры являются более "жесткими" в отличие от более "свободных" остальных дативных структур; это связано с семантикой предиката *P*, актантами которого являются имена *Ps* и *R*. Чем в большей степени действие, обозначенное предикатом *P*, "затрагивает" *Ps*, тем более вероятно, что именно *r-Str* станет единственно возможным средством выражения отношения посессивности между данным посессором и объектом.

Т.Н.Молошная

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРТИКЛЕЙ В БОЛГАРСКОМ ТЕКСТЕ

В лингвистических работах последнего времени неоднократно обсуждалась артиклизация как формальное средство грамматики текста. Назовем, например, статью Х.Вайнриха "Текстовая функция французского артикля" (В кн.: "Новое в зарубежной лингвистике, Уч. М., 1978). Поскольку текст линейен, внимание слушающего или читающего может быть ориентировано в двух направлениях — назад (пред-информация) или вперед (пост-информация). Определенный артикль направляет внимание слушающего и читающего к пред-информации,

а неопределенный — к пост-информации. В тексте не может быть слишком много показателей нового, поэтому число определенных артиклей в несколько раз превышает число неопределенных — утверждает Х. Вайнрих. В отрывке из рассказа А. Камю "Растущий камень" он насчитывает 17 неопределенных и 43 определенных артикля. Во французском языке противопоставление артиклей можно считать бинарным (определенный — неопределенный), если отказаться в данном случае от рассмотрения партитивного артикля, как это сделал Х. Вайнрих. В болгарском же языке, где положительно репрезентируется только определенный артикль (член — по болгарской традиционной терминологии), противопоставление членных и нечленных форм существительных не является бинарным. В то время как членная форма — это и слово с неопределенным артиклем и слово с так называемым нулевым артиклем, т.е. значащим отсутствием артикля, выражающим отвлечение от классификации и индивидуализации. Таким образом, система болгарского артикля может быть представлена трехчленным противопоставлением определенный артикль (членная форма) — неопределенный артикль (нечленная форма) — нулевой артикль (нечленная форма). Подробнее о значении нулевого артикля. Нулевой артикль употребляется тогда, когда предмет, обозначенный существительным, берется вне какого-либо соотнесения с классом предметов, т.е. когда отсутствует как момент классификации, так и момент индивидуализации. Нулевой артикль характерен для слов, обозначающих вещество и абстрактные категории, например, болг. *вино*, *любов*. Нулевой артикль может также получать значение обобщения, например, *език* — язык вообще и *езикът* — какой-то конкретный язык. В случае имен собственных предмет рассматривается вне классификации и индивидуализации. Такое же значение имеет нулевой артикль и при нарицательных именах близкого родства, например, *син му Стойчо*. Нулевой артикль следует отграничивать от таких случаев, когда неупотребление артикля не несет семантической нагрузки и вызывается какими-либо техническими или стилистическими соображениями. Так, артикль может не употребляться из соображений краткости и экономии с именами нарицательными, стоящими перед географическими названиями, названиями газет, журналов, в заголовках (*град София*, *вестник "Искра"*, *"Мъртви души"* и т.д.). Часто артикль опускается по языковой традиции в разного рода устойчивых выражениях, например, в именах нарицательных, являющихся титулами (*цар Симеон*, ср. *директорът Тодоров*, где нарицательное имя обозначает не титул, а должностное звание); во многих выражениях типа *живея на село*, *вземам на ръце*, *напрягам сили* и пр.; в других аналогичных выражениях член присутствует (*живея на града*). По соображениям традиции и стиля определенный член часто не употребляется в народных песнях, в пословицах и поговорках. Нулевой артикль и неупотребление артикля по техническим причинам известны и во французском и в других артиклевых языках. Х. Вайнрих от этого абстрагировался. Но даже если учитывать нулевой артикль,

это не изменит выводов о роли определенной и неопределенной артиклей во французском тексте, ибо там оба они имеют положительное выражение. В болгарском же языке обязательно необходимо учитывать нулевой артикль и неупотребление артикля, чтобы отделить их от неопределенного артикля, имеющего одинаковое с ними материальное воплощение.

Рассмотрим распределение названных выше артиклей в конкретном болгарском тексте. Был выбран рассказ Елина Пелина "Кумови гости". Здесь отмечено всего 156 словоупотреблений существительных. Из них 57 стоят в членной форме. Если противопоставлять лишь по формальному признаку наличия/отсутствия члена, могло бы создаться впечатление, что в болгарском тексте гораздо больше неопределенных артиклей (показателей нового), чем определенных. Но поскольку нечленная форма объединяет под своей материальной оболочкой и неопределенный артикль, и неупотребление артикля по техническим и стилистическим причинам, сразу же можно сказать, что это не так. Среди 99 нечленных форм существительных в нашем рассказе 44 выражают значение неопределенного артикля, например, (из первого абзаца -- в порядке встречаемости) *в село, е празник, с трепкав ек. чуха работници, заскърцаха кола, заглъчаха орачи, черни угари, златно семе* и пр. Неопределенный артикль усматриваем здесь потому, что это первые упоминания названных предметов. Нулевой артикль находим в 34 случаях употребления нечленных форм. Например, *се същите тѝги и радости* (здесь перечислено несколько предметов, дающих представление о целом, при этом упомянуты абстрактные понятия); *настана тишина и предпразничен покой* (также перечислены абстрактные понятия); *син му Стойчо, снаха му Яна* (это имена родства со следующими за ними притяжательными местоимениями); *цяла нощ* (значение целого); *със сено* (название вещества); *със вино* (то же); *да не стана пакост* (абстрактное понятие в устойчивом выражении); *с благославия* (то же); *на кум Милен, чичо Драже, свекър, свекърва* (имена родства); *с любов загледаха* (абстрактное понятие) и пр. Член не употребляется по установившейся традиции в некоторых застывших сочетаниях слов, например, *преди залез, доведена в къщи, преди месец, на гости ще отидат, целуна ръка, много здраве, спря зал село, метна ръка, не сме в село, плесна ръце, рече от сърце* и пр. Опущен член также в заголовке нашего рассказа. Всего насчитывается 20 подобных нечленных форм. Таким образом, тезис Х.Вайриха о том, что определенных артиклей в тексте всегда больше, чем неопределенных, подтверждается и болгарским материалом. Но в болгарском языке это менее очевидно, чем во французском, так как положительное выражение имеет только определенный артикль.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛЬНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Формальный семантический анализ предложения – это правила установления соответствия между его синтаксическим и семантическим представлениями. Анализ адекватен естественному языку, если конечный продукт анализа удерживает всю семантическую информацию, выраженную в предложении средствами этого естественного языка, и только такую информацию.

2. В данной работе семантический анализ рассматривается с точностью до установления соответствия между главными частями полных представлений, а именно, между глубинно-синтаксической структурой (ГСС) предложения и его поверхностно-семантической структурой (ПСемС).

2.1. ГСС предложения, являющаяся объектом анализа, – это дерево зависимостей, в узлах которого стоят имена глубинно-синтаксических лексем с наборами семантически содержательных граммем, например, ДОМ, ед. В число глубинно-синтаксических лексем входят не только реальные, но и фиктивные лексемы, эксплицирующие значения ряда поверхностно-синтаксических конструкций (синтаксем). Так, предикативной конструкции с обязательным постпозитивным подлежащим и сказуемым в форме императива единственного числа, стоящим в самом начале препозитивного придаточного предложения (*Приди мы минутой раньше, мы бы успели на поезд*), в ГСС соответствует фиктивная лексема *ИРРЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ. Таким образом, собственно семантическая информация сосредоточена в ГСС исключительно в лексемах и граммемах. Стрелки подчинения, связывающие узлы ГСС, универсальны и асемантически, т.е. показывают только внутреннюю синтаксическую организацию смыслов.

2.2. ПСемС, являющаяся продуктом анализа, – это граф, в узлах которого стоят слова "национального" семантического языка (семы), а дуги отражают предикатно-аргументные связи между ними. Семы, и только они, кодируют всю собственно семантическую информацию ПСемС. Это значит, что различные подструктуры ПСемС являются образами либо реальных лексем, либо фиктивных глубинно-синтаксических лексем, либо семантически содержательных граммем, имеющих в соответствующей ГСС.

2.3. Для осуществления преобразования ГСС в ПСемС необходимы следующие четыре класса правил: 1) правила формирования оптимального набора значений лексем и граммем для узлов ГСС; 2) правила замены каждой лексемы и граммемы их семантическими образами – фрагментами ПСемС; 3) правила слияния этих фрагментов в более крупные блоки ПСемС; 4) фильтры для установления семантической правильности ПСемС, построенной тремя предыдущими наборами правил.

3.1. На первом шаге семантического анализа возникает проблема снятия ложной многозначности, представляющей в двух ипостасях: ложная многозначность в пределах узла и ложная многозначность в пределах всей ГСС.

3.1.1. В общем случае узел ГСС может быть представлен в виде набора позиций – позиции лексемы и ряда позиций семантически содержательных граммем, например: ИГРАТЬ, наст, несов, изъяв. В каждой позиции возможно более одного значения; ср. разные значения глагола ИГРАТЬ во фразах *играть с кошкой*, *играть в шашки*, *играть на рояле*, *играть людьми* и разные значения граммем несов и наст во фразах *За стеной кто-то играет Бетховена* (актуально-длительное значение), *По утрам он играет Бетховена* (узусуальное значение), *Завтра он играет Бетховена* (значение предстоящего действия), *Вы играете Бетховена?* (значение потенциального действия), *Тут я сажусь за рояль и играю Бетховена* (настоящее историческое). Чтобы избавиться от большого числа принципиально допустимых, но нереализуемых в данном языке комбинаций лексических и граммемных значений, необходимо сформулировать ограничения на правильные комбинации значений для произвольного узла ГСС. Одно из таких ограничений запрещает комбинацию перформативного значения лексемы (если оно есть) с актуально-длительным значением граммеы несоч (фраза типа *Я долго клянусь, что я невиновен* может быть осмыслена как правильная только в настоящем историческом, но не в актуально-длительном значении).

3.1.2. Точно такая же проблема, но только в неизмеримо больших масштабах, возникает и для ГСС в целом. Для ее решения, помимо формулировки правил сочетаемости значений лексем и граммем в пределах всей ГСС, похожих на ограничения типа 3.1.1., применяются и другие правила. Основное из них гласит, что в неметаязыковом контексте для многозначной ГСС следует выбирать ту из принципиально мыслимых ее интерпретаций, для которой повторяемость сем в ПСемС-ах составляющих ее лексем и граммем максимальна.

3.2. Главные проблемы второго шага семантического анализа, т.е. семантической интерпретации выбранных значений лексем и граммем, могут быть сформулированы следующим образом:

3.2.1. Необходимо локализовать тот элемент (лексему или граммему), который является носителем данного значения. Трудность состоит в том, что в естественном языке одни и те же значения в почти одинаковых условиях выражаются существенно различными средствами. Потенциальное значение во фразе *Вы играете Бетховена?* выражено, скорее всего, граммемой несоч, а во фразе *Мой сын говорит по-французски* то же самое значение присуще, по данным русских толковых словарей, лексеме ГОВОРИТЬ.

3.2.2. Весьма нетривиальной задачей является истолкование значений лексем и граммем, т.е. построение для них необходимых и достаточных ПСемС. Особенно сложны для истолкования граммеы

глагольных категорий и фиктивные лексемы, эксплицирующие значения синтаксем, потому что важнейшие компоненты значений таких граммем и лексем спрятаны в трудно доступные части ПСемС – пресуппозиции, модальные рамки, рамки наблюдения. Значение граммемы сов в контексте лексем типа НАЧИНАТЬСЯ, КОНЧАТЬСЯ, ОБРЫВАТЬСЯ, ПОВОРАЧИВАТЬ и т.п., когда подлежащим при них является имя пространственного объекта, включает сложную модальную рамку с вложенной в нее рамкой наблюдения: *Около морены тропа кончалась <обрывалась>* = ‘Около морены тропа кончалась <обрывалась>, и говорящий мыслит наблюдателя, перемещавшегося по тропе, сознание которого зарегистрировало этот факт’. Весь выделенный разрядкой текст (за исключением, разумеется, смысла ‘тропа’) является экспликацией значения граммемы сов в указанных условиях. Сравнение фиктивной лексемы *ИРРЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ (см. 2.1.) с ее ближайшей перифразой ЕСЛИ БЫ (*мы пришли минутой раньше, мы бы успели на поезд*) показывает, что, при возможном совпадении пресуппозиций (‘мы не пришли минутой раньше и опоздали на поезд’), первая единица отличается от второй нетривиальной модальной рамкой: ‘говорящий считает ситуацию Р(ср. “мы пришли минутой раньше”) желательной или нежелательной’.

3.2.3. Отдельной интересной и непростой задачей является правильное распределение найденных элементов значения между различными частями ПСемС – ассерцией, пресуппозицией, модальной рамкой и рамкой наблюдения. Понять, которой из этих четырех частей принадлежит тот или иной кусок совокупного значения языковой единицы, важно потому, что они ведут себя очень неодинаково относительно системы семантических преобразований и свойства правильности ПСемС (см. ниже).

3.3. На третьем этапе анализа – этапе слияния отдельных значений в более крупные блоки – возникают две трудности.

3.3.1. Одна из них связана с тем, что сложение значений в естественном языке происходит часто по неаддитивным законам: в процессе слияния друг с другом значения лексем и граммем могут претерпевать сложные превращения – обогащаться, редуцироваться, менять свои области действия и т.п. Слова, обозначающие физические параметры или линейные размеры вещей (ВЕС, ВЫСОТА, ДЛИНА, ДАВЛЕНИЕ, СКОРОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА, ЦВЕТ и т.п.), имеют по две семантические валентности. Своей первой валентностью такое существительное присоединяет к себе название объекта, которому присущ данный параметр (*высота Монблана, скорость света*), а второй – значение величины. Значение величины выражается либо явно (*высота в 1000 метров, скорость в 300 000 км/сек*), либо неявно; ср. *Мы были на высоте Монблана, Никакое физическое тело не может лететь со скоростью света*. В последнем случае в принципе омонимичные словосочетания *высота Монблана, скорость света* имеют значение ‘высота, равная высоте Монблана’, ‘скорость, равная скорости света’. Смысловые компоненты, выделенные разрядкой,

не входят в каноническое толкование параметрических существительных и должны вырабатываться специальным правилом семантической модификации.

3.3.2. Другая трудность связана с тем, что правила обогащения, редукции, мены областей действия далеко не всегда носят общий характер. Имеется громадное число правил (по-видимому, десятки тысяч), характеризующих поведение отдельных слов в отдельных значениях, а иногда даже и в отдельных грамматических формах или синтаксических конструкциях. Существительное **ТЕМПЕРАТУРА** отличается от прочих параметрических существительных, в частности, тем, что в конструкциях, когда его первая валентность насыщается словами со значением отрезка времени (*средняя температура сентября < зимы >*), оно наращивает не включенный в каноническое словарное толкование смысл 'атмосферный воздух': *температура Р X-a* = 'температура Р атмосферного воздуха, имеющая место в отрезок времени X'.

3.4. На последнем этапе семантического анализа возникает задача проверки правильности построенной ПСемС. Семантика естественного языка свободна и допускает почти неограниченные нарушения законов логики и здравого смысла. В частности, логические противоречия и абсурды сами по себе нисколько не нарушают семантической правильности высказываний и, следовательно, ПСемС. Нарушения возникают лишь тогда, когда логически исключаящие друг друга компоненты смысла находятся, по крайней мере частично, в пресуппозициях или модальных рамках ПСемС: в семантически правильной ПСемС содержание пресуппозиций и модальных рамок должно быть внутренне непротиворечиво и не должно противоречить ассертивным частям ПСемС.

4. Получением семантически правильной ПСемС завершается лишь часть лингвистической процедуры семантического анализа предложения. После этого возникают следующие проблемы: 1) слияние ПСемС с остальными частями семантического представления предложения, в особенности, с его коммуникативной структурой; 2) введение полного поверхностно-семантического представления предложения в последовательность других таких представлений, отражающую в целом связный текст; 3) слияние результатов чисто лингвистического семантического анализа предложения с результатами его логического и информационного анализа (на основе модели мышления и модели представления знаний о внешнем мире).

5. Изучение проблематики семантического анализа предложения дает интересный побочный результат, из которого вытекает одно важное следствие, имеющее отношение к лингвистике текста.

5.1. Значения предложений, с одной стороны, и значения таких содержательных единиц языка, как лексемы, грамемы и синтаксемы, с другой, обнаруживают некоторые глубокие общие принципы организации. Все названные типы значений многослойны и в общем случае включают, как мы видели, ассертивную часть, пресуппозиции,

модальную рамку, рамку наблюдения. Все они представимы на одном и том же семантическом языке, с помощью принципиально одинаковых или даже одних и тех же семантических структур. Очевидно, например, что ПСемС (разрывной) лексемы ЕСЛИ..., ТО, граммемы деепр. в условном значении (*Не зная броду, не суйся в воду* = 'Если не знаешь броду, то не суйся в воду') и синтаксемы "нереферентная именная группа в роли подлежащего плюс глагольная группа со значением узуальности в роли сказуемого", тоже имеющей условное значение (ср. *Дети склонны проказничать* = 'Если X – ребенок, то X склонен проказничать'), должны быть очень похожими, если не идентичными. Конечно, сентенциальные, лексические, граммемные и синтаксемные значения обнаруживают и различия. Пресуппозиции предложения, при неизменной синтаксической структуре, могут меняться, а пресуппозиции лексемы, граммемы и синтаксемы постоянны. По сравнению с лексическими значениями в значениях граммем и синтаксем больше доля субъективных элементов смысла (пресуппозиций, модальных рамок, рамок наблюдения), и они в гораздо большей мере обусловлены контекстом. Поразительным, однако, является не факт различий, а факт семантических сходств между единицами столь различной природы. Если же учесть, что правильное предложение является элементарным образцом связного текста и легко разворачивается в семантически эквивалентный ему связный текст (и обратно), то придется признать, что глубокие семантические аналогии обнаруживаются между текстом и лексемой, текстом и граммемой, текстом и синтаксемой. Лексема, граммема и синтаксема суть латентные тексты. Семантическое устройство этих микроструктур языка повторяет устройство микро- и макроструктур текста, демонстрируя тем самым принципиальное единство всей языковой вселенной.

5.2. Овладение загадками этих простейших структур хотя бы в пределах предложения предстает как необходимое предварительное условие для постановки гораздо более сложного вопроса о лингвистике текста.

Е.В.Падучева

О СВЯЗНОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА

1. Проблема связности диалогического текста до сих пор привлекала к себе относительно мало внимания, а при некоторых подходах – например, по Р.Харвегу, – диалогический текст вообще исключается из рассмотрения как не обладающий связностью. Между тем некоторые источники связности в диалогическом тексте даже более очевидны, чем в "обычном", монологическом. Существенны в рассматриваемой связи, в первую очередь, следующие особенности диалогического текста. (I) В монологическом тексте те единицы, связность которых подлежит изучению, остаются пока неизвестными, в

то время как для диалога это, очевидным образом, реплика. (II) В диалоге каждое высказывание имеет автора и обращено к собеседнику, т.е. непосредственной очевидностью является его вхождение в речевой акт (р.а.); между тем для монологического текста его встроенность в р.а. восстанавливается лишь в результате сложного анализа. (III) Реплики диалога уже на психологическом уровне ориентированы друг на друга: они соотносятся одна с другой как стимул и реакция, и нарушение этого соотношения карается "правилами игры"; а стимулы, обуславливающие продолжение монологического текста, многообразны и трудноуловимы.

2. Реплики диалога могут быть связаны теми же средствами, что и предложения монологического текста — это кореферентность, выражающая единство предмета речи; разные виды семантических повторов; разного рода синтаксические связи (Т. Рейнхарт). В диалоге, однако, на 1-й план выступает новый вид связности, которую естественно назвать прагматической — это, прежде всего, а) связи между р.а., в состав которых входят соотносительные реплики, т.е. естественные соотношения, в силу которых, например, за вопросом должен нормально следовать ответ; и б) связь содержания одной реплики с условиями успешности (по Дж.Серлю) р.а., в состав которого входит другая (один из типов диалогических реакций, описанных Н.Д.Арутюновой). Если выявить иллокутивную силу высказывания с помощью эксплицитной перефразировки по А.Вежбицкой, то прагматическую связность можно свести к семантическому повтору; однако представляется предпочтительным рассматривать ее в отдельном качестве.

3. Можно считать, что естественной реакцией на утверждение является возражение/подтверждение, развитие идеи; на вопрос — ответ (своей структуры для каждого типа вопроса); на побуждение — согласие/отказ (кроме того, на любой тип р.а. естественной реакцией будет уточняющий вопрос). Проекция собственного содержания высказывания на контекст его р.а. позволяет выявить в этом содержании дополнительные импликации. В диалоге — *Тит, иди молотить!* — *Брюхо болит!* из ответной реплики вычитывается дополнительный смысл 'Поэтому не пойду' — в силу того, что а) в контексте предшествующего р.а. побуждения эта реплика должна выражать согласие или отказ; б) она выражает потенциальную причину отказа. В диалоге Леди Чилтерн. *Роберт не способен на опрометчивый поступок* <...> Лорд Горинг. *Всякий способен на опрометчивый поступок* 2-я реплика осмысливается как возражение к утверждению, содержащемуся в 1-й: понимается, импликация *всякий способен* → *Роберт способен* допустима всегда, но актуальность этой импликации порождается контекстом, в котором уместно возражение. Основной источник сложности при описании прагматических соотношений между соответствующими р.а. состоит в обилии косвенных (по Дж.Серлю) р.а. в живой речи.

Так, в диалогах Графиня внучка. *Вернулись холостые?* Чацкий. *На ком жениться мне?*; — *Поезжай в город!* — *Чего я там не видел?* вопросительная в форме реплика выражает в одном случае отрицательное суждение, в другом — отказ от предложения.

4. Реплика, обращенная на условие успешности предшествующего р.а., может выражать либо отрицание этого условия (или, быть может, более мягко — сомнение, удивление)* — С не признает, что некоторое необходимое условие успешности р.а. выполнено для Г, или отрицает предпосылку Г, что оно выполнено для самого С, — либо подтверждение того, что условие выполняется.

Примеры реплик, обращенных на условие успешности р.а. вопроса. а) Условие 'Г хочет иметь информацию': Фамусов. *Что за история?* Софья. *Вам рассказать?*; А. *Куда ты?* В. *А тебе интересно?*.

б) Условие 'Г не знает ответа': А. *Что же мне делать?* В. *Ты сам знаешь.* в) Условие 'С знает ответ': — *А в чем же софист сведущ?* — *Не знаю, что тебе ответить.*

Примеры реплик, обращенных на условие успешности р.а. утверждения. а) Условие 'Г имеет основания считать р истинным': Моцарт. *Ведь гений и злодейство — две вещи несовместные.* <...> Сальери. *Ты думаешь?* Реплика, обращенная на это условие, имеет тенденцию переходить в конвенциализованный косвенный речевой акт, выражающий возражение; ср. *Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?* — *Почему не можете?* <...> *Конечно же можете* (Аверченко); *почему р?* ≈ 'На каком основании ты считаешь, что р?' ≈ 'Нет у тебя достаточных оснований' ≈ 'Неправда, что р'. Что функционально это возражение, а не вопрос, видно из того, что дальше продолжается речь того же лица. б) Условие 'С знает, что р': А. *Здесь ступеньки.* В. *Ты думаешь, я сам не вижу?*; — *Протагор приехал.* — *А ты только что узнал?* (= 'Я-то давно знаю').

5. Реплика может быть реакцией на один из постулатов дискурса (по Г.Грайсу) — на Постулат релевантности: А. <...> В. *К чему ты это?*, на Постулат ясности выражения: А. <...> В. *Ничего не понимаю.* В диалоге А. <...> В. *Не скажу* (или: *Не спрашивайте*) ответная реплика выражает отказ от соблюдения Принципа кооперации.

6. Реплики типа *Простите, вы что-то сказали?* — это реакция не на речевой акт, а на событие, которое с точки зрения слушающего не реализовалось как речевой акт.

7. Реакции, обращенные на р.а. или на постулаты дискурса — это всегда косвенные реакции на высказывание. Говорящий в этом случае терпит коммуникативную неудачу: ожидаемой является реакция на содержание высказывания, а не на р.а. К косвенным реакциям принадлежит также экспликация собеседником того обстоятельства, что он не разделяет с говорящим его презумпций, ср. *А в Колизее ты был?* — *В каком Колизее?* Противоречие с презумпцией — это для монологического текста вид неправильности, а для разных говорящих обмен репликами, направленный на выяснение презумпций, соответствует одному из видов прагматической связности.

* Сокращения: Г — говорящий, С — слушающий, р — высказывание,

8. Прагматической является, по-видимому, также связность, которая покоится на выявляемых говорящими импликатурах дискурса. Пример Г.Грайса: *A* (стоя около машины). *У меня кончился бензин. В. Бензоколонка за поворотом*; давая свой ответ, *B* обязан считать, что в данной бензоколонке в данный момент можно купить бензин — или по крайней мере не исключать такой возможности, в противном случае *B* нарушал бы Постулат релевантности. Т.о., связность диалога достигается импликатурой 'Бензоколонка работает', а сама эта импликатура возникает как следствие предположения связности. Импликатуры отличаются от непосредственно высказанных утверждений тем, что говорящий, в принципе, может от них отпереться. Ср. эпизод из романа А. Lurie "Love and friendship", где герой, на просьбу женщины никому не рассказывать о некотором только что происшедшем событии, отвечает *A gentleman never tells*, но потом, когда выясняется, что он рассказал, говорит: *I never said I was a gentleman* (хотя только импликатура о том, что он считает себя джентльменом, позволяет расценить его 1-ю фразу как релевантную по отношению к просьбе, т.е. как являющуюся согласием ее выполнить). Другое свойство импликатур дискурса — их неоднозначность. Часто человек, действуя по некоторому стандартному "сценарию", считает, что вычислил языковое намерение собеседника, и реагирует в соответствии с этим вычислением, а на самом деле это вычисление неправильно; ср. диалог — *Где здесь мебельный магазин?— Мебельный магазин закрыт* в ситуации, когда мебельный магазин нужен был спрашивающему только как географический ориентир.

Е.Л.Гинзбург, М.А.Пробст

КОНТЕКСТ КАК СТРОЕВАЯ ЕДИНИЦА СЕМАНТИКИ ТЕКСТА

Текст служит одновременно как целям моделирования системы наших представлений о мире, так и целям коммуникаций. Любая строевая единица текста должна обеспечить достижение этих целей. Исходными предпосылками являются следующие положения:

1. Совокупность наших представлений о мире образует систему с развитым набором отношений. Единицы системы принадлежат одновременно многим отношениям. Под системой понимается не только множество (алфавит) с заданными на нем отношениями, но также и аксиомы, связывающие разные отношения, и преобразования, устанавливающие эквивалентность разных объектов системы.

2. Язык как система моделирования обладает следующими специфическими чертами:

2.1. Дискретностью. Текст как объект в модели строится из отдельных единиц-слов.

2.2. Конечностью. На ограниченном интервале текста содержится лишь конечное число единиц.

2.3. Многозначностью. В модели существует достаточно много объектов, имеющих один и тот же прообраз.

2.4. Линейностью. Текст представляет собой линейную последовательность единиц.

Первые два условия вместе с условием на полноту или точность отображения приводят к тому, что в общем случае ограниченная часть текста не может передать с нужной степенью полноты реальную ситуацию. Реальная ситуация — лишь подсистема, далеко не всегда замкнутая, всей системы наших представлений. Возникает необходимость в "срезах", "сечениях" ситуации. Но тогда как посредством отдельных срезов передать реальную ситуацию с нужной степенью точности, разной в каждом конкретном случае? Важно при этом выяснить: а) как связаны между собой различные срезы одной ситуации; б) какие возможны различные системы срезов одной и той же ситуации; с) как сохранить соответствие между отдельными срезами одной ситуации. Структурной единицей текста, позволяющей выяснить такие свойства текста, которые связаны с задачами как моделирования, так и коммуникации, является контекст слова в тексте. Контекст слова в тексте — это такая часть текста, которая содержит слова, связанные с данным словом, и которая остается инвариантной при замене этих слов на эквивалентные им слова. Тексты, рассматриваемые как модели мира, можно характеризовать тем, что всегда существует такое разбиение текста, которое индуцирует разбиение в прообразе (в моделируемой области), и при этом между элементами разбиений прообраза и образа (текста) можно установить однозначное соответствие. Такое разбиение должно сохранять семантико-синтаксическую связность в тексте, ту самую непрерывность прообраза, которую реализуют в тексте семантика и синтаксис. Специальным языковым приемом, реализующим такое разбиение текста и является контекст слова в тексте. Топологические свойства совокупности контекстов для данного текста (виды и набор отношений между словами как для одного контекста, так и для всей совокупности контекстов, "стыковка" разных контекстов в тексте и т.п.) относятся к тем аспектам семантики текста, которые вызваны задачами моделирования. Писредством контекстов передается сложность моделируемой области. Без контекстов текст, подчиняющийся условиям 2.1–2.4., не мог бы решить задачу адекватного моделирования. Связь указанного разбиения текста с контекстами существенна. Если все элементы разбиения текста контекстно замкнуты, то каждый элемент разбиения является текстом, хотя часть текста вообще не является текстом. Разбиение, которое контекстно замкнуто "оптимальным образом" по всему тексту, в очень большой мере определяет композицию текста. Контекст слова в тексте есть та единица, которая как бы "в малом" определяет структуру всего текста. Можно предположить, что это является проявлением более общего принципа, которому должен отвечать язык как моделирующая система, а именно: обладать единицами,

которые содержат информацию об охватываемом целом. Способы реализации совокупности контекстов в тексте – вхождение слов контекста в разные места текста, порядок и локализация вхождений, связи между контекстами и синтаксическими структурами в предложении и в тексте в целом – относятся к тем аспектам семантики текста, которые обязаны языку как средству коммуникации. С ними же связан ряд преобразований текста, таких, как, например, локальная свертка части текста к некоторой стандартизуемой единице языка. Такая свертка возможна, если контексты всех слов преобразуемой части содержатся только внутри нее. Свертка не влечет исчезновения всех связей слов преобразуемой части со словами неизменяемой части текста – контекст единицы текста, как правило, не исчерпывает всех связей этой единицы с остальными компонентами текста. Напротив, эти связи, "внешние" для данной части текста, становятся основой для контекста результата свертки. А значит, текст, допускающий локальную свертку, обладает многоуровневой системой контекстов. Свертка как бы понижает "уровневый ранг" контекста и синонимию в тексте, с одной стороны, увеличивает вероятность омонимии, с другой.

Ю.И.Манин

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ

1. Что может дать лингвистике, ориентированной на обыденную и художественную речь, приглядывание к тому, как бытует естественный язык в научном (математическом, физическом) тексте? То же, что психологу – наблюдение человека в экстремальной ситуации, например, выражение постулированных абстракций в поведенческих актах. Укажем примеры.

а. Теория лингвистической семантики, опирающаяся на модели типа "смысл ↔ текст", требует конструирования искусственного языка смыслов, прежде чем возникает основной объект ее рассмотрения, – перевод. Между тем, в современной математике (и в какой-то мере, теоретической физике) язык смыслов задан заранее, скажем, как формальный язык логики предикатов. Поэтому лингвист может сосредоточиться на проблеме выражения в естественном языке смысла, с полной определенностью фиксированного извне, что и делается в логико-семантических штудиях. (Деманн, Вейнрейх, Корельская–Падучева и др.)

б. В научном тексте могут получить гипертрофированное выражение такие тонкости семантики естественного языка, которые трудно заметить в его обыденном существовании. С этой точки зрения интересный материал содержат описания алгоритмических языков типа АЛГОЛ-68, позволяющие изучать *in vitro* процессы пиджинизации.

в. Характер научных текстов часто вынуждает рассматривать "крупные единицы" смысла. Это открывает возможности для отработки методологии изучения семантики текста, в отличие от семантики слова или фразы. В частности, на первый план выступает "программатичность" текста – такое его качество, благодаря которому свертывание смысла достигается не за счет сокращения каких-то деталей, а за счет того, что полное выражение смысла предполагает функционирование текста как процесса. В этом пафос острых наблюдений О.Мандельштама над "Божественной комедией", терцины которой работали в европейской культуре с неизбежностью триплетов гениальной ДНК.

2. К созданию искусственных подъязыков науки, таких, как язык математических или химических формул, побуждает, конечно, необходимость выразить новые смыслы. Но главная причина – это непригодность текстов на естественном языке к их алгоритмической переработке, посредством характерных синтаксических процедур, отражающих семантику искусственного языка. Числа (точнее, десятичные записи) и действия над ними без труда именуется средствами естественного языка, но деление столбиком в словесном выражении немислимо. Такова цена, которую приходится платить за экономию средств выражения, достигаемую естественным языком (конечно, не по сравнению с десятичными записями). Это еще один аргумент в пользу сопоставления отображения перевода "текст на естественном языке" → "смысл" с оптимальной нумерацией А.П. Колмогорова, предложенного автором ранее. Если принять эту метафору, то обильная синонимия и преобладание "семантически пустых" текстов оказываются парадоксальным следствием оптимальности.

3. В математическом и физическом тексте фрагменты, написанные на естественном языке, сплавлены с фрагментами на искусственном. Можно отметить следующие роли естественно-языковых компонентов.

а. Словесное описание некоторого смысла, допускающего точное выражение в соответствующем искусственном языке (таковы в большинстве случаев формулировки теорем в математической работе).

б. Мегаязыковое функционирование: словесный текст фиксирует соотношение между искусственным языком и реальностью (например, объясняет, что такое "вакуумное среднее").

в. Естественный язык может выступать как носитель семантической открытости, незавершенности текста, его вопрос/ответного характера (Коллингвуд, Бахтин), а также как выразитель ценностей и предпочтений.

г. Наконец, естественный язык является организатором "правового диалога", посредником между двумя сознаниями одного субъекта. Очень тщательного изучения с этой точки зрения заслуживает семантика таких типов естественно-научного текста, которые сопоставимы с формальными выводами в искусственном языке функционально, но весьма далеки от них структурно и содержательно. К ним

принадлежат описания "мысленных экспериментов" (см. тонкий разбор "Бесед" Галилея, проделанный Ахутиным).

Вяч.Вс.Иванов

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРОЖДЕНИЯ ДВУЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ У ПОЛИГЛОТОВ

При двуязычии и многоязычии (например, на Балканах) осуществляется взаимодействие языков не только во время общения разных людей, но и внутри каждого из многоязычных индивидов (что отмечалось еще Бодуэном де Куртене и его учениками). В паре языков – родном и усвоенном – они могут оказаться разделенными между правым и левым полушарием, как навахо и английский (Scott S., Hynd G. W., Hunt L., Weed W. *Cerebral speech lateralization in the native American Navajo. – Neuropsychologia*, 17, 1979, pp. 89–92), хопи и английский (Ten Houten, 1976), туркменский и русский (Балонов, Деглин, Черниговская 1981). При этом один язык в соответствующем полушарии (возможно, связанный с его преимущественно логическими или образно-бытовыми функциями) может оказывать тормозящее (демпфирующее) воздействие на другой. При афазии, подавляющей первый из языков, возможна ситуация разделения функций (аналогичная той, которая наблюдалась у полиглотов во время электрошока): человек, для которого родным был болгарский, а усвоенным – сербский, отвечает по-болгарски на вопросы, задаваемые ему по-сербски. Другим результатом афазии может быть возникновение смеси языков (например, сербско-хорватского, итальянского, немецкого, у афатика, для которого родным был первый язык).

О ТЕКСТОВОМ ОТРЕЗКЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАХРОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Полученные в последнее время результаты исследований обширного материала, с одной стороны, истории группы родственных диалектов (китайских) за большой отрезок (макро)времени (порядка тысячелетия), с другой стороны, развития социальных и местных диалектов одного языка (английского) в пределах одного–двух поколений (в микровремени) приводят к парадоксу, сводящемуся к выполнению звуковых законов во втором – (микро)временном – масштабе при несоблюдении в первом – макровременном (*Labov W. Resolving the Neogrammarian controversy. – "Language"*, vol. 57, N 2, June 1981, pp. 267–308). Одним из наиболее правдоподобных объяснений представляется то, что в первом случае наблюдается не столько развитие звуковой структуры диалекта, сколько передача во времени целых сообщений (текстов), которые часто могут быть получены носителями данного диалекта от лиц, говорящих на другом, родственном первому,

что и создает наличие этимологических дублетов, различимых при взаимодействии родственных языков (древнеанглийского и древнескандинавского, древнерусского и старославянского, латышского и куршского, персидского и мидийского, греческого и индоевропейского "догреческого"), но все менее различимых по мере приближения друг к другу диалектов, образующих пространственно-временной континуум. При этом правила передачи сообщений даже и внутри одного диалекта (без смешения с другим) отличны от правил передачи отдельных их составляющих фонем, ср. обычное сохранение архаических фонем при внешнем сандхи (франц. *liaison*, слав.* *kъn* — < и.-е. **kom* > хет. *-kan*, слав.* *sъn-* < и.-е. **som* > хет. *-san*, и.-е. **we/or-* > хет. *war-* перед гласным следующей энклитики и т.п.). Аналогичным образом выявляются лексические и синтаксические контексты морфологических изменений (иногда объяснявшиеся как аналогия) и текстовые контексты синтаксических изменений. С этой точки зрения развитие истории языка в макровремени достаточно близко к процессу передачи текстов, исследуемому в фольклористике, истории литературы и шире в истории культуры. Тенденция к сохранению текста, для данной культуры ставшего каноническим, ведет и к соответствующей консервации языковых единиц текста на разных уровнях, что накладывается на законы собственно языковой эволюции, остающимися идеальными схемами, реализация которых зависит от социального и культурного функционирования текста, включающего соответствующие языковые единицы. Эволюция языка и эволюция текста не подчинены друг другу, а находятся в антагонизме, объясняющем и точку зрения Соссюра на атомистичность языковых изменений. Обратная точка зрения правильна только в масштабе микровремени, не влияющем на культурную сохранность текста и поэтому предоставляющем относительную свободу собственно языковой эволюции. Чем меньше участок текста, тем вероятнее действие на нем собственно языкового закона эволюции; на большом текстовом отрезке это действие затрудняется необходимостью сохранения изначальной структуры текста. Этим и объясняются возможности реконструкции текста (в частности, поэтического), сохраняющего (как в тохарской, латышской и славянских народных традициях) изначальную фонетическую структуру иногда вопреки осуществившимся в языке звуковым изменениям (явление "вставочных" гласных, позволяющих сохранить древний метр, и т.п.).

А.А.Зализняк

НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ РЕДУЦИРОВАННЫХ ОТ УДАРЕНИЯ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ

В большом числе работ по истории русского языка декларирован тезис, согласно которому редуцированные были сильными под ударением в первом слоге неодносложной словоформы, независимо от

действия остальных правил о силе и слабости редуцированных. Эта идея высказана вскользь (на примере словоформы *дэску*) Ф.Ф.Фортунатовым¹; в решительной форме она дана у А.А.Шахматова: "Ударяемые *ѣ, ѓ, ѣ* в начале слова ... перешли в *о, е, ѳ*. Примеры. В памятниках: *дощере* Добр(илово) ев(ангелие) 102б. В совр. языке. Великор. *доску, стекла, сохнутъ, дохнутъ, моху, пестрый, соты, теща, меша, чести*. Малор. *моху*, р.ед. *мести*, р.ед. *сота*, числ. *сотеро, теща*. Белор. *дожджу, моху*"² Последующие авторы по сути дела лишь повторяют тезис А.А.Шахматова, причем как правило используют его же список примеров (особенно популярен пример *доску*).

Между тем данные, которыми сейчас располагает историческая акцентология, требуют решительного пересмотра "тезиса о прояснении ударяемых еров". Разумеется, при разборе этого вопроса никоим образом нельзя ограничиться крохотным списком примеров, приведенным у А.А.Шахматова, поскольку, с одной стороны, полная совокупность словоформ, подпадающих под рассматриваемый тезис, в десятки раз больше, с другой стороны, часть примеров из этого списка (по крайней мере, *сохнутъ, дохнутъ, дожджу*) на самом деле не имела в праславянском ударения на первом слоге. Необходимо также отличать начальнударные оротонические словоформы от энклиноменов, поскольку характер ударения в этих двух классах словоформ существенно различен.

Ниже перечислены важнейшие группы правосточнославянских словоформ, удовлетворяющих условиям "тезиса о прояснении ударяемых еров" (списки не исчерпывающие, поскольку в них не включен ряд слов с ненадежно установленной акцентной характеристикой, а также некоторые слова, не дожившие до нашего времени). При этом, однако, в списки не входят такие словоформы, где позднейшее "прояснение" редуцированного в первом слоге определяется более простыми общими правилами, чем рассматриваемый тезис, а именно, словоформы: 1) со слабым редуцированным во втором слоге (например, *чьсть, чьстью*); 2) с сочетаниями *тѣрт, тѣлт*, а также *тѣрт, тѣлт, тѣмт, тѣнт, тѣвт* (где *т* символизирует любую согласную, а *ѣ* – *ѣ* или *ѓ*).

Энклиномены. Случай, когда начальный слог принадлежит корню: 1) словоформы-энклиномены (с гласной полного образования во втором слоге) существительных акцентной парадигмы *с днь, льнѣ, пнь, сѣтѣ* сот, соты, *тѣсть, кѣнязѣ* (ср. еще *Пльсковѣ*), *сѣто, дѣска, вѣшь, лѣсть, мѣсть, рѣжь, чѣсть, Тѣхвѣръ, дѣчи*; 2) словоформы *кѣто, чѣто, дѣва, дѣвѣ, дѣвог*; 3) словоформы I ед. презенса *жѣгу, жѣду, сѣцю, чѣту, рѣву, пѣну, тѣну, вѣру, жѣру* пожирало, *мѣру, вѣю, лью, пѣю, бѣжю, зѣрю, мѣчю, мѣню, сѣплю, лѣцю, мѣцю, чѣцю* (и некоторые другие) и соответствующие причастия в II ед. па -а, -я (*жѣга, бѣдя* и т.д.); 4) словоформы *мѣстилѣ, -о, -и, мѣстивѣ* и аналогично для *лѣсти-ти, чѣстити*. Сюда можно добавить также некоторые словоформы части производных от слов группы 1, например, *лѣнянѣ, чѣстнѣ, кѣняжѣскѣ*. Случай, когда начальный слог принадлежит приставке: широкий класс

глагольных словоформ, состоящих из приставки *съ-* (*сън-*), *въ-* (*вън-*) или *въз-* и энклиномена (с гласной полного образования в корне), например, *въведу, възлечю, съпустя, съдалъ, сънило, възяли, съданъ, възято, възиты, съдавъ, възливъ*. Заметим, что с акцентологической точки зрения от таких словоформ в сущности ничем не отличаются также сочетания предлогов (*въ, къ, съ*) с именными энклиноменами, например, *въ дожъ, въ мори, къ носу, съ берега*.

Начальноударные (на позднем праславянском уровне) ортотонические словоформы презенса (кроме I ед.) глаголов акцентной парадигмы *ь* *ьдетъ, ъметъ, дьметъ, жьметъ, жьнетъ, мънетъ, тьретъ, лъжетъ, тьчетъ, сълетъ, съсетъ, бьжетъ, шьжетъ, ѓнетъ, дьхнетъ, льнетъ, пьхнетъ, съхнетъ, тьхнетъ, чьхнетъ* (и некоторых других); 2) членные формы прилагательных акцентной парадигмы *ь* *зъл-ъжъ (-ая и т.д.), бдр-ъбъ, пьстр-ъбъ, тьщ-ъбъ*, также *мн-ъбъ* меньший. Более проблематичны: *стькла* (мн.ч.), *тъща* теща (здесь могло быть и конечное ударение).

Рассматривая современные русские словоформы, восходящие к приведенным здесь спискам, легко убеждаемся, что редуцированные в первом слоге в подавляющем большинстве случаев пали; ср., например: *дня, сто, ржи, кто, два, жи, сплю, введу, взлечу, в дом, в море; жнет, мнет, трет, лжет, льнет, пхнет, тхнет, чхнет, злой*. Переход начального *ь* в *и* в *идет, имет* отражает хорошо известную великорусскую особенность, никак не связанную с ударением (ср. *играть, игла* и т.п.). В прочих словоформах, где редуцированный отражен в виде гласной, практически везде присутствует фактор "угрозы скопления согласных". Таковы: *тестя* (-ю и т.д.), *лести, мести, доску, дочь, дочери, чещу; дохнет* (и *дохнет*), *сохнет, бодрый, пестрый, пощий, стекла, теща*. Хорошо известно, что угроза скопления согласных (и возникновения слишком сильно различающихся алломорфов у одного корня) могла служить причиной сохранения или восстановления гласной на месте редуцированного. Этот эффект не зависел от места ударения: он прекрасно засвидетельствован также в заведомо безударной (в эпоху падения редуцированных) позиции, ср. *дождя, дождить, стекло, пестро, тоща, тоска, доска, дощатый* и т.п. Как и следует ожидать для нефонетического явления, данный эффект реализован непоследовательно: в памятниках XIII–XVII вв. многократно засвидетельствованы, в частности, такие написания, как *цти* (*цтя*) *тестя*, *лсти* *лести*, *чти* *чести*, *дску* (*цку*) *доску*, *дчи* (*тчи*) *дочь*, *дчере* (*тчере*), *дхнетъ, пстраго, тщую, мнии* меньший, а также *сты соты*, *ссеть* сосет.

Таким образом, последовательная проверка материала с неизбежностью приводит к выводу, что в восточнославянском нет ни одного достоверного примера "прояснения" редуцированных, обусловленного ударением (и ничем более). Главное же состоит в том, что даже если бы нашлись два–три примера, где было бы предпочтительнее акцентологическое объяснение, мы все равно никоим образом не

могли бы приписать этому факту характер общей закономерности, поскольку имеются десятки надежных примеров, где редуцированный первого слога пал, несмотря на то, что находился под ударением. В восточнославянском этот вывод одинаково верен для энклиноменов и оротонических словоформ; этим восточнославянский отличается, в частности, от словенского и сербского, где для энклиноменов положение в принципе такое же, а в оротонических словоформах ударяемый редуцированный сохраняется в виде гласной, ср. словен. *tare* трет и т.п.

В оротонических словоформах, где в начальном слоге был ударяемый редуцированный, ударение смещается в восточнославянском на слог правее; например, *тьреть* дает *треть*, *съсѣть* — *ссеть* (а при последующей нефонетической замене *сс-* на *сос-* ударение уже не менялось; заметим, что согласно "тезису о прояснении ударяемых еров" ожидалось бы **сосеть*). Энклиномены просто сохраняют свое автоматическое начальное ударение (не привязанное к конкретному слогу), независимо от изменения числа слогов, например: *дчере*, *дочере*, ср. *на дчерь*, *на дочерь* и т.п.

Общий вывод: в восточнославянском сила или слабость редуцированных никак не зависела от акцентуации; живучесть "тезиса о прояснении ударяемых еров" объясняется лишь некритическим следованием авторитетам.

¹ *Фортуатов Ф.Ф.* Сравнительная фонетика индоевропейских языков. — "Избранные труды", т. 1, М., 1956, с. 294.

² *Шахматов А.А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Петроград, 1915, § 380.

Р.Ф.Пауфошима

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВ СПОНТАННОЙ РЕЧИ В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ

1. Тексты спонтанной речи подчиняются определенной ритмической организации. Речевой ритм — сложное явление, создающееся взаимодействием, по крайней мере, трех компонентов: ударения, (слоvesного и фразового), паузации и интонации. Одним из проявлений речевого ритма можно считать регулярное чередование ударных и безударных слогов. По данным ряда исследователей максимальное число безударных слогов между двумя ударными равно четырем.

2. В речевых системах разных языков используются разные ритмообразующие средства. Как показали исследования Г.Н.Ивановой-Лукьяновой, спонтанной русской литературной речи свойственна четкая ритмическая упорядоченность. Согласно наблюдениям Н.Н.Розановой, в качестве основных регуляторов ритма в русской разговорной

речи могут выступать порядок слов, их фонетическая деформация за счет редукции и выпадения безударных гласных, слогов и даже более сложных звуковых последовательностей, гибкость границ речевых тактов, использование динамически неустойчивых слов и, наконец, появление дополнительного ударения в сложных словах.

3. Севернорусская диалектная речь также организована ритмически, Е.А.Брызгунова отметила, что в некоторых вологодских говорах отдельные участки речевого континуума отличаются отчетливо выраженной ритмизацией, достигающейся, в основном, средствами мелодики и регулярным чередованием пауз. Однако такие участки текста, по своей ритмической структуре напоминающие белый стих, встречаются нечасто, и речь в докладе пойдет не о них. Ритмическая организация, проявляющаяся, в частности, в "запрете" стечения безударных слогов более четырех (нормальный "пробел" между двумя ударными слогами включает 2–3 слога), пронизывает спонтанную речь вологодских говоров. Помимо регуляторов ритма, используемых в речи на русском литературном языке, здесь широко применяется такое средство, как подвижность ударения в пределах многосложных слов определенной ритмической модели.

4. Слова модели СГСГСГ... могут произноситься с ударением на первом слоге, либо, при сохранении основного ударения на третьем слоге, получать дополнительное ударение на первом, если это диктуется требованиями ритма фразы. Такие слова могут относиться к разным грамматическим категориям и иметь различную морфологическую структуру, их объединяет лишь один формальный признак — это многосложные слова с ударением на третьем слоге, напр. (в орфографической записи): позову́т, обожду́, берегли́, колоти́ться, журавле́м, домотка́ное, подходи́, не пойдё́т, ворожи́ли, аресту́ют, мехова́я, пригово́р, скипетя́т, говори́т, Никола́й, родничо́к, бригади́р, Короли́ха и т.д. Каждое из приведенных слов, — а их список может быть легко продолжен, — способно иметь тройное акцентное оформление: СГСГСГ..., СГСГСГ..., СГСГСГ... Выбор одной из приведенных ритмических фигур задается ритмом фразы. Так, напр., слово "пирогИ" в разных фрагментах текста у одного и того же диктора имеет различное акцентное оформление: "бы́ли горо́ховые́ пи́роги пекли́" и "пирогИ́ бы́ли краси́вые". Анализ больших массивов текста показал, что максимальный интервал между двумя ударениями — четыре безударных слога. Однако такие случаи довольно редки, преобладает модель с чередованием двух безударных слогов с одним ударным. Нередко встречается хореическое построение текста, с регулярным чередованием ударного и безударного слога, ср. напр.: "бы́ли же́лты—же́лты пи́роги".

5. Ритмическая организация текста становится еще более отчетливой, когда мы анализируем некоторые фольклорные жанры диалектной речи — заклинания, заговоры, поговорки и т.д. В этих разновидностях устной речи чередование ударных и безударных слогов подчиняется стоному принципу организации текста, что достигается тем

же способом — появлением дополнительного ударения на первом слоге в многосложных словах модели СГСГСГ..., ср. напр.:

Ба́тюшко по́левой,	Ры́жий ко́нь,
Ма́тушка по́левая,	Не́ ходи́,
Ва́ши по́левята!	Не́ ступи́
Прими́те мою́ черну́хоньку	На́ цюжу́
На́ сохране́ние...	Сторо́ну...

Из приведенных отрывков текста видно, что слова с ударением на втором слоге не испытывают акцентных сдвигов.

6. Нетрудно проследить аналогию отмеченного явления с другим, известным в русской диалектологии под названием "ляпанья". Ляпанье распространено в русских говорах Заонежья, и заключается оно в регулярном переносе ударения в словах модели СГСГСГ... и СГСГ на первый слог. Очевидно также и различие между этими явлениями — в вологодских говорах сдвиги словесного ударения лексически не закреплены и остаются в рамках просодии фразы, в то время как в ляпающих говорах перенос ударения на первый слог меняет акцентную модель слова, т.к. ударение закрепляется за этим слогом.








Вяч.Вс.Иванов










1. ЕЩЕ О ПРЕДЫСТОРИИ АЛФАВИТА





В дополнение к уже ранее опубликованным двум сообщениям, в которых обосновывается происхождение раннезападносемитского (в частности, угаритского, финикийского и других ханаанейских, им родственных) алфавита (и происходящих из них древнемалоазиатских и этрусского, а также греческого) из клинописи, в настоящее время представляется возможным привести еще следующие дополнительные наблюдения:











1. Опубликованные к настоящему времени данные о тех списках шумерских клинописных знаков и словарях из Эблы, которые расположены в определенном порядке, позволяют произвести некоторые сопоставления этих древнейших упорядоченных множеств письменных знаков, во-первых, с аналогичными более поздними списками из Эль-Амарны (EA 348–350), которые давно уже были соотнесены с ассирийским силлабарием Sa (и с его более ранними прототипами), во-вторых, с наиболее ранним из известных образцов раннезападносемитского алфавита-угаритским. В частности, обращает на себя внимание акрографическая последовательность, завершающаяся *ú* в некоторых образцах серии *šè-bar unken* (ТМ.75.G.11202) в Эбле, в сопоставлении с последовательностью, кончающейся *ú* (EA 350, II 5) в Эль-Амарне и *u* (из одного из вариантов клинописного *ú*) на предпоследнем месте в пространном варианте угаритского алфавита. Особого внимания заслуживает последовательность шумерских знаков





й-, а-, ú- (ТМ.75.G.10031, v. VI-VII) в Эбле, допускающая гипотезу о произведенном анализе основного (для эблаитского, а не шумерского языка!) треугольника гласных, ср. также комбинации знаков с одинаковыми гласными типа hu-, su- в Эбле (ТМ.75.G.11247) и šu, qu; du, zu, ú в Эль-Амарне (EA 348 Rev. 4-11; 350 II, 3-5). В клинописных сериях знаков Эблы так построены только отдельные акрографические фрагменты, но вероятность их продолжения в аналогичных последовательностях эль-амарнских списков знаков (и их возможных прототипов) позволяет по-новому обосновать гипотезу о связи этих последних с происходящим из подобных (но более ранних, чем амарнские) раннезападносемитским алфавитом.

2. Определение хронологии и типа клинописной системы, из которой происходит раннезападносемитский алфавит (в уже развитой и стелизованной форме отраженный в угаритском) возможно благодаря таким специфическим знакам, как у (угарит. ) из клиноп. iá (шум. и ст. -акк. ) , а не ia (из знаков для i + a в ср.-асс., ст.-вав.). По форме значительное число угаритских алфавитных знаков близко к старовавилонским, ср. угарит.  h : ст. -вав.  ,  ú, (при подтверждении тождества h = ú строкой 6 угаритской азбуки  

h читается ú' амарнским письмом EA 245, 35: i-na qâti ti-su-ba-di-ú, угар. bdh, евр. ) , угарит.  w : ст. -вав.  (PI при звуковом значении wa/i/u/e в сиро-месопотамском ареале, откуда происходит прототип угаритского алфавита), угарит.  t : ст. -вав. и др.-хет. (< сиро-месоп.)  ti = ti, угарит.  ; ст.-вав.  , угарит.  m : ст. -вав.  ma. Особый интерес представляет

то, что 18-й знак угаритского алфавита (по звуковому значению специфически семитский  = z, ß), следующий за угарит. n, по форме  ближе всего к ст. -вав.  – варианту знака  na.

3. Для восстановления наиболее раннего западносемитского прототипа греческого и малоазиатско-этрусских алфавитов особый интерес представляют числовые значения букв, в греческом отражающий исходный набор из 27 знаков, что соответствует алфавиту с большим числом букв, чем позднейший финикийский, ср. 27 знаков без 3 дополнительных в угаритском при соответствиях по порядку дополнительных греческих числовых знаков: греч.  'σ' сигма = угарит.  w и т.п. Выведение ликийской числовой системы из клинописной и архаической семитской типа угаритской позволяет связать с ней же через этрусск. посредничество и латинскую, ср. клиноп.  'l', угарит.  'l', лик. l, этр. l; клиноп.  '10', угарит.  '10', лик. o (чем доказывается и предложенное ранее отождествление звукового значения угарит.  'айн, из клин.  u с раннесем. o). Лик. L, C, этр.  '5' выводятся из разных вариантов (соответственно угарит.  , ханаан. G, Δ) 5-ого по порядку знака раннезападносемитских алфавитов, лат. и венет. L, l '50' выводятся из 5.10,

где первоначально было 5 обозначено как лик. L '5', тогда как этр. Λ '5', Λ '50', Δ '500' (ср. числовое и звуковое значение лат. D) различаются дополнительными знаками , как и X '10', X '100', X '1000', X '10000'. Вероятное отражение в Δ '500' архаической формы знака для d (ср. греч. Δ и т.п.) делает правдоподобным и сопоставление этр. X '1000' с архаическими формами 10-го знака раннезападносемитского алфавита, имевшего звуковое значение t (раннеханаан. X, арх. греч. и этр. X при угарит.  из сиро-месоп. клин.  (ti); более поздняя форма того же знака представлена в этр. и лат. X '10'. Исследование числовых значений знаков представляет особый интерес для истории алфавита, который формируется как перенумерованный список, т.е. упорядоченное множество знаков; в их числовых значениях сохраняется след древней структуры исходного прототипа (ср., напр., архаизм числовых значений глаголических X '7', X '8' и соответствующих кириллических Ж, З, соответствующих греч. ζ, η по своему числовому значению и угарит.  w,  z по месту в последовательности).

О СООТНОШЕНИИ ДЕШИФРОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА

Проведенная автором работа по исследованию хаттского языка и хаттских текстов в свете сопоставления хаттского с северо-(западно)-кавказским и начатая аналогичная работа в отношении этрусского заставляют сформулировать следующие положения:

1. Чисто комбинаторное исследование даже при наличии билингв оставляет слишком много возможностей выбора, которые снимаются только при обнаружении далеко идущих внешних параллелей с родственными языками. В билингве семантически верный перевод (чаще пересказ) иногда не дает возможности прояснить структуру текста. Так хат. *i-ma-lh-ib* 'этого не клади(те)'² (в строительном обряде KUB II 2+) в каждой из своих составных частей (объект, i-, отрицание *ma*, корень *lh-* 'класть', окончание 2 л. *-ib*) получает разъяснение из северо-западно-кавказского языкового материала, тогда как хаттский перевод только указывает на общий положительный смысл, объясняемый контекстом, а не значениями составных частей.

2. При сплошном обследовании хаттских текстов (как двуязычных, так и не имеющих перевода) выявилось значительное число внутритекстовых связей, остававшихся незамеченными из-за повторения всеми последующими исследователями некоторых ошибок, сделанных на первых порах в наиболее ранних публикациях. По этой причине, напр., осталось незамеченным тождество хат. *-yah-* 'небо', 'небесное сияние' (с северо-кавказско-енисейскими соответствиями) и хет. *mišr-* (с тем же значением 'блестящий') в билингве KUB XXVIII 6 (где хеттское слово было неверно прочитано около 60 лет назад), хат. *-zir-* 'маленький' (с северо-западно-кавказскими соответствиями) и хет. *amiyant-* в той же билингве. Продвижение в исследовании хеттского

словаря и архаических текстов позволило выявить значительное число новых соответствий, таких как (в билингве KUB XXVIII 1) хат. *hawit* – хет. *šamaleš-zi* ‘он делается подобным яблоне (*samalu-ant*)’, хат. *ta-hawit* – хет. *naš samaliyazi* ‘делает нас подобными яблоне’ (см. о хат. *ta-* в тезисах о хаттских притяжательных морфах) с семантическими параллелями в хеттском ритуале KUB XXIX 1.

3. Интерпретация хаттского текста окончательно становится возможной в тех случаях, когда удается восстановить для отдельных его фрагментов общесеверо(западно)кавказский прототип, как это, в частности, оказалось возможным по отношению к мифу о луне, упавшей с неба (см.: В.В.Иванов, Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. М. 1981, с. 227–228).








О РЕКОНСТРУКЦИИ УСТОЙЧИВЫХ ПАРНЫХ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В ТЕКСТЕ

Недавно выявленный М. Дахудом общесемитский характер сочетания со значением небо–земля с неизбежностью ставит вопрос о том, в какой мере оно восходит к тому же семантическому прототипу, что и шум *an-ki* (встречается в качестве единого термина и в текстах из Эблы), хуррит. *ese-hawumi*, хет. *neriš-daganzipa*, др.-инд. *dyavā-prthivī*. Можно было бы думать, что такие сочетания имеют общий семантический источник, но решение вопроса затрудняется наличием далеко идущих типологических параллелей в других традициях (хотя и для них возможна постановка аналогичного вопроса).

Вяч.Вс.Иванов, Л.В.Иванов

К ОПИСАНИЮ ФОРМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ФЕСТСКОГО ЯЗЫКА

На основании деления слов по морфологическим показателям на три типа (X, Y, Z) в тексте выделяется 2 типа синтагм²: (1) $K(N) \& p(X) \& m(Z) \& Y$ (где $k = 0, 1$; $p = 0, 1, 2, 3, 4$; $m = 0, 1$) и (2) $YNYNYNYN$ (возможно, $XNYNYNYNYNY$). До сих пор не были, однако, выяснены правила распределения и согласования форм внутри синтагм. Приводимые ниже правила основаны на меньшем числе случаев и поэтому носят более гипотетический характер.

А. Первый тип синтагм. 1. Если слово типа Y имеет правый аффикс , то первое от него слева слово типа X(X_1) имеет а) левый аффикс  и знак \ ; или б) левый аффикс  и 1) правый аффикс  (тогда второе слева слово типа X(X_2) имеет тот же правый аффикс  и знак \ слева); 2) не имеет правого аффикса (тогда X_2 = имеет правый аффикс  и знак \, а X_3 тоже имеет правый аффикс )².

Графически это правило можно записать так:

соотнесенной с внутренней формой (значениями) греческого алфавита минус "ненужные" буквы ι υ ψ ω .

Эту протосистему нетрудно восстановить (рис. 3), причем наиболее вероятным основным элементом 3-го горизонтального ряда является кружок \circ , в качестве же вторичного элемента 4-го вертикального ряда лучше принять не нулевой, а вертикальную черту $|$.

Две исключенные "греческие" i w и две "полугреческие" I $г$ образуют дополнительный горизонтальный ряд этой системы с основным элементом $|$ (рис. 4). [Ср. "Историко-филологический ж-л" 1980, 2, 221–240.]

3. Сопоставление этих наблюдений с сообщениями армянских историков (Корюна, Мовсеса Хоренаца, Лазара Парпеци и др.) об обстоятельствах создания армянского алфавита убеждает, что обнаруженная в нем 20-значная система "греческих" букв есть не что иное, как известные "Данииловы письмена" (ДП), которыми Месроп Маштоц и его сподвижники пользовались прежде, чем признать их непригодность по причине 1) графической недифференцированности многих из них при беглом (курсивном) письме, 2) недостаточности их 20 знаков для передачи всей фонологической системы армянского языка.

4. Структурный анализ графики и фонетики алфавита позволяет восстановить и этапы, на которые распадается процесс создания Маштоцем армянского алфавита из ДП:

- создание графем 6-го дополнительного ряда ДП (рис. 4);
- усовершенствование (диссимилиация) начертаний ДП (превращающее их в ДМП – Даниило-Месроповские письмена) путем: а) использования курсивных вариантов в качестве рабочих форм для новых инвариантов \mathcal{U} \mathcal{F} \mathcal{Q} \mathcal{A} и \mathcal{C} (рис. 5); б) замены одного из двух элементов графемы (\mathcal{N} \mathcal{L} \mathcal{T} \mathcal{Z} \mathcal{E}) или обоих (\mathcal{L}), новым (рис. 6); в) замены * \mathcal{C} новым знаком – \mathcal{F} (= греческая монограмма Иисуса Христа); г) незначительных (косметических) модификаций других ДП; а также д) пермутации значений графем \mathcal{L} и \mathcal{L} во избежание их графической неадекватности греческим K и L ;

- создание новых графем – МП (Месроповских письмен), а именно: "двойных" \mathcal{E} и \mathcal{Z} – соответственно из слияния \mathcal{E} [e] и \mathcal{L} [$*i$] и из слияния \mathcal{L} [$*i$] и * \mathcal{T} [i] плюс поворот на 180° и незначительная модификация (рис. 7,а); "простых" (фрикативных) \mathcal{U} \mathcal{F} \mathcal{L} и \mathcal{T} – из наиболее близких им фонетически \mathcal{F} \mathcal{Q} \mathcal{L} и \mathcal{F} путем поворота и незначительной модификации (рис. 7,б); аффрикат – из рабочей формы "петля" (= \mathcal{Q} z) путем графического моделирования всех дифференциальных черт соответствующих фонем (и последующего видоизменения буквы * \mathcal{E} во избежание сходства с буквой \mathcal{S}) (рис. 7,в; \mathcal{S});

- установление алфавитного порядка путем: а) внесения упорядоченных МП ("двойные" – фрикативные-аффрикаты, причем в первых двух группах соблюден алфавитный порядок букв – "родителей", а в третьей – табулярный; рис. 8) в междурядья 24-значной матрицы ДМП (рис. 9); б) привязки каждого МП к определенному вертикальному

ряду ДМП (там же, стрелки); в) разверстки ДМП вместе с приязанными к ним МП в порядке греческого алфавита (рис. 10), причем Γ занимает место омикрона, чтобы оставить графеме Ϝ (монограмме Христа) заключительное место в алфавите: hoc vince! [Cf. *Revue des Études arméniennes*, XIV, 1980, 55–111].

К ДЕШИФРОВКЕ КАВКАЗСКО-АЛБАНСКИХ НАДПИСЕЙ

1. Ниже крайне сжато приводятся основные результаты нашей попытки дешифровать небольшой кавказско-албанский эпиграфический корпус (см. рис.), исходя из выводов произведенного анализа внутренней формы албанского алфавита (см. "Le Muséon" 1980, 345–374), из данных современного удинского языка (по Панчвидзе, Джейранишвили и Гукасяну) и из начертаний албанских графем по армянскому списку (Матенадаран, рук. № 7117). [Подробную характеристику корпуса и аргументацию предложенных чтений, см. в "Ежегоднике иберийско-кавказского языкознания" за 1981 год.]

2. *Надпись 1* (на постаменте креста):

- (I) ai₁ad (или pi₁ad) žē šer₁p₁e iok^oop kahēneen /
 (II) hal^oy₁ē udena xodkōu[a- / (III) -ien^oaķen...] de₁k₁s
 ... (IV) (a) ū.hošini [?]d ɣaɣoden (или kaɣ₂oden) ši-
 (b) -y₁ay₁n.

"Этот (?) престол (?) [или Жертвенник (букв. Кровавую плиту)] соорудил (?) Иоккоп священник, родом удин, для Древа (т.е. Креста)..." (далее неясно)

pi₁ad, ср. уд. pi кровь; – žē, ср. уд. žē камень, авар. zani надгробный камень; – šer₁p₁e, ср. уа. serbi, прич. аор. от serbesun 'строить' (в роли сказуемого); – iok^oop, ср. сир. Yo^oqob Иаков; – kahēneen, ср. сир. koħona 'священник' (-en эрг. пад.); – hal^oy₁e, ср. уд. хоу 'род'; – udena, ср. уд. udi//udin 'удин' (-ena эрг. пад.?). – xodkōu[al-, ср. уд. xod 'дерево', koval 'палка' и арм. хаč'ар'ayt 'крестное дерево' (этимолог. 'дерево + палка') (xen'aken, оконч. каузатива, восстановлено по смыслу, ср. надп. 2 paɣake-tük-en'aķen); – kaɣ₂oden, ср. уд. konɣux 'хозяин' (Господь?) – ši₁y₁ay₁n, ср. комм. к надп. 2 (конец) и 4(1) (конец).

Надпись 2 (на подсвечнике № 1):

za y₁ob boħašyħēna isuše<na> eɣuŋše we paɣake-tük-en'aķ[e]ŋ
 ši₁y₁ay₁.

"Меня, Иова, боже Иисусе за (?) приношение для твоей иконы (т.е. за этот подсвечник) помяни (?)"

za = уд. za (дат. от zu 'я'); – y₁ob, ср. арм. Yob, греч. Ἰωβ 'Иов'; – boħašyħēna, ср. уд. (нидж.) buħaɣuxen 'бог' (эрг. пад.); – isuše<na>, ср. уд. Isusen 'Иисус' (эрг. пад.; окончание восстановлено, учитывая аббревиатурное титло); – eɣuŋ-, ср. уд. es sun (и его фонет. варианты) 'приносить', 'приношение' (-se = послелог/пад. формант

взамен за ?); — *we*, ср. уд. *vi* (род. пад. от *hun* 'ты') *твоў*; — *paŋake-*, ср. арм. *paŋker* 'образ', 'икона' (*-túken'aŋen*, ср. уд. нидж. *-toŋoŋnak*// *варташ. -tuŋoenk'ena'* формант каузат. мн. ч. = ед. ч.?). — *ši yŋayŋ*, ср. уд. *ši* 'имя', *šiya duŋsun* 'помянуть', 'вспомнить'.

Надпись 3 (на черепке № 1)

zu mōūsa ξ <...> *kezu žē tel'* [... (или *žēne l'* [...])

"Я, Моуса, огородил камнем (?) (*или* каменное) [то-то] (*или* закончил каменное [то-то])..."

zu = уд. *zu* 'я' (эрг.п.) (дешифр. А.Г.Абрамян); — *mōūsa* ср. греч. *Μουσης*, арм. *Movsēs* Моисей; — ξ <...> *kezu* (лакуна сигнализирует аббревиатурным титлом над *k*), ср. уд. ξ '*ixarkezu* 'закончил' или ξ '*albezu* 'обнес оградой'; — *žē* = уд. *žē* 'камень' (*žēne* = уд. *žēne* 'каменный').

Надпись 4 (на фрагменте подсвечника)

(I) *zu vašal'a* [laarc'ioŋin (?) ...]. *ši yŋa* [...]

(II) *yŋi yŋešun'ana* [...]

"Меня, Васала (?), в[севышний...], помяни (?)...", "(Услыши, [?]) Иисова мать [...]"

zu = уд. *zu* (им./эрг. п.) 'меня'/'я' (дешифр. А.Г.Абрамян); — *vašal'*, имя собств.? — *ši yŋa* [...], см. комм. к надп. 2 (конец); — (*yŋi*) *yŋešun'ana*, ср. уд. *Isus* (греч. Ἰησοῦς, груз. *Jesu*) и уд. *papa* (дешифр. В.Л.Гукасян) 'мать' (*yŋi*, ср. уд. *i*//*ibak'sun* 'слышать', 'слушание').

Надпись 5 (подсвечник № 2)

Воспроизводит три отрывка из алфавита: № 1-10 *a*₁ *o*₂ **b* [g] (не сохранилась) *e* *z*₁ *e* *ž*₂ *t'* *č*₂ (дешифровал Г.А.Климов), 13-15 *i*₁ *ž*₂ (искаж.?) *l*₁ (поврежд.), 40-42 *p*₂ *p*₁ (ошибочно переставлены) *k*₃; и какой-то непонятный знак.

Надпись 6 (подсвечник № 3)

zu hič'pe "Я крещенный/христианин"

zu = уд. *zu* 'я' (дешифровал А.Г.Абрамян); — *hič'pe*, ср. уд. *hač'pi* (прич. аор. от *hač'p'sun*) 'крещенный', арм. *хеč'* = *хаč'* 'крест'.

Надпись 7 (черепок № 2)

Воспроизводит отрывок из алфавита: № 29-33 *m* *k*₃ *n* *ž*₂ (ошибочно № 34 вместо № 32 *ž*₁) *s*, (стерта).

Надпись 8 (Дербентская)/по слегка исправленной прориси Барударяна/

goz čulēmo <*y*> "Ограда ворот"/"Дверная ограда"

goz, ср. уд. *göz*//*gez*//*gāz* 'огород'; — *čulēmo* <*y*>, ср.: 1) уд. *čotou* 'дверной', *čotox* (pl. tant.) 'дверь', 'ворота'; 2) иноязычные передачи местного названия Дербента: арм. *Čul*//*Čul*//*Čil*//*Čola* (*y*)//*Čōla* (*y*), дарг. *Čulli*, араб. *Sūl* и др.; 3) иноязычные переводы местного названия Дербента и/или Дербентского прохода: "ворота", "ворота ворот", "железные ворота", "морские ворота"...

goz čulēmo <*y*> точно соответствует персидскому *dār bānd* 'дверная перевязь/преграда' (откуда название города Дербент, крепости, преграждающей проход в Закавказье по берегу Каспия).

О ДРЕВНЕГРУЗИНСКОМ АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

1. 36 букв древнегрузинского алфавита (a b g d e v z e t i k l m n u o p ž r s t w p' k' γ q š č' c' z ç ç x ħ ž h) четко распадаются на две группы: группу "греческих" букв (подчеркнуты) и группу "негреческих" букв. Первые, числом 21, имеют практически то же звучание, занимают те же места и имеют те же числовые значения, что и 21 из 24 букв греческого алфавита (α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ο π ρ σ τ υ φ χ; отсутствуют только ненужные "двойные" ξ и ψ и долгая ω). Вторые, числом 15, обозначают специфически грузинские звуки, не имеющие аналогов в греческом языке.

2. "Греческие" буквы, как сказано, точно следуют греческому алфавитному порядку. Почти все "негреческие" буквы, числом 12 (№ 25–36), помещены вслед за последней "греческой" (№ 24 k'). Но три "негреческие" вставлены в "греческий" ряд: v (№ 6), y (№ 15) и ž (№ 18). Сравнение с греческим алфавитом показывает, что они занимают места, соответственно – рано (VII–V вв.) исчезнувшей "дигаммы" Ϝ (№ 6), ненужной "кси" ξ (№ 15) и столь же рано исчезнувшей "коппы" Ϙ (№ 18), причем обе исчезнувшие буквы, равно как, разумеется, и неисчезнувшая ξ, продолжали функционировать в греческом в качестве цифр (Ϝ = 6, ξ = 60, Ϙ = 90). Те же числовые значения имеют и грузинские v, y и ž. Вывод напрашивается: эти "негреческие" буквы заняли пустые места "греческого" ряда во избежание смещения числовых значений "греческих" букв грузинского алфавита (от № 7 и далее) относительно соответствующих им букв греческого алфавита (А.Г. Шанидзе, 1957).

3. Порядок "негреческих" букв до сих пор не был удовлетворительно объяснен, хотя и было замечено (Джавахишвили, Böder и др.), что он имеет какую-то фонетическую подоплеку. Действительно, в последовательности букв

v y ž γ q š č' c' z ç ç x ħ ž h

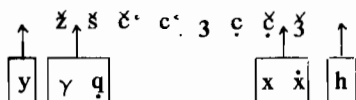
явно угадываются признаки системного расположения по фонетическому критерию. Но чтобы выявить суть использованной здесь системы, необходимо, исходя из этих признаков, графически объединить между собой все буквы, имеющие "родственные" фонетические значения:

v y ž γ q š č' c' z ç ç x ħ ž h

Бросается в глаза, что ряд "негреческих" распался на два субряда:

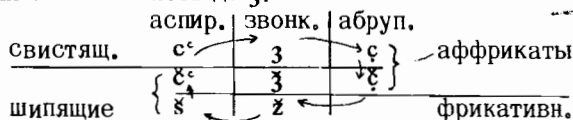
- субряд шипящих/свистящих: ž š č' c' z ç ç ž;
- субряд "средне-задних": y γ q x ħ h;

плюс одинокая "передняя" v; причем способ объединения этих субрядов в общий ряд явно неслучаен, ибо строго симметричен:

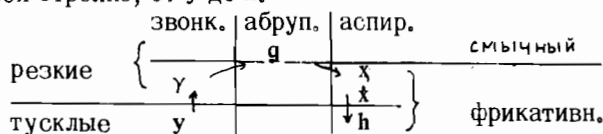


4. Объясним ли порядок букв в каждом субряде? Объясним.

Порядок первого субряда может быть получен, если: 1) расположить составляющие его буквы по клеткам таблицы, отражающей деления соответствующих звуков на "аспирированные/звонкие/абруптивные", "свистящие/шипящие" и "аффикаты/фрикативные", и 2) "раскрутить" образуемое ими кольцо (вернее — спираль) по часовой стрелке, начиная с \check{z} и вплоть до \check{z} :

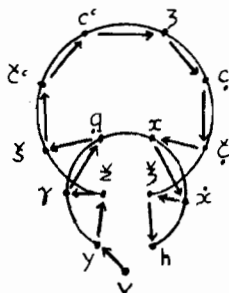


Порядок второго субряда может быть получен путем: 1) подобной же табулярной классификации звуков по признакам "звонкие/абруптивные/аспирированные", "тусклые/резкие" (см.: Словарь лингвист. терминов. М. 1969, s. vv.) и "смычные/фрикативные", и 2) подобного же "раскручивания" образованного ими "кольца" по часовой стрелке, от y до h .



Объединены же в один ряд оба субряда и одинокая v могут быть следующим образом: путем 1) комбинации их "колец" (коим ради такого случая придается более правильный вид) посредством их частично-взаимопересечения, как показано на рисунке, и 2) соединения составляющих их букв по часовой стрелке так, чтобы образовалась единая замкнутая линия от y до h ; 3) помещения в начале ряда одиночной "передней" v :

5. Очевидно, что алфавитный порядок, полученный этим (или ему подобным) способом, не мог возникнуть стихийно и является плодом целенаправленной деятельности человека, не только знакомого с эллинской культурой, но и обладающего незаурядными способностями и совершенно исключительными для своего времени познаниями в области фонологии.



ВЕРБАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАК КЛЮЧ К СЕМАНТИКЕ ОБРЯДА

Обряд целесообразно рассматривать как сложный текст, построенный в результате одновременного использования трех кодов — акционального (код действий), реального (код предметов) и вербального (код словесный). К этому следует добавить факторы конкретизированного времени, места, а также обычно действующего лица. Эти факторы при определенной целеустремленности обряда, обращенности к высшему началу, стихии, духу предков и т.п. придают ему необходимую сакральность. Обряд, как и другие сложные тексты подобного рода, обладает формой, содержанием (смыслом, значением) и функциональной направленностью (это можно выразить словами: *как, что по сути, для чего*). Все три кода служат для выражения одного смысла, одного значения, что придает многим обрядам кумулятивный характер, т.е. характер "нализывания" синонимов на один обрядовый "стержень". Такая трехкодовая обрядовая структура, которая лишь в редких случаях может быть сведена к двухкодовой, допускает относительно свободную и легкую редукцию отдельных межкодовых или внутрикодовых "синонимов", а иногда и, наоборот, еще большее их нагромождение, нализывание с эмфатической целью, по принципу "кашу маслом не испортишь". На этом основании происходят различные изменения не только формы обряда, но и его смысла в целом или в отдельных его блоках-частях. При этом можно провести четкую аналогию с диахроническими семантическими процессами в языке и применить к обрядам ту же терминологию, что применяется в языкознании — *десемантизация, семантизация, транссемантизация, семантический дифференциальный признак*, противопоставляемый свойству референта, т.е. признаку интегральному, потенциальному, не вступающему в смысловую оппозицию, и потому еще (или уже) находящемуся за пределами значения. Сама реконструкция смысла (значения) в этом случае будет принципиально приближаться к реконструкции исходной семантики при этимологических изысканиях: допустим и целесообразен поиск не единого предназначения, а некоторого возможного или наиболее вероятного исходного семантического спектра. Трудности реконструкции семантики обряда или его отдельных блоков, действий и составляющих элементов компенсируются отчасти другим обстоятельством — наличием в общем немногочисленного набора (индекса) значений и смыслов (символов и т.п.) в обрядах по сравнению с набором семем, устанавливаемых для праязыка.

Вербальные тексты, употребляемые параллельно с обрядовыми действиями и предметами, дают наиболее четкую, особенно для лексикографических нужд, семантическую характеристику обряда или его

фрагментов. Эта характеристика не всегда вскрывает значение непосредственно и не всегда является исконной или древней. Она может быть связана с действиями и предметами в разных обрядах, однако при семантическом анализе обряда она оказывается ключевой, притом ключевой не только для обрядов, в которых она фиксируется, но и для обрядов с аналогичными действиями и предметами, в которых она отсутствует. Эти положения в докладе будут иллюстрированы анализом одного куцерского обряда из Юго-Восточной Болгарии. Сами вербальные тексты в обряде различны по форме (структуре), по содержанию, по своей ценности (*valeur*), т.е. по роли и весомости в обряде. Необходимо выработать критерии классификации этих текстов и расчленить их типологически по основным формальным, содержательным, функциональным и иным критериям. К таким текстам могут относиться монологи — заклинательные, просительные, благопожелательные (по модели "сколько...столько..."), императивные (отгонные, пригласительные и т.п.) диалоги (вопросно-ответные и т.п.), комментирующие высказывания, выкрики, песенные сопровождения (к ритуальным танцам, обрядовым действиям) и т.п. Во всех случаях существенно определение степени устойчивости, клишированности текста, его ареала, наконец, коллекционирование и картографирование его вариантов. Отдельный научный вопрос — бытование таких текстов в разных обрядах и особенно во внеобрядовых фольклорных произведениях. Его рассмотрение существенно для ряда проблем, в том числе и для давно декларированной, но мало разработанной проблемы обрядовых истоков фольклора. Этнография, фольклористика и лингвистика нуждаются в лексикографической обработке клишированных и полуклишированных обрядовых текстов в виде словарей, указателей, а также в атласах, т.е. картах, отмечающих не только их распространение, но и другие, прежде всего формально-смысловые и функциональные особенности.

А.В.Гура, О.А.Терновская, С.М.Толстая

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РИТУАЛЬНЫХ ФОРМ РЕЧИ У СЛАВЯН

Тема "текст и ритуал" предполагает прежде всего выяснение функциональных, структурных, семантических и мифологических связей вербальных компонентов обряда с другими компонентами, относящимися к сфере собственного ритуального поведения. Доклад касается не столько текстов в их отношении к обряду, сколько самого ритуала речи как одной из разновидностей ритуального поведения, т.е. видов, форм, способов и приемов сакрализации речи в контексте обряда. Некоторые из таких приемов (повторы, перечни, магический счет и т.д.) рассматривались исследователями отдельных фольклорных жанров (прежде всего заговоров как наиболее сакральных текстов) в

качестве составной части их поэтики, однако эти приемы, по-видимому, носят более общий характер, будучи не столько элементами поэтики, сколько признаками ритуального поведения вообще (ср. повторение действий, их нанизывание, обратный порядок действий, переворачивание предметов и т.п.) и ритуального речевого поведения, в частности. К наиболее распространенным способам сакрализации речи, помимо повторов, могут быть отнесены магическое отрицание (например, произнесение молитвы с отрицанием перед каждым словом), чтение текста наоборот (от конца к началу), прямой и обратный счет (в заговорах и заклинаниях), ритуальные, в том числе и риторические, вопросы (типа "Когда у нас была богатая кутья?" при выборе благоприятного дня для посадки овощей или "Когда у нас был Юрьев день?" с предполагаемым намеренно неверным ответом для отгона градовой тучи), ритуальные диалоги — особенно в рождественских и некоторых окказиональных обрядах (изведения насекомых, отгона тучи и т.п.). Особо выделяются драматизованные диалоги в свадебном обряде и разного рода играх преимущественно аграрной тематики (типа "А мы просо сеяли, сеяли"). Различные по интенсивности и характеру звучания виды речи — собственно говорение, шепот, молчание, крик, голошение, плач, стон, пение, смех, а также скороговорка, невнятное бормотание, речитатив и т.д. — имеют разную ритуальную приуроченность и особые магические или сакральные функции. В области собственно говорения дополнительными источниками сакрализации служат такие способы изменения языка, как подражание детскому языку (например, у пастухов), подражание языку животных (типа гудения пчелой или квохтания на святки), изменение голоса (например, во время колядования) и т.п. К сфере ритуального речевого поведения относятся также связанные с речью запреты, такие как запрет разговаривать в определенные моменты свадьбы, похорон или дожинок, молчание во время гаданий, лечения и т.п., наконец, разного рода языковые табу. Подобные запреты касаются также пения, плача, смеха, свиста. Ряд запретов и специальных предписаний связан с употреблением личных имен — именованьем, переименованием, зовом по имени и т.п. Сюда относятся, например, угадывание имени волка-оборотня с целью его обратного превращения, произнесение имени при виде падающей звезды или при встрече с русалкой, переименование детей при перекрещивании, магическое переворачивание имен и называние "остановочных" имен при отгоне градовой тучи, зов самого себя по имени при встрече со змеей и т.п. Для характеристики сакральной и магической речи могут быть привлечены также "метаязыковые" фольклорные тексты, т.е. легенды, поверья, сказки, касающиеся языка (легенды о происхождении языка, о языке животных, птиц, растений), звукоподражательные тексты, толкующие крики птиц (типа "Кинь полоть, пора кать") и т.п.

РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РУССКОЙ ЭКСПРЕССИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Изучение русского мата связано со специфическими и весьма характерными затруднениями. Характерна прежде всего табуированность этой темы, которая — как это ни удивительно — распространяется и на исследователей, специализирующихся в области лексикографии, фразеологии, этимологии. Между тем, подобные выражения, ввиду своей архаичности, представляют особый интерес именно для этимолога и историка языка, позволяя реконструировать элементы праславянской фразеологии. Соответствующие табу распространяются и на ряд слов, семантически связанных с матерщиной¹; специфика русского языка в этом отношении предстает особенно наглядно в сопоставлении с западноевропейскими языками, где такого рода лексика не табуирована. Табуированности матерщины и соотнесенных с нею слов нисколько не противоречит активное употребление такого рода выражений в рамках анти-поведения, обуславливающего нарушение культурных запретов.

Особое отношение к матерщине обусловлено специфическим переживанием неконвенциональности языкового знака, которое имеет место в этом случае. Знаменательно, что запреты на соответствующие выражения носят абсолютный, а не относительный характер, обнаруживая принципиальную независимость от контекста: матерщина считается в принципе недопустимой для произнесения (или написания) — даже и в том случае, когда она воспроизводится от чужого имени, как чужая речь, за которую говорящий (пишущий), вообще говоря, не может нести ответственности. Иначе говоря, этот текст в принципе не переводится в план мета-текста, не становится чистой цитатой: в любом контексте соответствующие слова как бы сохраняют *непосредственную* связь с содержанием, и, таким образом, говорящий каждый раз несет непосредственную ответственность за эти слова². Но подобное отношение к языковому знаку характерно прежде всего для сакральной лексики: в самом деле, именно в сфере сакрального присуще особое переживание неконвенциональности языкового знака, обуславливающее табуирование относящихся сюда выражений, — тем самым, обесцененная лексика парадоксальным образом смыкается с лексикой сакральной.

Разгадка подобного отношения к матерщине объясняется, надо думать, тем, что матерщина имела отчетливо выраженную культовую функцию в славянском язычестве; отношение к фразеологии такого рода сохраняется в языке и при утрате самой функции.

Действительно, матерная ругань широко представлена в различного рода обрядах явно языческого происхождения — свадебных, сельскохозяйственных и т.п., — т.е. в обрядах, так или иначе связанных

с **плодородием**: матерщина является необходимым компонентом обрядов такого рода и носит безусловно ритуальный характер. Одновременно матерная ругань имеет отчетливо выраженный антихристианский характер, что также связано именно с языческим ее происхождением. Соответственно, в древнерусской письменности матерщина рассматривается как черта бесовского поведения, ср., например, описание языческих игр в "Челобитной нижегородских священников" 1636 г.: "Да еще, государь, друг другу лаютъся позорною лаею, отца и матере блудным позором, в род и в горло, безстыдною самою позорною нечистою языки своя и души оскверняют". Обличая тех, кто проводил время, "упражняющеса в сквернословіах и на сатанинских позорищах", митрополит Даниил писал в сер. XVI в.: "Ты же сопротивнаа Богу твориши, а христианин съи, пляшеши, скачеши, блуднаа словеса глаголеши, и инаа глумленіа и сквернословіа многаа съдѣваеши и в гусли, и в смыки, в сопѣли, в свирѣли вспѣваеши, многаа служеніа сатанѣ приносиши"; по его словам, "Идѣже бо есть сквернословіе и кошуны, ту есть бѣсом събраніе, и идѣже есть играніа, тамо есть діавол, а идеже есть плясаніе, тамо есть сатана"; матерщина выступает здесь в одном ряду с типичными атрибутами языческого поведения, обличаемыми в поучениях, направленных против двоеверия. Ср. еще наказ Троицкого Ипатьевского монастыря монастырским приказчикам (XVII в.), где предписывается, чтобы монастырские крестьяне "матерны и всякими скверными словами не бранились, и в бѣсовскіе игры, в сопѣли и в гусли и в гудки и в домры, и во всякіе игры не играли"; подобные свидетельства могут быть умножены. Повесть временных лет, описывая языческие обряды радимичей, вятичей и северян, упоминает "срамословье" как специфическую черту *языческого* поведения. Примечательно также встречающееся в древнерусской учительной литературе мнение, что матерная брань — "то есть жидовское слово": "жидовское", как и "еллинское", может отождествляться в христианской перспективе с язычеством, и, соответственно, славянские языческие боги могут трактоваться как "жидовские" — мы встречаем, например, упоминания о "жидовском еретике Перуне" и "Хорсе-жидовине". Вместе с тем, способность матерно ругаться приписывается домовому, т.е. персонажу явно языческого происхождения.

Необходимо отметить, что матерная брань в ряде случаев оказывается функционально эквивалентной молитве. Так, для того, чтобы спастись от лешего, домового, черта и т.п., предписывается либо прочесть молитву, либо матерно выругаться (подобно тому, как для противодействия колдовству обращаются либо к священнику, либо к знахарю); при этом матерщина может рассматриваться даже как относительно более сильное средство, т.е. возможны случаи, когда молитва не помогает, а действенной оказывается только ругань. Равным образом как молитва, так и матерщина является средством, позволяющим овладеть кладом: в одних местах для того, чтобы взять

клад, охраняемый нечистой силой, считается необходимым помолиться, в других – выругаться. Совершенно так же магический обряд "опаживания", совершаемый для изгнания из селения эпидемической болезни (которую также отождествляют с нечистой силой), в одних случаях сопровождается шумом, криком и *бранью*, в других – молитвой. Поскольку те или иные представители нечистой силы генетически восходят к языческим богам, можно предположить, что матерная ругань восходит к языческим молитвам или заговорам³. Соотнесенность матерщины с языческим культом исключительно ярко проявляется у сербов, когда для того, чтобы спастись от *града*, бросают вверх (в тучу) *молот* и при этом *матерно ругаются*. Как известно, в славянской (и индоевропейской) мифологии молот выступает как атрибут Бога Громовержца, насылающего грозу и град; надо полагать, что и матерщина имеет к нему то или иное отношение.

Для выяснения роли матерной брани в языческом культе представляет непосредственный интерес поучение против матерщины, в котором говорится, что скверным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать собеседника, и "третья мати – земля, от неяже кормимся, и питаемся, и одъбаемся, и тмы благих приёмлем, по Божію повелѣнію к нейже паки возвращаемся, иже есть погребеніе"⁴. В одном из списков апокрифической "Беседы трех святителей" находим вопрос: "Что есть не подобает православным христианом бранится?" – и следует ответ: "Понеже Пресвятая Богородица мати Христу Богу вторая наша мати родная, от нея же мы родимся и свет познахом. Теретяя [третья] мати земля, от нея же взяты и питаемся и в нея же паки возвратимся"; считается, что это русская вставка в памятнике греческого происхождения. Ср. еще апокрифический "Свиток Иерусалимский", где Господь говорит: "приказываю вам не божиться и не произносити всуе имене Моего и не испускати из уст ваших скверных, хульных и матерных слов. Сколь есть тяжек сей грех, што я простить его не могу, потому что не одну родную мати поносишь, – поносишь ты мати родную, Мати Богородицу, мати сыру землю". Равным образом в духовном стихе "О пьнице" ("Василий Великий") говорится, что матерным словом хулится Мати Сыра Земля и Богородица. Соответственно, исследователь белорусской духовной культуры (А.Е. Богданович), констатируя "представление о земле как о всеобщей матери" у белорусов, замечает: "поэтому, между прочим, считается предосудительным ругаться материнскими словами, чтобы не оскорбить чести матери земли".

Исключительно характерно в этой связи магическое совокупление с землей, имеющее, несомненно, языческое происхождение (именно так иногда объясняют ритуальное катание по земле в сельскохозяйственных обрядах). Знаменательно, что такое оскорбление матери Земле приравнивалось к обиде *родителям* – в одном древнерусском епитимейнике читаем: "Аще ли отцю или матери лаял или бил или, на землѣ лежа ниць, как на женѣ играл, 15 дни [епитимии]".

Ср., вместе с тем, обращение девиц к празднику Покрова с просьбой о замужестве, где обыгрывается внутренняя форма названия этого праздника, причем невеста уподобляется земле, понимаемой как женский организм: "Батюшка Покров, земелечку покрой снежком, а меня молоду женишком", Понимание земли как женского организма находит отражение в одной из "заветных сказок" А.Н.Афанасьева, где проводится сопоставление земли с женским телом: титьки — "сионские горы", пуп — "пуп земной", vulva — "ад кромешный". Мотив совокушения с землей имеет явные мифологические корни и обнаруживает связь с основным мифом о Боге Грозы, как это видно, например, в свадебном причитании:

Расшиби-ко ты, громова стрела,
Еще матушку — мать сыру землю
Развались-кось ты, мать сыра земля,
На четыре все сторонушки...

Сходным образом и в античном язычестве земля воспринималась как женский организм, а урожай трактовался как разрешение от бремени. Отсюда объясняются как фаллические процессии, так и ритуальное сквернословие (эсхрология) в античности. Совершенно так же объясняется, наконец, и ритуальное обнажение в сельскохозяйственной магии, в равной мере характерное для античных и для славянских обрядов.

Для ассоциации Матери Земли с Богородицей, представляет интерес следующее свидетельство, относящееся к Ярославской губ.: "Когда в засушливые годы (1920 и 1921 г.) некоторые из крестьян стали колотушками разбивать на пашне комья и глыбы, то встретили сильную оппозицию со стороны женщин. Последние утверждали, что делая так, те 'бьют саму мать пресвятую богородицу'"; в других случаях совершенно аналогичные запреты мотивируются опасением, что Мать Земля не родит хлеба или ссылкой на *беременность* земли.

Ассоциация земли с Богородицей может находить отражение в иконописи: так на псковской иконе "Собора Богоматери" XIV в. (собр. Третьяковской галереи) аллегория земли изображается в виде Богородицы на траве (эту икону иногда связывают с ересью стригольников). Отметим, наконец, что у хлыстов на годовом радении во время пения песен в честь "Матушки сырой земли" выходит из подполья богородица и причащает присутствующих ягодами. В "Бесах" Достоевского Марья Тимофеевна говорит: "А по-моему..., Бог и природа есть все одно'... А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: 'Богородица что́ есть, как мнишь?' — 'Великая мать, отвечая, упование рода человеческого'. — 'Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость'". Как видим, это высказывание прямо подтверждается этнографическими данными.

Остается отметить, что культ Матери Сырой Земли непосредственно связан в славянском язычестве с культом противника Бога

Громовержца, в первую же очередь — с культом Мокоши как женской ипостаси, противопоставленной Богу Грозы; ср. в этой связи цитированное свадебное причитание, где выступает мотив громовой стрелы, расшибающей Мать Сыру Землю. С принятием христианства почитание Мокоши было перенесено как на Параскеву Пятницу (которая может восприниматься, соответственно, как "водяная и земляная матушка"), так и на Богородицу, вследствие чего Богородица и ассоциируется с Матерью Сырой Землей. Знаменательно в этом смысле, что в русских духовных стихах заповедь не браниться матерными словами может вкладываться в уста как Пятницы, так и Богородицы.

¹ Характерно, что слав. *jěbati в западнославянских языках имеет значение "ругать, проклинать", т.е. семантика данного слова может соотноситься с общим значением матерного выражения.

² Такого рода восприятие нашло отражение в духовном стихе "О пьянице" ("Василий Великий"):

Который человек хоть одныжды
По матерну взбранится,
В шутках иль не в шутках,
Господь почтет за едино.

³ Весьма любопытны в этом отношении непристойные надписи в голоснике (т.е. резонаторе) новгородского Софийского собора, сделанные еще до обжига, т.е. в сер. XI в. По всей вероятности, мы имеем здесь не сознательное святотатство, но синкретическое совмещение христианского и языческого культа, т.е. христианским молитвам, звучащим в храме, придавался через резонатор — без ведома о том самих молящихся! — дополнительный языческий смысл.

⁴ Отражение цитированного поучения можно усмотреть в фольклорной легенде о происхождении материщины, где последняя связывается с инцестом: "У каждого человека три матери: мать родна и две великих матери: мать — сыра земля и Мать Богородица. Дьявол 'змустил' одного человека: человек тот убил отца, а на матери женился. С тех пор и начал человек ругаться, уломяная в брани имя матери, с тех пор пошла по земле эта распута".

В.Н.Топоров.

ТЕКСТ ГОРОДА-ДЕВЫ И ГОРОДА-БЛУДНИЦЫ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Образ города, сравниваемого или отождествляемого с женским персонажем, представляет собой частный (обусловленный определенными историческими условиями) вариант более общего и архаичного образа Матери-Земли как женской ипостаси Пуруши, что предполагает (по меньшей мере) жесткую связь женского детородного начала с пространством, в котором все, что есть, понимается как порождение (дети) этого женского начала. И.Г.Франк-Каменецкому принад-

лежит заслуга рассмотрения образа женщины-города (ср. *μητρόπολις* 'метрополия', но и 'родоначальница', 'основательница', 'мать'; 'родина'; 'главный город', 'столица', букв. — 'мать-город') в библейской эсхатологии. Некоторые дополнительные аспекты темы получили развитие при анализе евангельского мотива въезда в Иерусалим на осле, проведенном О.М.Фрейденберг. Цель настоящей заметки двойка — указание особого класса текстов (или микротекстов), в которых присутствует образ города-девы или города-блудницы и за которыми стоит определенный мифопоэтический образ, во-первых, и выявление основания для сопоставления-отождествления города и девы или блудницы, во-вторых. Действительно, в ряде традиций, прежде всего древних ближневосточных, известны тексты, где город рассматривается как дева. Ср. в обращении к Иерусалиму: "Скажите дочери Сионовой (букв. — Сион, ср.: *Εἰπατέ τῇ θυγατρὶ Σιών*; в др.-евр. в соответствующих случаях — *status constructus*): се, Царь твой грядет к тебе кроткий..." Мф. 21, 5 (ср. Ио. 12, 15) в соответствии с подобными образами ветхозаветной литературы: "Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе..." Захар. 9, 9 или "скажите, дочери Сиона: грядет Спаситель твой..." Исайя 62, 11 и т.п. (ср.: "так говорит Господь Бог дочери Иерусалима..." Иезек. 16, 3 и др.). Наконец, неоднократно встречаются места, где Иерусалим, дочь Сион выступают как невеста, ожидающая жениха (Господа, Спасителя). Ср.: "Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его — как горячий светильник... Не будут уже называть тебя "оставленным" [собств. — оставленной], и землю твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: "Мое благоволение к нему", а землю твою — "замужнею", ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои: и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой". Исайя 62, 1, 4–5; "И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим..., приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего..." Откров. 21, 2; "... пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца... и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога". Там же. 21, 9–10. — Существенно, что столица и/или страна (напр., Израиль) стандартно обозначаются как *betūlā* 'дева' или *bat* 'дочь', 'дева'; 'женщины' (в *Plur.*), хотя, как указывалось ранее, речь идет скорее о матери. Не менее характерно, что девой называют не только столицы еврейских государств Иерусалим и Самарию, но и столицы (чаще всего, хотя иногда и страны в целом) чужих государств — дочь (дева) Тира, Сидона, Вавилона и т.п. Но эти же города (особенно Вавилон, Ниневия), как и Иерусалим (и Иудея) могут обозначаться образом блудницы. Ср. в фрагменте о развращении Иерусалима: "Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия!" Исайя 1, 21; или: "... были две женщины, дочери одной матери. И блудили они в Египте, блудили в своей мо-

лодости; там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им: большой — Огола, а сестре ее — Оголива. И были они Моиими, и раждали сыновей и дочерей; и именовались — Огола Самариею, а Оголива Иерусалимом". Иезек. 23, 2—4; или в описаниях падения Иерусалима: "Но ты понадеялась на красоту твою и... стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему... Посему выслушай, блудница, слово Господне!" Иезек. 16, 15—35; или — применительно к Израилю: "...видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала..." Иерем. 3, 6 (ср. 3, 3, 7—9; 4, 30 и др.); "И детей ее не помилюю, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их...". Осия 2, 4—5 и сл.; или — применительно к Вавилону: "...я покажу тебе суд над великою блудницею... И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным... И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки... сии возненавидят блудницу, и разорят ее...". Откр. 17 и др. — В текстах этого рода город-дева (соотв. — блудница) не просто сравнение и даже не уподобление и персонификация: собственно, город и есть дева (блудница). Целомудрие девы и крепость города в этом случае не более чем два варианта общей идеи прочности, нетронутости, нерасколоти, гарантии от той нечистоты, которая исходит от захватчика, всегда — насильника. Но крепость целомудрия и крепость города могут быть силой взяты "нарушителем", и это "взятие" есть своего рода *terminus technicus* насилия, лишения чести в обоих случаях. Поэтому и взятие города приравнивается к потере чести (ср. вполне реальный обычай творить насилие при захвате города), к падению (ср. *пасть*, о деве и о городе), к утрате чистоты-крепости. Нередко описание захвата города представляет собой не что иное, как развернутую метафору взятия-овладения, насилия, тем более удобную, что в большинстве древних традиций слова для обозначения города женского рода. Такому овладению городом противостоит картина, описываемая в разобранной О.М. Фрейденберг мифологеме въезда (вхождения) в город божественного персонажа, выступающего как жених и спаситель. В этом случае союз города-девы (невесты) с женихом связан с пресуществлением крепости-целомудрия города-девы в полноту богатства, в обилие (ср. типологическое нередкое название города по признаку полноты, наполненности — др.-инд. *pur-* 'город' при *Pūr-uṣa*, ср. *purú-* 'много', *purṇa-* 'наполненный' и т.д., лит. *pilis* 'город' при *pilti*, *pilnas* 'полный' и др.), в частности, в многолюдие. Естественно, что город с самого его возникновения рассматривался не только как средоточие богатства и силы, но и как их источник, место, где они возникают или получают свыше. — Но известен и другой образ города — такого, который сам не блюдет своей крепости и целостности, идет навстречу своему падению, ища кому бы отдаться и не спрашивая, кто его берет.

Этот город-блудница "открыт" на все четыре стороны, и о нем сказано поэтом в стихотворении, отсылающем к отрывку из Исайи 1, 21: *Когда приневская столица, | Забыв величие свое, | Как опьяневшая блудница, | Не знала, кто берет ее...* (ср. О.Ронен); характерно, что о Спасителе, въезжающем в город, спрашивают: "Кто сей?" — именно для того, чтобы дочь Сион (Иерусалим) знала своего жениха. Если крепость и сила города-девы в его целомудрии, так сказать, "невзятости", то город-блудница ищет спасения в отдале всем и любому, в превращении каждого "наильника" (с точки зрения города-девы) в своего покровителя. Сдача города на милость победителя — та же отдача под покровительство (ср. вынос городских ключей и семантику ключа к девичьему сокровищу). Все сильные места (узлы крепости) становятся слабыми, т.е. местами отдачи, капитуляции. Оказывается, что четыре стены города (ориентированные по странам света, по основным координатам космологической горизонтальной структуры) не только хранят его целость и берегут богатство и благополучие, но они — в плохом случае — могут выступать и как периметр максимальной открытости, слабости, раз-ворота (ср. *раз-врат*), как стены, превращающиеся в сплошные ворота (ср. семантику врат города и целомудрия и такие образы, как: "И будут вздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная". Исайя 3, 25 — при суде над женщинами Сиона, когда "оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их" 3, 17; ср. также: "Рыдайте, ворота! вой голосом, город!.. 14, 31). Но и дева и блудница лишь два полюса, два противопоставленных друг другу отражения единого образа максимального женского плодородия, полноты возможностей (осуществляемых или остающихся в потенции) как чисто-благодатных, так и нечисто-порочных, безблагодатных, поскольку и блуд, разврат являются знаком гипертрофированной полноты, введенной в обесмысливающий контекст (богатство всем → богатство никому, безумная расточительность, никогда не приводящая к благу, но влекущая к смерти — *La Débauche et la Mort sont deux aimables filles...*); в этом смысле разврат сопоставим с инцестом, также связанным с высшим плодородием (ср. божественные инцесты), но тоже осуждаемым и запретным. Благо не может быть достигнуто, если город-блудница *не знает, кто берет его*, т.е. кто отец его будущего потомства, потенциального богатства, кто его спаситель во времени. Это "незнание", согласно с этимологией, обращается "нерождением" (ср. и.-евр. *gên- 'знать' и 'родить'), т.е. бесплодием (ср. инцест, также приводящий к утрате детородных способностей через вырождение), Чтобы достичь блага дева должна стать не блудницей, но матерью (ср. образ *матери Сион/а/* или Сион как "мать всех нас"), подобно матери-городу, столице (μετρόπολις) как божественному лону Матери-Земли, месту, где просят о благодати и где ее получают, — В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что город организуется (и соответственно рассматривается в мифопоэтической тра-

диции) как ритуальный центр, как храм, место жертвоприношения, алтарь. Изоморфизм всех этих структур четко осознавался архаичным сознанием, и количество разнородных свидетельств в этой области очень велико. Сам алтарь (круглый или четырехугольный) нередко изображается как детородное место (в других случаях алтарь и лоно могут обозначаться одним словом, ср. др.-инд. *yoni-* и др.), через которое обретается, рождается (ср. нередкое кодирование действия открытия, нахождения-обретения и рождения общим языковым элементом) богатство, обилие, потомство. В этом контексте не только лоно соотносится с алтарем, но и женский персонаж (дева, мать) — с храмом, городом, страной, а акт соития и рождения — с актом жертвоприношения (и стоящим за ним принципом — отдать/ся/, чтобы получить, *do ut des* и т.п.); разумеется, известны и другие ряды сопоставлений (ср. соотношение гибели иерусалимского храма со смертью сына, рожденного "матерью-Сион/ом/"). Алтарь -- то место, где вертикальная ось (случай, риск, шанс, динамизм) соединяется с статичной и устойчивой горизонтальной структурой (надежность, гарантированность, *status quo*). Вся совокупность концентрических сакральных объектов (алтарь, храм, город, страна) имеют в этом месте соединения свой центр. Он отмечается жертвой и является тем местом, где совершается универсальный обмен: самое дорогое и потенциально обильное, самое чистое, невинное, безгрешное (агнец, животное белого цвета, дева) отдается божеству в обмен на благополучие целого — всего коллектива, народа, города, страны. В этой перспективе привлекают внимание тексты и ритуалы жертвоприношения девы, обнаруживающие дополнительные параллели между девой и городом и отсылающие в конечном счете к синтетическому образу города-девы. К их числу относится мотив четырехчленности женской жертвы, соотносимой с аналогичным образом устроенным алтарем (ср. ведийскую четырехкосу юницу /*catuṣkapardā yuvatiṅ*/, "украшенную, с умащенным жиром лицом, облакающуюся в жертвоприношения, предназначенную богам", ср. RV X, 114, 3 /ср. поверженную на землю деву Израилеву. Амос 5, 2, правда, в несколько иных обстоятельствах/; эвенкийские шаманские ровдужные коврики-дэтур с 4 веревочками-"косами", считающиеся "хранилищем для душ оленьего стада" и используемые для размножения оленей; дэтур обозначает также пространство в верховьях мифической реки, где обитает двх-покровитель рода); само ритуальное расстилание, растягивание, распространение жертвенного коврика или подстилки сопоставимо со сходными ритуалами при выборе места для города или для его освящения (ср. Aen. I, 365—368). Но и город, как один из образов алтаря и, возможно, связанной с ним жертвы, четырехчленен. Ср.: "Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины" (Геродот I, 178); *Roma quadrata*; ликийск. *teteri* город (из **k⁴etuar-* 'четыре') и т.п.; ср. также известные примеры, когда сам алтарь обозначается по принципу "огороженное" (: *город*). Город охраняет, спасает, ограждает

да ет. находящийся внутри него род, народ, дева, имеющую стать матерью рода. Но и дева-мать охраняет, спасает и ограждает город (ср. женский персонаж в функции покровителя, защитника, гаранта целостности и безопасности города, соотв. — женские эмблемы и символы городов, воздвигая во времени "ограду рода" (ср. "Утрату сыновей" Эгиля Скаллаграмссона) серией рождаемых ею поколений-родов. Иначе говоря, переклички между образами города и девы(матери) столь обильны и далекоидущи, что часто бывает трудно решить, идет ли речь о специализации женского персонажа или о феминизации ("партенизации") пространства. Образ города-девы метафоричен двояко: город— метафора девы и дева — метафора города. Более сложная (и здесь не рассматриваемая) картина возникает в том случае, когда городу (fem.) противопоставляется его ядро, сердцевина — бург, крепость, детинец, кремль (masc.). Характерно, что и более поздние тексты города так или иначе откликаются на темы, коренящиеся уже в образе города-девы. Из них здесь достаточно назвать три: 1) Город как родовое место (т.е. место, где находится род и где он рождается, ср. город-мать); 2) Жертвенность города; 3) Город и случай-шанс, выбор (жизнь или смерть, победа или поражение, благо или зло), а также указать дальнейшее развертывание "городской" мифологии, воспроизводящее архаичные мотивы (ср.: *Москва-матушка* — *Петербург-батюшка* и мифологизированные описания их противоположных качеств при оппозиции "круглые" города: "квадратные" /четырёхугольные/ города).

Г. Хомерики

О СТРУКТУРЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА: Η ΣΦΙΓΞ

Греческая Сфинкс является одним из самых загадочных мифологических образов фиванского цикла греческой мифологии. Для понимания структуры символики, а значит и сути образа Сфинкс, решающее значение должна иметь сама загадка (τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγός), которая вместе с гипотезисами позднее была приложена к трагедии Софокла "Эдип-тиран" (Οἰδίπους τύραννος):

Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τέτραπον, ὃς μίᾳ φωνῇ,
καὶ τρίπουν ἄλλασσει δὲ φυτὸν μόνον, ὅσος ἐπὶ γαῖαν
ἔρπετὰ κινεῖται ἀνὰ τ' αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον.
ἄλλ' ὁπότεν πλείστοισιν ἔπειγόμενον ποσὶ βαίνῃ,
ἕνθα τάχος γυίοισιν ἀφαιρούτατον πέλει αὐτοῦ.

"Есть на земле [существо] двуногое и четвероногое и трехногое, речь [у] которого одна, меняет же [оно] облик (вид) одного из животных, которые по земле двигаются и на небе, и в море. Но когда [оно] торопясь ходит наибольшим <количеством> ног, то скорость его <от числа его> конечностей бывает наименьшей".

Вопрос о символическом значении числа ног у Сфинкс ранее был рассмотрен у В. Порцига. Нас же интересует другой вопрос — вопрос, касающийся трех стихий мира: неба (воздуха), Земли (земли) и моря (воды). В Сфинкс в одно целое объединены части тела четырех существ: женщины, птицы (орла или коршуна), льва и змеи, символизирующих три стихии мира и их владык. Отсюда вытекает, что сама η Σφῖγς является олицетворением общей картины мира. Стихия земли в этом образе подчеркнута особо, выражаясь тремя символами: львом, женщиной, змеей. Этот факт становится более ясным, если вспомнить, что Иокаста (Ἰοκάστη — "украшенная фиалками" т.е. Земля) является антропоморфным вариантом вложенного в образ Сфинкс мифологического смысла (С.С.Аверинцев, В.Н.Топоров). Надо также заметить, что у Сфинкс голова женщины и женская грудь, которые символизируют жизнепорождающий разум, а сама Сфинкс (модель макрокосма) задает загадку человеку (микрокосму) о человеке. Сфинкс является моделью мира, но является ею через свою жизнепорождающую (мать Иокаста) и жизнеотнимающую (мужеубийца Сфинкс) женскую сущность Земли, которая, как часть мира, в себе носит структуру своего целого. Итак, можно сказать, Сфинкс это модель мира, а точнее, модель мира женского пола. Именно поэтому перед этим словом мы всегда употребляем артикль женского рода η .

В структуре Сфинкс выделяются две основные бинарные оппозиции: *верх(небо)/низ(Земля)* и *мужское(правое)/женское(левое)*. Первую оппозицию образует противопоставление мифологических символов: орел/змея, женщина, лев; вторую: лев/женщина. Общеизвестно, что в мифах змея относится к стихиям земли и воды, т.е. в самом мифологическом образе змеи заложена бинарная оппозиция: земля/вода. Наложение друг на друга этих двух оппозиций создает трехчленную вертикальную модель мира, которая соответствует мифологическому строению мирового дерева. Эта структура в данном случае складывается следующим образом: *небо(орел)/земля(змея, женщина, лев)/вода(змея)*. Интересно, что женщина тут, как и Лилит в мировом дереве, находится в центре структуры. Мифологическая сущность четырех названных символов включает в себе возможность еще одной комбинации. Наложение друг на друга двух бинарных оппозиций: 1) *верх(небо, орел)/низ(земля, змея, лев)* и 2) *мужское(лев, правое)/женское(женщина, левое)* создает четырехчленную горизонтальную модель мира (по принципу четырех его сторон). Как видно, в образ η Σφῖγς вложены обе модели мира: 3-х членная вертикальная и 4-х членная горизонтальная. Важность символического смысла этих чисел в образе Сфинкс подтверждает не только работа В. Порцига, но и то, что число 4 представлено в крылатой Сфинкс четырьмя существами-символами, а число 3 — тремя стихиями. Как известно, сумма этих чисел создает числовой комплекс 7, который является "мировой константой" архаического рисунка мира. Умножение этого числа на 4 дает число 28, цикл мира и организма женщины на уровне

микрокосма. Будет уместным вспомнить, что в "Эдипе-тиране" (строки: 182–183) Эдип говорит: οἱ δὲ συγγενεῖς μῆνες με μικρὸν καὶ μεῦαν διώρισαν. По структуре и мифической судьбе фиванская Сфинкс своей гибелью из-за ее загадки, разгаданной Эдипом, предсказывает судьбу и гибель самого Эдипа как тирана. Тут надо вспомнить известный первый стасим из "Антигоны" о человеке как о владыке над тремя стихиями и их существами, а также слова хора из "Этипа-тирана" (строка 872): Ἐὐβρις φτελεῖ τύραννον. Все это относится к одному циклу мифологических смыслов. В связи со структурой Сфинкс можно отметить и одну деталь: Сфинкс существо двуликое, с лицом женщины спереди и змеи – сзади. Соединенные в один образ символы женщины и змеи относят Сфинкс к определенному кругу мифов с демоническими существами. Тут важное значение приобретает исторический генезис образа Сфинкс, а также ее мифологическая генеалогия.

После всего вышесказанного о структуре образа ἡ Σφῖγξ это греческое слово может быть осмыслено иначе. Ἡ Σφῖγξ, по нашему мнению должна пониматься не как "душительница", а как "охватывающая, объемлющая, вмещающая" в себя <стихии мира>. Значение "душить" в глаголе σφύγω является вторичным, полученным от основного значения "зажимать", "охватывать", а мотив душительницы Сфинкс в мифе должен быть позднего и народного происхождения. Этому есть подтверждение в самом мифе. Структурный анализ образа ἡ Σφῖγξ дает нам ответ на тот загадочный метамифологический смысл, который символическим кодом вложен в этот образ и который лаконично выражен в стихотворной загадке крылатой ἡ Σφῖγξ.

К ИСТОЛКОВАНИЮ МИФА О НАРЦИССЕ

Миф о Нарциссе – один из самых интересных и популярных мифов греческой мифологии. Специфика мифологического мышления и многозначность его символов содержит в себе возможность различных интерпретаций одного и того же мифа. Именно этим объясняется то большое количество трактовок мифа о Нарциссе, которые появились в различное время у различных авторов. Проведенный нами анализ основывается на внутримифологических данных этого мифа в контексте греческой мифологии и философии.

Начнем с того, что цветок нарцисс в античности осмысливался как цветок смерти. Он был посвящен двум древнейшим богиням земли – Деметре и Персефоне. В греческой онирокритике смотреть в воду означало смерть. Основываясь на этих, а также и других фактах, можно сказать, что миф о Нарциссе надо понимать как миф о смерти и видеть в нем три основных мотива, распределенных между тремя стадиями сюжета, вытекающих один из другого и дополняющих друг друга: 1. Любовь Нарцисса к самому себе; 2. Отвержение любви; 3. Остановка и оцепенение Нарцисса у зеркальной поверхности неподвижной воды. Эти три мотива можно представить тремя смысловыми ипостасями: 1) Инцест; 2) Отвержение любви; 3) Остановка движения.

ИНЦЕСТ. Нарцисс любит не кого-нибудь из своих близких по крови, а самого себя. В самом близком родстве он находится именно с самим собой. Тут инцест представлен в своем чистом, синкретическом, еще не расчлененном на отдельные объекты виде. Любовь Нарцисса к своему отражению на поверхности воды и познание себя через стихию воды на языке мифологических символов может быть понята как союз сына с матерью(родителем), ибо родители Нарцисса — Кефис и Лириопа — являются божествами стихии воды. Отсюда еще одна интересная и важная деталь: Нарцисс сам, как и другие инцестуозные герои (напр. Эдип), является плодом кровосмесительного союза. В данном контексте интересен факт наличия инцеста в пеласгической системе греческой мифологии: ср. космогонический акт союза Матери всего сущего Эвриномы и ее сына — змея Офона. Одной из основных смысловых ипостасей мифа о Нарциссе является "инцест". Внутренний смысл инцеста как биологической смерти в мифе символизируется смертью самого Нарцисса.

ОТВЕРЖЕНИЕ ЛЮБВИ. Общеизвестно, сколь широко и глубоко понималась космогоническая суть любви в греческой мифологии (особенно в орфической ее системе). Общеизвестен также взгляд греческих мыслителей на любовь, как на движущую и упорядочивающую силу вселенной. Отвержением любви Эхо Нарцисс отвергает именно ту форму любви, которая необходима для существования человека и жизни мира. Для пояснения этого мотива в мифе о Нарциссе его можно сопоставить и противопоставить мифам о Пигмалионе и Галатее, Орфее и Эвридике.

ОСТАНОВКА ДВИЖЕНИЯ. Движение в греческой философии являлось одним из самых основных условий существования и развития мира. Тут особое значение приобретает само слово *Νάρκισσος* — 'оцепененный' от глагола *ναρκέω, ναρκάω, ναρκῶν* — 'останавливаться, цепенеть'. В мифе остановлен не только Нарцисс, но и сама вода. Этот факт получает особый смысл, если вспомнить, что в гомеровской системе греческой мифологии началом всего сущего является: течение (движение) Океана(воды). Так это и в орфической системе мифологии.

Эти три смысловые ипостаси носят в себе и представляют собой три разные причины, исходящие из одного начала — человеческой гордыни (*ὕβρις*) и пересекающиеся в одном результате — в смерти. Именно эта метамифологическая мудрость, имеющаяся у древних Греков на уровнях микро- и макрокосма, выражена символическим кодом в мифе о Нарциссе.

ОБ ОДНОЙ ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ К ЗАГАДКЕ СФИНКСА-ЭДИПА

Начиная с Порцига, велись разыскания в области индоевропейских истоков противопоставления двуногости-четвероногости в загадке, которую Сфинкс (Сфинга) загадывает Эдипу (чье имя содержит ту же основу **pod* 'нога', (ср. статью автора "Пространственные структуры раннего театра и асимметрия сценического пространства". — В кн.: Театральное пространство. Материалы научной конференции, М., 1979, с. 15, 30). Но сама эта оппозиция в мифологическом контексте встречается и в хеттском переводе хурритской сказки о четвероногой корове, рождающей двуного сына Богу Солнца. Кажется вероятным, что древневосточную параллель можно найти и для мотива, связанного в загадке с наименьшим нечетным числом — 1. Наличие у человека одного языка (=голоса) напоминает строки шумерского эпоса об Энмеркаре, где говорится о мифологическом времени, когда не было ни хищных животных, ни страха и ужаса (ср. позднейшие — хаттские и хеттские — переводы этой пары, давшей греч. гом. Δ εἶμος τε Φόβος τε), ни соперников человеку, когда Шумер (Юг-*ki-en-gi*) был созвучноязыким (*eme-ka-nun*) и все страны, весь мир, все люди славили Энлиля одним языком (*eme-aš-am*). Этот миф, представляющий исключительный интерес для предыстории библейского предания о смешении языков, может уяснить и первоначальный мифологический смысл соответствующего мотива в загадке Эдипа. Усиливающийся в последнее время интерес к проблеме языка в "Эдипе" Софокла (С. Segal. *The music of the Sphinx. — Contemporary literary hermeneutics and interpretation of classical texts, Ottawa, 1981, p. 151–163*) заставляет отнести с особым вниманием к возможным древневосточным прототипам трагедии, не менее существенным, чем индоевропейские.

К МИФОЛОГИЧЕСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ ТЕКСТА ОДНОГО ИЗРЕЧЕНИЯ ГЕРАКЛИТА

Согласно Аристотелю, Ἡράκλειτος λέγεται πρὸς τοὺς ξένους εἰπεῖν τοὺς βουλομένους ἐντυχεῖν αὐτῶι, οἱ ἐπειδὴ προσίόντες εἶδον αὐτὸν θερμόμενον πρὸς τῶι ἵπνῳι ἔστησαν, ἐκέλευε γὰρ αὐτοὺς εἰσιέναι θερροῦντας εἶναι γὰρ καὶ ἐνταῦθα θεοῦς (Aristoteles, de part. anim. A 5.645 a 17). Вопреки допущению Хейдеггера (М. Heidegger. *Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens. — Gesamtausgabe. II Abteilung, Vorlesungen 1923–1944, Bd. 55, Frankfurt a. M., 1979, ss. 7–8*) это изречение едва ли относится к "пресуществлению" обыденной печи для хлеба. Скорее можно предположить, что в поведении и словоупотреблении Гераклита могло отразиться то сакральное исходное значение греч. ἵπνός 'печь', которое сохраняет родственное хет. *happina-*

'ритуальный очаг' в среднехеттской военной присяге и в ряде текстов, связанных с домом *hešta*. Боги обитают в *ἵπυός* по той именно причине, по какой *ἥρρινα* служит для совершения обрядов, связывающих людей с богами. Позднее греческое слово (как и родственное ему прусское) сохраняет только бытовое значение, утрачивая первоначальный обрядовый смысл, еще очевидный в цитированном греческом тексте и в соответствующих хеттских,

Т.М.Судник, Т.В.Цивьян

ЛЯГУШКА В МИФОЛОГЕМЕ ТВОРЕНИЯ МИРА

Из обширной и во многом универсальной мифологии лягушки/жабы по балтославянским и балканским данным выбирается фрагмент, вводящий ее в круг сюжетов о творении мира. Мифологема "творение мира" диахронически помещена в рамки оппозиции *подвижный/неподвижный (жидкий/твердый)*, члены которой связаны между собой отношениями трансформации: движение преобразует хаотическое, аморфное, нередко жидкое или вязкое первовещество в космическую твердь, уплотненную, фиксированную на месте, т.е. неподвижную. Лягушка входит в оба этапа творения мира — *in motu* и *in statu* — поскольку она дает плюс в обеих частях оппозиции, в частности, из-за характерных для нее контрастов полной неподвижности, оцепенения и резких прыжков, интенсивных движений.

1. Лягушка-опора. В поле "результатирующего" признака *неподвижный* лягушка выполняет функцию опоры земли; ее связь с водой, ее бесформенность, "мягкость" могут указывать как на первичные воды, на которых плавают земля (ср. рыбы — опоры земли), так и на реликты хаотической аморфности. Ср. блр. (Пеляса) считалку *што пад намі, пад жалезнымі стуламі? — ...жаба, п'яўка...*, типовые клише архаичного прикладного искусства (лягушка — подставка, например ножки в мебели, лягушка — низкий, плоский: устойчивый сосуд и т.п.). В роли опоры лягушка может чередоваться с другими хтоническими животными или превращаться в них в результате той же операции уплотнения, отвердения, ср. комплекс лягушка → черепаха = "отвердевшая" лягушка: *Зямля на чарапасі. Яна [черепаха] була бу ўуж, бу жаба, бог ей накінуў чэрап...* (Вост. Полесье), ср. рум. *broască Țestoasă* "лягушка под крышкой", болг. *костена жаба* и т.п. Подтверждение связи лягушки с опорой, основанием можно реконструировать по др.-греч. βάθρον 'основание, фундамент, постамент, устой, основа' (ἱδρυμάτων Aesch., γῆς Soph.), н.-греч. βάθρον, то же и 'опора арки, моста', и др.-греч. ион. βάθρακος, н.-греч. βάθρακος, βάτραχος 'лягушка' (подробно рассмотрено В.Н.Топоровым). Ср. лит. диалектные названия жабы от *pamatas* фундамент, основание, завалинка: *pamatinė, pamatkė, pamačkė* и под., *pamatinė varlė* и даже табуированно

pamatiné geguté (собств. "кукушка"), *pamatų juzapas* 'Иосиф дна' (в последнем можно усмотреть ассоциации с Иосифом-на дне колодца, ср. мотив лягушки в колодце для сохранения свежести и чистоты воды). Те же глубинные мифологические представления обнаруживаются в употреблении лексики *лягушка/жаба* как *terminus technicus* для обозначения неподвижных, сдерживающих, опорных узлов в разного рода подвижных конструкциях, механизмах вращения и т.п., напр., регулятор глубины вспашки в плуге, крюк, на который надевается петля ворот, соединительная деталь в блоке, род тормоза на колесе, деталь ярма, цепа и т.п., зафиксированные в болг., мак., сербохорв., польск., рум. и т.д.

2. Связь лягушка-мельница. Наиболее показательны в мифологическом плане названия двух сопряженных деталей, составляющих основу механизма гончарного круга и мельничного жернова — *веретено* и *лягушка/жаба* — вращающий стержень и его упор (лунка, или железное кольцо), ср. болг., рус. укр. *жабка* 'дыра или брусок в нижнем жернове для веретена', кашубск. *żabic, żabica* 'железо, куда вставляется ось вращения верхнего камня в жерновах' и т.п. Другое название этой же детали содержит комплекс *per/por*, кодирующий протагонистов основного мифа — рус. *параплица*, укр. *порплиця*, блр. *парплица*, болг. *пърприца*, словен. *parpiča*, чеш. *parpiče*, польск. *parpzyca, porpora* и др., рум. *părpariță, prepeliță*, лит. *pumpurė, pumprica* при *pumpė* 'лягушка' и т.д. Это позволяет реконструировать на уровне мельничной терминологии архетипическую модель "хтоническое животное, пронзаемое острым, колющим орудием", Балто-балканский материал проясняется данными финской традиции (подробно проанализированными М. Хаавио), где мотив *лягушки/жабы* в мельничной терминологии является ключевым, ср. *параплица* — "жаба", углубление для нее — "жабья душа", *веретено* — "жабья нога", далее "жабье железо", "жабья балка" и т.п., вплоть до того, что название чудесной мельницы — *Сампо* — некоторыми возводится к лопарскому названию жабы (ср., с другой стороны, соответствие др.-инд. *skambha* и *sampo* в значении опоры). Лягушка/жаба как опора в мельнице, связь с водой подводят к рассмотрению водяной мельницы как модели земли: твердь, покоящаяся на воде и опирающаяся на хтонических животных, см. в загадках мельница стоит "на спине змей" (рум.; ср. др.-инд. *донного змея/на рэках, на водах, на ракавых клешнях* (блр.).

3. Лягушка в процессе творения земли. Введение признака *подвижный* позволяет рассматривать мельницу не только как результат, но и как процесс творения мира, отождествляемый с различными ремеслами: в кругу представлений о навивании, вылепливании, замешивании и т.п. мира мельница может быть орудием для приготовления сырья-муки, из которой замешивается земля (ср. рум.: Господь делает из золы от первого огня лепешку и кладет ее на воду — так получается земля; лягушка выступает в роли ныряльщика за землей, она же подготавливает вязкую субстанцию для изготовления

земли: во рту она носит в воду, а в листьях крапивы – землю, из этой смеси навивается мир). Ср. группу значений, связанных с лягушачьей икрой: кроме мотива плодородия, урожая (рус. *клек*, блр. *клёк* жизненная сила, соки, полесск. *склёк* урожай, спор) здесь отчетливо ощущается мотив склеивания в клубок, комок, шар (лит. *kurkulai*, кроме лягушачьей икры, обозначающее путаницу, комок нитей, пряжи). Творение земли путем сгущения наиболее плодородной субстанции подводит к др.-инд. мифологеме о пахтанье мира с помощью божественной мутовки – горы Мандары, сопоставляемой, в частности, с чудесной мельницей Сампо. Ср. мотив происхождения земли из морской пены, отождествляемой с молочной пеной, т.е. жиром, в богомильских легендах ("Разумник", ср. клише "жирная земля"). Аналогия мельницы с маслобойкой (ср. обычное загадывание муки "белая пена") проясняет скрытую связь мельница-жир (рус. загадка о мельнице *сусло-масло под иору катилося, маслом подавилось*), как и тему сбивания масла в воде (ср. ряд литовских быличек). Через эту связь лягушки/жабы с мельницей (лягушка – хозяйка мельницы в рум. шуточных песнях; в польск. традиции нечистая сила, вредящая мельнице, представлена териоморфным существом с жабьими лапами и т.п.) и с молоком (высасывание молока у коров, лягушки в молоке для охлаждения его, в частности, перед сбиванием масла и т.п.), помещенная в поле признака *подвижный*, позволяет усмотреть в известном сюжете о лягушке, сбивающей масло и таким образом выбирающейся из горшка с молоком, где утонула ее пассивная подруга (лтш. сюжет АМ 278Е), некоторые аналогии с творением мира-пахтаньем, при том, что *подвижное* орудие пахтанья затем, выполнив свою задачу, становится *неподвижной опорой созданной им земли*. Это возвращает к оппозиции *подвижный/неподвижный*, описывающей творение мира и противопоставление хаос/космос и к роли лягушки – подвижного агенса и неподвижной опоры, в модели мира.

Т.Н.Свешникова

ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕКСТА И РИТУАЛА

1. Среди так называемых заговоров от оборотней встречается довольно редкий тип, имеющий форму диалога между Богоматерью (или безымянным субъектом заговора) и деревьями, которые выступают в роли волшебных помощников или вредителей. Ср., например, банатский заговор от сглаза¹): Богоматерь пускается в путь, встречает *иву*; спрашивает ее о девяти оборотнях; ива отвечает, что видела их, да не признала; Богоматерь проклинает иву, наказывая ее бесплодием; снова пускается в путь, встречает *виноградную лозу*; спрашивает ее о девяти оборотнях; виноградная лоза отвечает, что видела их, признала и спросила, куда они идут; Богоматерь благо-

связывает виноградную лозу и награждает ее плодородием. Ср. также заговор²⁾, в котором безымянный субъект заговора последовательно обращается к *иве* и *ежевике* (или *шиповнику*). Наконец, третий заговор³⁾ представляет собой диалог между субъектом заговора и *яблоней*, *грушей* и *бузиной*, причем последняя выступает в роли волшебного помощника (возможен вариант, в котором *бузина* и *груша* играют отрицательную роль, в то время как *яблоня* служит волшебным помощником⁴⁾).

2. Мифологическая отмеченность перечисленных выше деревьев и их связь со многими ритуалами совершенно очевидны. Так, *ива* играет важную роль во многих обрядах. В функции охранительницы и защитницы *выступает* ива в большинстве обрядов, приуроченных ко дню Св. Георгия и призванных защищать скот от оборотней. Так, в ночь накануне Св. Георгия с поля приносят куски дерна, втыкают в них ветки ивы и помещают у ворот, дверей дома, стойла и т.д. Ива участвует и в другом чрезвычайно интересном обряде, когда в день Св. Георгия у дверей загона для скота совершается ритуал, имеющий целью защитить скот от кукования кукушки, от которого у коров пропадает молоко. Этот ритуал состоит в следующем: из веток ивы и любистика (*Levisticum officinale*) плетут венок, кладут его на ведро для дойки молока и доят корову или овцу; затем к ведру подводят двух маленьких детей, — мальчика и девочку. Мальчик, подражая кукушке, трижды произносит *sucu*, а девочка отвечает ему: *găscucu*, затем дети берут венок и разрывают его. *Ежевика*, так же, как *ива*, используется для защиты скота и людей от оборотней. Вечером, в канун Св. Георгия колючие стебли ежевики кладут у дверей и окон, у входа в загон для скота, т.е. на границе внешнего и внутреннего, своего и чужого мира. Не менее важную роль играет ежевика в румынском погребальном обряде, существенную часть которого занимает ритуал, призванный помешать покойнику стать оборотнем. С этой целью вокруг усопшего кладут речные камни, чтобы он не голодал и не приходил к своим родственникам, чтобы съесть у них сердце; в полы одежды ему кладут *ежевика* и *мрамор*.

3. Сложная цепь ассоциаций, которые связывают между собой оборотней и кукушку, с одной стороны, и оборотней и некоторые растения, (в частности, ежевику), — с другой, совершенно, на первый взгляд, неожиданно воплощена в загадке о волке. Волк, который, как известно, тесно связан с оборотничеством, загадывается через паршивую овцу, которая сидит на холме и мотает пряжу; эта овца поклоняется *ежевике* и молится *кукушке*. Вот неполный текст этой загадки: *Am o oaie răpănă, | Şade-n deal şi deapănă, | Şi se-nchină rugului, | Şi se roagă cucului ...* 'Есть у меня паршивая овца, | Сидит на холме и мотает [пряжу], | И поклоняется ежевике; | И молится кукушке'.

1) Этот заговор встретился нам дважды: *Candrea I. -A. Densusianu O., Sperantia Tr. D. . Graiul nostru. II, Buc., 1908; Densusianu O. Antologie dialectală, 1915.*

² Tocilescu Gr. G. *Materialuri folkloristice. I*, p.1, Buc., 1900.

³ Ionașcu N.I., Mândreanu M.St. *Poesii populare și descânțece. Alexandria, 1897.*

Т.В.Цивьян

ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΚΗΠΟΙ: КОММЕНТАРИЙ К РИТУАЛУ

"Сады Адониса" привлекают постоянное внимание исследователей многозначностью своей семантики. Древняя Греция — лишь точка на пути этого ритуала, пришедшего с востока и распространившегося по Средиземноморью, а оттуда далее по Европе, захватывая новые традиции и сохраняясь до нашего времени: к определенному празднику, за небольшой срок до него, в низком сосуде, обычно керамическом (иногда это просто глиняные черепки), заполненном тонким слоем земли или водой, проращивают семена некоторых растений (салат, укроп, бобы, злаки и т.п.). На празднике эти быстро проросшие и столь же быстро вянущие побеги помещают на особое, сакральное место, а потом пускают их по воде, закапывают или выбрасывают. Наиболее распространенное толкование, идущее от Манхардта и Фрэзера, связывает Сады Адониса в контексте бога умирающей и воскресающей природы с культом плодородия, где они являются своего рода моделью растительного цикла. Этому, как будто, противоречит вошедшее в пословицу (см. Платон. Федр, 276.В) быстрое увядание, бесплодность Садов Адониса (это, в частности, заставило М.Детьена решительно отказаться от точки зрения Фрэзера), в поэтической версии — символа мимолетности, минутных радостей, олицетворения судьбы самого Адониса. Исчерпывающая работа V. Atallah "*Adonis dans la littérature et l'art grecs*" (Р. 1966), содержащая полный репертуар античных данных об Адонисе и их научных интерпретаций, позволяет высказать некоторые дополнительные соображения относительно рассматриваемого ритуала. Суть предлагаемого комментария состоит, во-первых в принципиальном отказе от единственного решения. Дело не только в том, что за свою жизнь во времени и пространстве Сады Адониса слишком обросли историей и мифологией. Они, как кажется, принадлежат к тем блуждающим содержаниям, которые в зависимости от нужд момента принимают разные формы. Или, если угодно, — к формам, наполняющимся соответствующими содержаниями (чтобы избежать метафизической проблемы приоритета содержания и формы). Разнонаправленные, но не противоречивые семантические линии этого ритуала в конце концов должны слиться в некотором общем толковании, возможно, примиряющем полюсы Фрэзер — Детьен. Одна из этих очевидных линий, отмеченная в связи с Адонисом Ренаном, — связь с культом смерти, с погребальным ритуалом в сюжете "жестокая преждевременная смерть прекрасного юного существа", давшем впоследствии едва ли не самостоятельную поэтическую линию (см. прежде всего

александрийскую поэзию и далее). Во-вторых, комментарий предполагает рассматривать Сады Адониса не как орнаментальную деталь праздника Адоний, а как самостоятельную манифестацию мифологемы сада. В другом месте (в связи с садом у Вергилия) говорилось и о семантике мифологического сада и о его структуре, соответствующей трехъярусной структуре мира (или мирового дерева): *нижний, земной и верхний сад*, принадлежащий соответственно миру мертвых и подземных богов, людям и небесным богам. Существенно, что ростки огородных или злаковых растений в сосуде носят номенклатурное название мифологического сада κῆπος. Если сложить все этапы, которые проходят Сады Адониса, — их делают *люди* у себя в *доме*, но в *темном, закрытом* помещении, потом, поднимаясь по лестнице, помещают их *высоко* на *крыши* домов, далее *спускают* их *вниз* и возвращают *земле* или *воде*, — то можно видеть здесь развертывание, осуществление всех трех видов, или ярусов, садов. *Земной*, сделанный руками человека сад, в начале и конце ритуала становится *подземным*, садом нижнего мира, а в кульминации — *небесным* садом верхнего мира (ср. название садов Адониса μετέωροι κῆποι, Suid. s. v.). В связи с этим особо должен быть рассмотрен мотив *лестницы* как пути от одного мира к другому: в данном случае она служит медиатором, преобразующим *подземный/земной* сад в *небесный* ("небесность" сада дополнительно подчеркивается присутствием крылатого гения, ср. соответствующие сюжеты вазописи; тогда особое значение может иметь маленькая лесенка, появляющаяся на вазах рядом с другими ритуальными деталями — циста, тени, венки, и т.п., и условно интерпретируемая как "ксилофон"). В ритуале "метаморфозы сада" можно видеть и кодирование "биографии" Адониса: не просто символ его быстрой отцветшей жизни, но указание на пребывание в летейских садах у Персефоны, выход в земной и надземный мир к Афродите и уход обратно под землю (возвращаясь к растительному циклу, — его можно представлять и как вечное воскрешение, и как вечное умирание природы).

Л.Н.Виноградова

МОТИВ "ПРИХОДА ИЗДАЛЕКА" В ОБХОДНОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ СЛАВЯН

1. Тексты календарных обрядовых песен — даже те из них, которые отражают конкретные ритуальные действия, — с большим трудом поддаются анализу, раскрывающему мифо-поэтический подтекст обряда (ср., напр., весенние, гаиковые, купальские, жнивные песни). Особого внимания заслуживает комплекс песенных мотивов обходно-календарной поэзии (прежде всего, колядной и волочебной), объединенных идеей "прихода издалека". Сопоставление отдельных элементов в формулах рассматриваемого типа позволяет увидеть в них отраже

ние архаических представлений о переходе из одного мира (верхнего или нижнего) в другой (средний, или земной).

2. Наиболее показательны в этом смысле заключительные формулы болгарского колядования, так наз. "колячовые благопожелания", содержащие выразительный набор элементов, связанных с идеей "перехода": указывается, в частности, что колядники шли издалека, переплывали море, преодолевали мутные реки, грязные грязи, прибыли сюда вниз ("долу") ровно в полночь; одежда их вымокла, башмаки стоптаны; они пришли к хозяину специально, чтобы получить обрядовый колач. •

3. В восточнославянском материале восстановить разрушенные формулы, основанные на мотиве "перехода", удастся на базе следующих элементов:

– колядники (волочбники) описываются пришедшими "из-под лесу'темного" (или шли через поле широкое, по дороге широкой, по "межам золоценьким") и проч.;

– изредка находим указание на преодоление водного рубежа (или переход по "грязной грязи");

– характерны многообразные варианты с мотивом "перехода по мосту" или "строительства моста" для встречи колядников, а также устойчивые заключительные формулы колядных и волочбных песен: "Масці кладку – заві у хатку";

– ср. также намеки на "дальнюю дорогу" в выражениях типа: "Шли не дзень и не два, не ночь и не две" или в заключительных приговорах, содержащих просьбу одарить поскорее: "Просім, дзядзька, не бавіці, бо далека нам хадзіці..." и др.;

– по-видимому, с этим же мотивом связаны и обрядовые диалоги между колядниками и хозяевами дома, наиболее устойчивым моментом которых было сообщение, что гости пришли издалека ("з далека-га краю... з-пад самага раку") и просьба пустить их на ночлег;

– большой интерес, кроме того, представляют формулы, содержащие угрозу забрать с собой ("в дальние края") в случае плохого одаривания: "Як не даси нам тої золатої, – украдемо у вас красну панну, занесемо її далеченько..." или – "Ня хочишь дариць – пойдішь с нами ходіть, воды бувтаць" и др.

4. В западнославянском колядном репертуаре мотив "прихода издалека" прочно слился с библейским сюжетом о поклонении новорожденному Иисусу (*Zdaleka mi idzeme, novinku vám neseme, to vám povieme: narodzilo sa diecatko v mesce Betleme*).

5. Рассмотренные песенные мотивы, наряду с рядом данных этнографического характера, позволяют реконструировать первоначальное значение календарных обходов как обряда, связанного с идеей "перехода" из мифологической отдаленной страны, расположенной за морем (за горами, лесами и проч.), т.е. из страны смерти.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОД ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА

1. Как известно, и общие пространственные ориентиры (запад–восток, верх–низ, левое–правое), и выделенные в пространстве "зоны" (такие как "дом", "дорога", "лес"), и границы этих зон нагружены особой содержательностью в славянской языческой картине мира. Их семантика не изменяется в разных контекстах (обрядовых или повествовательных), напротив: в каждом контексте их присутствие влечет за собой особое поведение или особый сюжетный ход.

2. Для погребального обряда пространственный код особенно важен: противопоставление "этого" и "иного" мира мыслится в пространственных категориях, ритуально пережитое событие смерти осознается как уход в загробье (ср. сон о сборах в дорогу – к смерти). Обряд должен восстановить равновесие между двумя этими "мирами", нарушенное вторжением смерти в область живых. Погребальный обряд сосредоточен на нескольких пространственных образах, во многом определяющих состав его действий, символических реалий и метафорической терминологии: это "трудная дорога" в "страну мертвых", граница между "миром живых" и "миром мертвых", наконец, пространственные представления двух этих миров.

3. По сохранившимся устным повериям трудно дать непротиворечивую пространственную характеристику загробного мира: "на небесах", под землей, за морем, на горе – и вместе с этим, в печи, в печной трубе, в вихре – стрешнике "живут души" (не говоря уже о том, что они могут летать в облике бабочек и птиц, "скидываться конем", скрипеть в больном дереве). В мире живых есть постоянные "точки контакта" с загробьем, "ходы" в иной мир: колодцы, дупла в корнях, межи, перепутья и другие "выморочные места". Обряд обладает тенденцией сузить многообразие и бесформенность пространственного представления смерти, ограничить ее область зоной кладбища, "священной земли", не создать новых прецедентов таких "ходов" из области смерти (тенденция, имеющая своим адресатом живых). С другой стороны, обряд должен помочь умершему пересечь трудно преодолимую границу двух миров (воплощаемую в образах стеклянной горы, огненной реки, "брода", неприступной стражи и др.).

4. Пространство смерти описывается обыкновенно как "обратное" пространству жизни. Для этого дают основание многие факты обрядовых действий с обратным вектором: шитья, стругания гроба, застегивания одежды наоборот (эта обратность еще удваивается в похоронах колдунов). Но считать единственной характеристикой загробного пространства его обратность было бы упрощением. Сама обратность (очень непоследовательно проведенная в обряде) может быть понята как простейшая, нагляднейшая иллюстрация "инакости". Загробное пространство "иное", а не обратное, не перевертыш "этого": оно не обладает протяженностью, постоянством масштабов и отношений,

свойственных "этому", оно моментально, как формы, которые принимают "души". Эта абсурдность пространственных законов иного мира с точки зрения здешнего помогает понять сосуществование его взаимоисключающих представлений. Дошедшие рассказы о топографии "рая" и "ада" по координатам восток – запад и верх – низ представляют собой отголоски книжной апокрифической традиции и в обрядовой реальности не отражены.

5. Итак, погребальный обряд можно представить как ступенчатое удаление смерти из области живых, водворение ее на "законном" пространстве: кладбища и замыкание там, "провода" покойного до "переправы" (монеты, холст, платки, кидаемые в могилу). Неравномерное, затрудненное движение идет от красного угла дома до "покутья"; его кульминация – прямая метафора пути, погребальное шествие. Границы пространства смерти в обряде не постоянны, их отмечают предписания траура: в первый день – это дом покойного, во время шествия – все селение. Вступление в это пространство требует от участников обряда особых действий, выход из него завершается катартическими актами. Каждое оставленное позади пространство замыкается и очищается (и сама дорога, по которой обыкновенно не возвращаются с кладбища). За поздней традицией "выноса" смерти из дома и селения угадывается другая архаическая возможность пространственной реакции живых на вторжение смерти: побег из "захваченной" ей зоны. Подобное поведение в позднее время вызывают только места "нечистой смерти" (самоубийства, "погубления души"), где присутствие смерти, не снятое обрядовым переживанием, консервируется.

6. Календарные поминальные обряды с точки зрения операций с пространством зеркальны погребальному: они начинают там, где погребальный кончается, – с "размыкания" кладбища и приглашения душ в дом. Без этого необходимого дополнения к "проводам души" картина отношений "пространства жизни" и "пространства смерти" в языческой картине мира была бы совсем иной.

А.К.Байбурин

К ИСТОЛКОВАНИЮ НЕСКОЛЬКИХ СЛУЧАЕВ РИТУАЛЬНОЙ ЗАВЕРШЕННОСТИ/НЕЗАВЕРШЕННОСТИ

1. К числу категорий, определяющих пространственную и временную конфигурацию любого текста, относятся понятия завершенности/незавершенности, соотносимые с категорией конца, но имеющие свои особенности. Речь идет о тех случаях, когда завершенность или незавершенность той или иной структуры являются не просто синонимами отмеченности или неотмеченности конца, но могут быть рассмотрены в качестве содержательной доминанты таких текстов, основу которых составляет процесс.

2. По указанному признаку выделяются два класса текстов. К одному из них предъявляются требования обязательной завершенности, в то время как к другому — столь же обязательной незавершенности. Предписания эти имеют ритуальный характер, и от их соблюдения в конечном счете зависит благополучие коллектива. Возникает вопрос: чем обусловлены столь противоположные требования, преследующие принципиально одну и ту же цель?

3. Обратимся к материалу. Сказанное относится в первую очередь к технологическим операциям и соответствующим ритуалам, сопровождающим изготовление того или иного культурного символа. Требование ритуальной завершенности относится, например, к изготовлению так называемых "обыденных" вещей — полотенец у белорусов, храмов у русских. "Обыденным" вещам присущи несколько особенностей. Они создавались коллективно, в строго ограниченный отрезок времени, точнее — за один день (отсюда их название "обыденные" в значении однодневные, сделанные за один день или за одну ночь). Поводом к ритуалу изготовления "обыденных" вещей были, как правило, эпидемии, эпизоотии, засухи. Причем отличительной чертой процесса изготовления подобного рода ритуальных символов было обязательное прохождение всех этапов создания, всего технологического цикла. Если, например, это было полотенце, то женщины всей деревни, собравшиеся в одном доме, должны были сначала натянуть нитки, затем выткать полотно, отбелить его и, наконец, вышить на нем узоры. В ряде районов Белоруссии мужчины параллельно изготавливали десятиконечный крест, на который затем и вешалось готовое полотенце. Семантика полотенца, вывешиваемого на *дороге*, по которой, например, прогоняется скот во время эпизоотии, достаточно прозрачна. Для нас важнее подчеркнуть то обстоятельство, что для *окончания* бедствия считалось необходимым к строго определенному времени *завершить* процесс изготовления ритуального символа, начатый *ad hoc*.

4. Более интересными представляются тексты, выражающие идею ритуальной незавершенности. К их числу относятся, например, поверия о том, что в течение определенного срока (7 дней, год и т.п.) дом должен оставаться недостроенным для того, чтобы избежать смерти кого-либо из членов семьи. Эта незавершенность имела подчеркнuto символический характер: например, на юге России и на Украине оставляли непобеленным небольшой участок стены над иконами. Недостроенные храмы и церкви встречались в Польше и Сербии. В легенде о Таллине говорится, что город будет существовать до тех пор, пока в нем ведется строительство, и будет затоплен в тот момент, когда строительство будет завершено. По-видимому, с этим же кругом представлений согласуется севернорусский обычай оставлять часть стола невымытым "чтобы на море не потонул кто-либо из своих". Широкое распространение имел обычай оставлять на поле часть хлеба несжатым. Приведенные примеры дают основание предположить, что незавершенность связывалась с идеями поддержания

существующего положения, стабильности миропорядка, его неуничтожимости. Вместе с тем, синонимичными идее незавершенности оказываются представления о продолжении жизни, вечности, бессмертии — т.е. всего того, что обеспечивает существование коллектива не только в настоящем, но и в будущем.

5. Приведенные примеры ритуальной незавершенности "вписываются" в широкий круг данных о незавершенности в обрядах календарного и жизненного циклов. И с этой точки зрения, например, ритуал строительства скорее можно отнести к обрядам жизненного цикла, нежели к окказиональным ритуалам. Некоторого пояснения требуют известные случаи изготовления и использования "недоделанных" вещей в похоронном обряде. К их числу относится нарочито грубая обтеска гроба, сшитый "на живую нитку" саван, недообожженная или плохого обжига посуда, недоплетенные лапти, недопеченный хлеб на поминках. Казалось бы, в данном случае незавершенность должна соотноситься с несколько иным кругом значений, но, по-видимому, это не так. Похороны входят в "сценарий" жизни, и для похоронного обряда, пожалуй, как ни для какого другого, актуальна символика *продолжения* жизни, согласующаяся с категорией "незавершенного". Ср. кстати, обычай класть покойника в гроб *неподпоясанным и незастегнутым* в том случае, если вдова собирается вновь выйти замуж: иначе ее *не будут сватать*.

6. В более общем плане можно предположить, что категория незавершенности присуща любому обряду календарного и жизненного циклов, также как завершенности — окказиональным обрядам, что наиболее отчетливо проявляется на уровне их структурной организации (ср., напр. "поиски" конца свадебного обряда).

В.Э.Орел

ОБ ОТРАЖЕНИИ АРХАИЧЕСКИХ ЧИСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ

В исследованиях по структуре текста особое место занимает анализ и реконструкция парадигматических моделей, описывающих функционирование *числительных* и соответствующих им *понятий* в архаических языковых традициях (см. недавнюю работу *Топоров В.Н.* — Структура текста. М., 1980, с. 3 сл.). Выводы парадигматического порядка подлежат, однако, проверке на собственно текстовом, в том числе статистическом, уровне. Естественно ожидать, что отмеченность определенных чисел и числительных должна проявиться и в том, с какой частотой они появляются в тексте.

Для проверки этого предположения в качестве архаичного (в числовом плане) текста нами была взята выборка из кн. *Афанасьев А.Н.* Народные русские сказки. М., 1957. I—III (только великорусские: №№ 1, 8, 12, 14, 16, 18—21, 24, 27, 28, 30—37, 40, 44, 48, 49, 51, 54,

55, 58, 59, 62–66, 68–70, 72–76, 78, 81, 82, 85, 87–90, 92–95, 97, 98, 100, 101, 103–106, 108, 112–115, 124, 125, 127, 129, 131, 136–141, 144, 146, 148–155, 157, 159, 161–165, 168, 170, 173, 179, 182, 185–189, 191, 193, 196–198, 201, 204, 206, 209, 211, 212, 216, 217, 224, 227, 231, 233, 235, 237–240, 241–244, 247, 248, 250, 254–256, 260, 264, 266, 269–271, 273, 275–279, 284; без дублирования сюжетов) и из кн.: Новгородские былины. М., 1978 (№№ 1, 19, 23, 28, 54, 72) общим объемом 175.000 словоупотреблений, Подсчитывалось количество употреблений количественных и порядковых числительных, причем, как и в частотных словарях, формы типа *двадцать два* считались за 2 слова. Результаты см. в таблице.

Обозначае- мое число	Колич.чис- лительное	Порядк.чис- лительное	Обозначае- мое число	Колич.чис- лительное	Порядк.чис- лительное
1	385	57	20	18	—
2	143	16	30	37	23
3	341	156	40	30	—
4	23	23	50	11	1
5	29	6	60	1	—
6	32	5	70	7	—
7	31	8	80	—	1
8	3	1	90	1	—
9	25	1	100	38	—
10	22	3	200	8	—
11	5	1	300	15	2
12	118	5	400	—	—
13	2	—	500	9	—
14	—	—	600	1	—
15	4	1	700	—	—
16	—	—	800	—	—
17	—	—	900	—	—
18	4	—	1000	22	—
19	—	—			

Обращает на себя внимание тот факт, что числам и числительным, обычно выделяемым как маркированные, в нашей выборке соответствуют пики суммарных (по колич. и порядк. числительным) частот, которые имеют место у числительных, обозначающих следующие числа: 1, 3, 7, 9, 12, 15, (18), 30, 70, 100, 300, 500, 1000 (ср. весьма низкую частоту у 13).

Интересно проверить, изменилось ли положение в текстах на современном русском языке. "Частотный словарь русского языка" (М., 1977) дает частотные пики на числительных, обозначающих следующие числа: 1, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 60, 80, 100, 500, 1000 (данные только по художественной литературе). Чрезвычайно низкая частота зафиксирована у 13. Изменения, как нетрудно заметить, коснулись чи-

сел кратных 3 и 7; вместе с тем опорные точки системы в первом и втором десятках (1, 7, 12, 15) сохранились; к консервативным элементам следует отнести и 13, относительная частота которого в современной художественной прозе даже ниже, чем в обследованной нами выборке (одно словоупотребление в качестве колич. числительного!) Сопоставление данных нашей выборки и современных текстов может быть уточнено на основе коррелятивного анализа.

Подводя итоги, можно утверждать, что 1) маркированность чисел в славянской знаковой системе прямо выражается в статистической характеристике числительных; 2) основные статистические характеристики этой системы не изменились до настоящего времени, несмотря на глубокие перемены в семиотическом типе текстов, и позволяют говорить о чрезвычайном консерватизме обиходного узуса в отношении числовой системы.

В. Айрапетян

К ЧИСЛАМ В СКАЗКАХ

Когда в предании "Про Мамаю безбожного" (Аф., 317) Мамаю посылает против русского посла "сильных, могучих богатырей тридцать человек без одного", неполное число, уже этим сказано, кто кого побьет. Круглое (К), полное число — число сказочного героя, неполное (К - 1) — число вредителя. Герой забирает у вредителя К-тую дочь или не становится его К-той жертвой, а сам остается К-тым или даже К + 1-ым среди своих братьев или помощников. Круглое число завершено и потому совершенно, герой замыкает его собою как носитель целостности или же стоит вне его как особый, иной. А неполное число выражает лишенность, ущербность, предзнаменует поражение и смерть вредителя. Без круглого числа, числа всех как одного, нет сказочной задачи на узнание. В Аф., 222 у морского царя 13 дочерей (К + 1), не 12, 3 или 77 (Аф., 219, 220, 224, 225), 13-ая — Василиса Премудрая, "всех пригожее, всех красивее", — иная. Поэтому Иван-царевич не узнаёт по примете, а просто выбирает ее. В Аф., 315 герой тоже иной: его, семилетку, надо искать по кабакам, его, Балдака Борисьевича, предпочитают Илье Муромцу. Но он говорит царю: "Дай мне силы только двадцать девять молодцев, а сам я тридцатый буду". Оказывается, дочери салтана турецкого должны узнать, то есть отличить, героя среди 30-ти молодцев, которые "все на один лик, словно братцы родные, волос в волос, голос в голос". Слова *Бог троицу любит*, отсылая к образу триединства, оправдывают остановку именно на круглом числе. Круглое число — единица счета, это средство приобщения счетного, множественного к единому (к "единому как целостному" — В.Н.Топоров). Это оно становится основанием счисления (не наоборот), получает особое, несоставное **имя**

(например, русское *сорок*), считается счастливым. Но 3 первое круглое число, а первый и последний члены ряда стремятся выйти из него. Так и герой, в одних сказках К-тый, в других К + 1-ый. Сверхполное число К + 1 вводит иного. Это один, единственный в своем роде, он же другой, отличный от всех. Например, из братьев "сорок крепких, здоровеньких, а один не удался — хил да слаб" (Аф., 105), имени ему недоставало, назвали Заморышкой. Но этот Заморышек и есть герой сказки: середине, посредственности противостоят обе крайности, которые сходятся в двойственном ином. Вот 13 — "несчастливое число", *чертова дюжина*; но ведь *недюжинный* человек, изрядный, а не рядовой, тоже 13-ый (как Василиса Премудрая в Аф., 222). Все три типа чисел представлены в анекдоте о десятиртых, не могущих сосчитаться, потому что каждый пропускает себя (иного), и только посторонний насчитывает их всех (у Аф. в 406): чтобы К — 1 снова стало К, нужен К + 1-ый.

В.Н.Топоров

ЧИСЛО И ТЕКСТ

Ряд аспектов, касающихся роли конкретных членов числового ряда в структуре мифопоэтических текстов, анализировался в другом месте, и здесь из всей этой многогранной темы будет рассмотрен, строго говоря, лишь один вопрос — о тех предельных позициях (соотв. — функциях), которые могут занимать числа в классе текстов, в самом общем виде обозначаемых как художественная литература (*fiction*). Прежде чем говорить о предельных случаях, которые обычно остаются вне сферы внимания исследователей художественного текста (даже если они занимаются и числовыми структурами), существенно подчеркнуть, что чаще исследователю бросаются в глаза особенности употребления чисел в неких усредненных, стандартизованных ситуациях, а внутри их — те специфические черты, которые связаны или с четкой символикой чисел, или с их ролью в композиции текста (числовой принцип монтажа и т.п.). В связи с такими непредельными стандартизованными ситуациями имеет смысл различать сильночисловые и слабочисловые тексты. Особенность последних состоит в том, что они легко, охотно, без видимого сопротивления принимают в себя числа "извне" (из внетекстовой реальности) — как в том, что касается их количества (объем числового материала), так и в том, что относится к порядку (организации) представления этого материала в тексте. Примерами "слабочисловых" текстов можно считать счетно-хозяйственные каталоги-отчеты, тексты, связанные с ритуальными и неритуальными измерениями (в частности, итинерарии, анналы, дневники, расписания и т.п. жанры, ориентирующиеся на измерение пространства и времени), наконец, разного рода математизированные тексты и их трансформации. Тексты такого

рода пассивны по отношению к числам; на вопрос об их смысле и значении они всегда отсылают за свои текстовые пределы, поскольку эти числа не рождены текстом, а механически перенесены в него. Иначе говоря, цензура текста, как и его творческая организующая роль, минимальна. Особенность "сильночисловых" текстов состоит в том, что в них числа с точки зрения внеположенной реальности чистая фикция. Локус, в котором они получают свое значение, — в самом тексте, который в данном случае в значительной степени сам формирует смысл и значение чисел (активность текста) и обладает наибольшей свободой в выборе самих чисел и способов их организации в тексте и через это — в способах числовой организации текста. Как правило, к этой категории относятся художественные, религиозно-мифологические, мистические, некоторые философские тексты. Именно они наиболее интересны с точки зрения темы "число и текст". Не случайно, что количество исследований такого рода довольно велико, и в своей сумме они более или менее полно и верно описывают основные особенности чисел в текстах указанного типа, доминирующие связи, принципы организации и т.п. Но числа выступают в текстах и в так называемых предельных позициях, которые, в частности, могут специфическим образом сочетать в себе особенности "сильночисловых" и "слабочисловых" текстов (см. ниже). Эти предельные позиции заслуживают внимания и потому, что в одних случаях находящиеся в них числа, так сказать, невидимы (с точки зрения их смысла и функции в тексте) простым глазом, лежат ниже уровня семантического и функционального (применительно, например, к художественному тексту) различия, а в других — выше того, что с помощью стандартных ментальных схем может быть осмыслено как закономерность, как некий особый, дискурсивно описываемый смысл (в этом последнем случае употребление данного числа в данном месте или кажется чистой случайностью, произволом, или вовсе специально не фиксируется, даже если эта ситуация встречается нередко (пусть не в отношении общего количества чисел в тексте, но, по крайней мере, в отношении неких позиций и рубрик (например, обозначение возраста героя и т.п.)). Из уже сказанного следует, что в связи с этими предельными позициями приходится различать случаи строгой (иногда принудительно-обязательной, иными словами — "грамматической") детерминации и случаи, когда детерминация не осознается вообще или кажется предельно слабой, и соответствующие числа выступают как случайные элементы текста. Анализ числовых материалов в предельных позициях приводит к выводу о безусловной негомогенности членов натурального числового ряда относительно их роли в структуре текста. Этот вывод находит себе поддержку (возможно, и объяснение) совсем в другом локусе, казалось бы, никак не связанном с рассматриваемым (что, кстати, придает особую эвристическую ценность и доказательность предлагаемым заключениям), — в очевидной негомогенности тех же членов

числового ряда с точки зрения их происхождения и так или иначе предопределяемого им синхронного состояния (ср. негомогенность числительных — хотя бы в пределах первой десятки — в отношении их морфологической структуры, синтаксических особенностей, их прагматики и т.п.), То, что эта негомогенность чисел в предельных позициях и в "сильночисловых" текстах соотносится с аналогичной негомогенностью *sub specie* диахронии и синхронии (причем в обоих случаях можно говорить об изоморфной структуре этих "негомогенностей", т.е. о сходной структуре отношений между одними и теми же элементами числового ряда), видимо, сигнализирует о некоторых фундаментальных закономерностях, отражающихся как в чисто языковом плане (категория числительных и ее организация), так и в общей структуре бытия — от некоторых числовых параметров человека (и, вероятно, еще глубже — жизни) до важных космологических числовых констант (ср., в частности, проблему трехмерности и четырехмерного пространственно-временного континуума).

1. Уровень "ниже": два—три—четыре.

Как известно, ядро наиболее архаичной достижимой для реконструкции индоевропейской системы счета составляют обозначения для 2, 3 и 4 (названия для 1, составляющее особую проблему, как и для 5, 6, 7, 8, 9 и т.д., в этом смысле к ядру не относятся), и особое положение этих чисел в древних и в целом ряде современных индоевропейских языков объясняется именно этой их принадлежностью к архаичному слою. То, что верхняя граница проходит через число 4, подтверждается и данными многих других языков, прежде всего — архаичных (ср. 4 как высшее из определенных и притом "положительных" множеств). В этой связи существенно обратить внимание на многочисленные примеры четверичной системы счета и на ряд языковых универсалий (в частности, и "отрицательных"), в которых очевидна роль числа 4; ср., напр., максимальную четырехчленную систему грамматической категории числа (*Sing.*, *Dual.*, *Trial.*, *Plur.*, где *Plur.* эксплицитно предполагает, что "множество" начинается с 4); также, кажется, неизвестны примеры более чем четырехчленной системы степеней сравнения (ср. такой вариант, как *Posit.* — *Compar.* — *Superl.* — *Absol.*); о других примерах — в другом месте; важно, однако, уже здесь подчеркнуть, что числа до 4 включительно не только элементы числового ряда, но и элементы языка описания мира, укорененные в самой структуре языка (даже если какой-либо конкретный язык и не обладает названием для 4 как элемента числового ряда /числовые системы ниже "четверичных"/); поскольку они описывают и сам язык, они обладают внутренней (нередко скрытой) метаязыковой функцией. Если четверичная система счета "исторична" в том смысле, что она более или менее легко уступает место другим системам, имеющим перед нею преимущество, то существует сфера, в которой число 4 характеризуется как некая панхроническая и языком не мотивируемая универсалия: она может быть упразднена совсем, но не заменена иным (нежели 4) числовым выражением,

если только речь не идет о мультипликациях (8, 16 и т.п.) или явных случаях вырождения. Этой сферой являются мифопоэтические представления о космосе и человеке как его части, изоморфной и сопряженной ему. В их основе лежат биологические (а позже и психологические) факторы, о которых здесь говорить не будет, хотя предположение о врожденном характере трех- и четырехчленных (хотя бы в вариантах верх—низ, правый—левый или передний—задний, правый—левый) структур или выводы представителей глубинной психологии (Юнг, Адлер, Эддингс и др.) о роли триад и тетрад, несомненно, имеют отношение и к исследуемой теме. Достаточно напомнить, что, если число 3 — идеальная модель любого динамического процесса, предполагающего возникновение, развитие, упадок и реализующегося, в частности, в вертикальной структуре Вселенной, то число 4 прообразует статическую целостность, идеально-устойчивую структуру, полнее всего воплощающуюся в горизонтальном плане Вселенной (соответственно, с числом 3 связана идея случая, а с 4 — надежности и гарантированности). Можно напомнить, что соединение обеих структур (3 + 4 в числовом выражении) образует "сумму мира" — 7 как космологическую константу в целом ряде традиций; идеальный ("усиленный"), Космос образуется произведением 3×4 , т.е. 12. В тех традициях, где известна числовая символизация полов (напр., у бамбара), женщина соотносится с 3, а мужчина с 4, брачная же пара — с $3 + 4$, т.е. с 7. Произведение 3×4 относится к обозначению идеального, превышающего человеческие возможности (12 богов пантеона, 12 апостолов, 12 героев и т.п.); характерно, что лат. *terque quaterque*, букв. 'и трижды и четырежды', имеет в переносном смысле значения 'несколько', 'много'; 'стократ', 'в высшей степени'. Если учесть, что и число 2 (причем в еще большей и очевидной степени) соотносится с принципом бинаризма, равно определяющего принципы устройства мира и языка его описания, то оказывается, что все члены ряда 2—3—4 обладают общими фундаментальными свойствами, лежащими для потребителя текста ниже порога восприятия текста (отсюда — исходная "неосознаваемость" этих особенностей). Локус этих свойств не может не соотноситься и с теми употреблениями этих чисел (2, 3, 4), которые лежат уже в сфере бесспорного восприятия (функции этих чисел в мифопоэтической космологии); ср. проанализированные ранее тексты со схемой типа: Что есть два? — Небо и Земля. — Что есть три? — Верхний, Средний и Нижний миры. — Что есть четыре? — Север, запад, юг, восток. Но еще более удивителен языковой аспект связи этих числительных с космологическими образами. Уже давно было обращено внимание на то, что арм. *erkin* 'небо' и *erkin* 'земля' соотносятся с *erku* '2' (<и.-евр. **duqō*) В основе этого принципа называния — понимание двучленности мира. Если напомнить, что один из наиболее распространенных образов исходной ситуации перед началом творения — слитые воедино Небо и Земля (ср. Небо=Отец — Земля=Мать), т.е. начальная космическая двоица

(своего рода спорыш-двойчатка), то можно высказать предположение, что именно такие двуединства, соотнесенные друг с другом члены пары и послужили самой общей моделью двоичности вообще и источником семантической мотивировки языковых обозначений числа 2 (речь не идет, естественно, о том, что армянский пример первичен; в данном случае, особенно имея в виду многократную переслоенность подобных примеров, важнее постулирование самого принципа, определяющего источник мотивации названия чисел). В недавних работах о семантике троичности было показано, что мифопоэтическое представление о 3 полнее всего реализуется в архаичных схемах, приуроченных к вертикальной оси Вселенной, конкретнее — к сюжетам и мотивам связи трех космических зон между собой (ср. гераклитовский "путь вверх" и "путь вниз"). Т. наз. "Третий" как раз и есть тот мифологический герой, кто прошел все три царства и нашел путь к преодолению смерти. И.-евр. **ter-*, кодирующее эти мотивы проникания — преодоления — победы (превосходства, освобождения, достижения высшего статуса), если говорить в общем плане, может быть соотнесено с и.-евр. **ter-*: **trei-* 'три'. Сходная схема, но актуализируемая прежде всего в описаниях горизонтальной структуры Космоса, может быть предложена и в связи с числом 4 на примере и.-евр. **kšetur-*. Прежде всего следует привести типологически распространенную цепь развития тех языковых элементов, которые в конце-концов становятся числительными (ср., напр., Е.А.Крейнович): 1) X (в данном случае — обозначение для "пра-четырёх", т.е. источника более позднего и.-евр. **kšetur-* '4') обозначает нечто вполне конкретное, но непременно четырехугольное, напр., дощечку соответствующей формы; 2) X начинает обозначать не столько дощечку, сколько четырехугольную форму; 3) привнаково-конкретное значение X (четырёхугольный) претерпевает расслоение; связь с конкретным объектом (углом/стороной) разрывается, и признак становится эмансипированным, независимым, получая возможность сочетаться с любым (в принципе) счетным объектом. На этом этапе элемент X обретает статус числительного (разумеется, при учете контекста всего числового ряда), и именно с этого момента, когда X обозначает '4' и только '4' и разрывает актуальную связь с другими словами-нечислительными (того же корня), обозначающими объекты или признаки, возникает сама проблема этимологии слова для '4' (каждое из исторически проведенных значений X может в такой ситуации претендовать на то, чтобы быть семантической мотивировкой обозначения '4'). Наличие в латинском этимологически связанных друг с другом слов *quattuor* '4' и *quadruus* 'четырёхугольный', *quadratus* в свете сказанного (и опять-таки с теми же ограничениями) дает основание для предположения, что источник и.-евр. **kšetur-* обозначал не только (и не столько!) 'четыре', но и 'квадрат', 'четырёхугольник', 'четырёхугольное', возможно, конкретные предметы, для которых четверичность была важным признаком, или даже самое

технику получения "четырёхугольного" (см. в другом месте). В принципе каждое из последующих в этой цепи значений старше, чем '4'. По аналогии с лат. *quadratus (quadruus)*, которое может описывать важнейший параметр пространства, некий идеальный признак его (ср. и сугубо "эстетические" значения — 'пропорциональный', 'соразмерный', 'стройный', 'складный', 'завершённый' и т.п.), можно предположить, что и предшественник и.-евр. **ketur*- мог обозначать горизонтальную структуру космологической схемы, основанную на распространении (:пространство) по 4 основным направлениям из мыслимого центра, обозначаемого вертикальной осью. Указанное единство (языковое и мифопоэтически-космологическое) чисел 2—3—4 представляется весьма существенным — тем более, что оно резко противостоит особенностям других чисел десятки. Многочисленные следы этого единства — явно или неявно, актуально (с точки зрения "эстетического" задания текста) или неактуально — выступают и в позднейших текстах, обычно в трансформированном виде. Здесь будут упомянуты лишь очень немногие из таких следов, обнаруживающиеся уже на уровне статистического анализа (были проанализированы многие тексты, но здесь будут упомянуты в качестве материала лишь два — "Энеида" Вергилия и "Обломов" Гончарова, в первом случае — текст очень чувствительный к сфере мифопоэтического и архетипического, во втором — текст, считающийся образцом "уравновешенной", спокойной реалистической прозы /что, впрочем, не вполне верно/. — Наиболее часто выступающее число в "Энеиде" — два (около /~/ 150 раз; количественные формы резко преобладают над порядковыми), за ним следует три (- 90 раз), далее — четыре и семь (по - 20 раз); остальные члены числового ряда первой десятки (о числе один, первый см. особо) встречаются существенно реже: девять — 7 раз, пять — 6, десять — 5, шесть — 3 раза (причем исключительно в формуле *bis senos, bis sex* /2 × 6/, ср. I, 393; XI, 133; XII, 163). Таким образом, сумма употреблений 2, 3, 4 (- 260) превосходит сумму 5, 6, 7, 8, 9 более чем в семь раз. Такое соотношение не может быть объяснено только влиянием внетекстовых реалий; более того, сюжетные пары или сочетания двух персонажей чаще всего вообще не обозначаются через два или оба (ср. Энея и Дидону!), и переводчики нередко вставляют от себя слова, передающие идею двух, пары. Зато употребление числа два характерно при указании парности, близочности, нераздельности двух элементов (ср. 2 близнеца, брата, сына, полухория, стороны, берега, руки, крыла, спутника, любовника и т.п.) или их противопоставленности (ср. 2 мира /Европа и Азия/, войска, война, народа, страны и т.п.). Эти же отношения обозначаются через *ambo* и т.п. и при обозначении двух персонажей; ср., с одной стороны, двух Имбрасидов (XII, 342), Энея и Гектора и т.п., а с другой — двух противников (ср. Турна и Энея, XII, 525). Связь сочетаний двух объектов с бинарностью, парностью и через них со своего рода классификационным шаблоном для "Энеиды" очевидна (2 Атрида, бога, предка царя, мужа, юноши, души, кентавра; 2 змеи, быка, овцы, пса; 2 солнца, дороги, скалы,

города; 2 корабля, копья, пики, дротика, ремня, чаши, кубка, треножника, плаща и т.п.). Особенно отмеченными являются обозначения двух составных предметов (двулезвийный топор и т.п.; ср. вообще идею двойного, составного, сложенного — *duplex* в широком контексте бинаризма /близнечества/, в который введена и тема основания Рима) и ситуации повторения (с нередким удвоением *bis...bis*, II, 218 и др., или иными способами усиления). О сугубой мифопоэтичности числа три у Вергилия писалось раньше. Высшее ее выражение — формула "трижды" (также нередко удваиваемая: *ter...ter*, ср. X, 885—886 и др.) или тройное повторение числа три (ср.: *Tris imbris torti radios, tris nubis aquose | Addiderant, rutili tris ignis et alitis austri... VIII, 429—430*). Число четыре в "Энеиде" относительно редко и маловыразительно: Вергилий писал не об устойчивом и надежном мире, а о полном риска и опасностей пути, и лишь в неясно распознаваемом конце его формировалась тень будущего *Roma quadrata*. В известной степени ущербность числа 4 компенсируется отчетливо сакральным смыслом числа 7 (ср. 7 кораблей, оленей, быков, шкур, притоков, лет и т.п. — все в отмеченных контекстах) и сочетанием чисел 3 и 4 (ср.:...*O terque quaterque beati, | Quis ante ora patrum, | Troiae sub moenibus altis, | Contigit oppetere!* I, 94—96, отсылающее к началу "Энеиды" /ср. IV, 589: *Terque quaterque manu pectus percussa decorum... /*; ср. также иные принципы соединения этих чисел: *Gens illi triplex, populi sub gente quaterni*. X, 202; *Tris Notus hibernas immensa per aequora noctes | Vexit me violentus aqua: vix lumine quarto | Prospexi Italiam... VI, 355—356*). Говоря в общем, этими числами исчерпываются активные нумерические компоненты текста "Энеиды" (следует помнить о соотношении с числом три и таких чисел, как 30 /5 раз/ или 300 /5 раз/): 5, 6, 9 малочисленны и небогаты содержанием. За пределами десятка упоминаются 12, 20, 50, 200, 500, 600 (обычно по 1 разу и никак не более 5). Важны лишь два исключения — данные, относящиеся к усиливающейся роли 10 и кратных ему чисел (тема 10 полностью задается отсылкой к 10 годам осады Трои, ср. II, 198; VIII, 399; IX, 155; XI, 289, и — имплицитно — временными рамками пророчества Анхиза о тысячелетии /10 веков/:... *ubi mille rotam volverè per annos...*; особенно характерно обилие числа 100 /~35/ и заметное место числа 1000 /8 раз/, отчасти формирующих новый способ выражения, если не для сферы сакрального, то во всяком случае для идеи регулярности, завершенности, полноты и простоты; и данные, относящиеся к числу 1 (для него характерно: смешение с артиклеобразными и иными /"исключительность" — 'только', 'единственно' и т.п./ образованиями; резкое преобладание первый над один; актуализация значения 'в начале', ст-сылающая к первособытию [ср. в самом начале "Энеиды": ...*Troiae qui primus ab oris | Italiam...venit*; I, 1—2; ср.: *O dea, si prima repetens ab origine pergam...* I, 372, а также VII, 39, 40, 127, 173 и многие другие; ср., обозначение рамки: *Quem telo primum, quem postremum...* XI, 664], и значения 'главный', 'выделяющийся из

ряда', ('высший'); известная "разведенность" значений *unus* и *primus* и т.п.). Столкновение выстраивающейся десятичной системы ценностей (ср. новые ее элементы — 10, 100, 1000) со старым рядом 2—3—4 делает роль последних чисел несколько более рельефной из-за эффекта своего рода "остранения". Эти числа ведут себя уже несколько иначе, чем в исключительно мифопоэтическом тексте: они отчасти стилизуются Вергилием, который как бы слегка просвечивает их намеком на другой ряд, где эти элементы имели свою особую мотивировку. Но ни одно из крайних объяснений (сакрализованные мифопоэтические числа и десакрализованные демифологизированные числа) не может претендовать на истину. Ниже "уровня восприятия обычно оказывается осуществленный Вергилием сдвиг, позволивший ему включить и числа в неустойчивую ("тревожную") тектоническую структуру текста. — Роман Гончарова "Обломов" обнаруживает ряд сходных характеристик чисел в тексте. Как и в "Энеиде", чаще всего употребляется два (~190), за ним три (~170), далее четыре (~50); из других чисел в пределах десятки на первом месте пять (~40), семь и восемь (по 14), шесть (10), девять (4). Соотношение числа употреблений 2, 3 и 4 к сумме употреблений 5—9 равно пяти. Распределение остальных чисел по частоте их встречаемости довольно элементарно. Числа второго десятка редки (11 — 2 раза, 13 — 1 раз, 13 — 2 раза, 15 — 1 раз, 18 — 2 раза); еще реже они в третьем десятке (23, 24, 28 — по 1 разу), ср. далее: 32, 33, 35, 70 по разу, 60, 80, 200, 250 по два раза. Но эта картина далека от полноты, если не учитывать некоторых дополнительных особенностей. Среди них — разрастание массива чисел, являющихся разною рода мультипликациями трех и/или четырех (ср.: 30 — 13 раз, 300 — 11 раз, 3000 — 3 раза, 300 000 — 1 раз или 40 — 7 раз) или производными от них (ср. 12 — 19 раз). Характерной для "Обломова" является синтагматическая последовательность 3 & 4, повторяющаяся 25 раз! (Ср.:... нагнется всегда раза три ... а уж разве в четвертый поднимет; ... стоит года три, четыре на месте; А вот уж третий час на исходе... Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол; недели три — четыре...; Три — четыре поколения... прожили в ней; Из трех или четырех разбросанных там деревень...; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; ... третий в одной рубашке уйдет на мороз, четвертый просто валяется без чувств...; уж трое — четверо слуг кидаются исполнять его желание; три или четыре разные сферы; Еще года три — четыре; следующие три — четыре дня; месяца три — четыре; В эти три, много четыре дня...; три, четыре часа — все нет!; придет тысячи три, четыре; соберутся трое — четверо; потом выпили все трое, и Обломов подписал заемное письмо, сроком на четыре года; месяца три — четыре; три — четыре тысячи; после трех — четырех лет замужества.. и т.д.); но и сочетание 2 & 3 отмечено около полутора десятка раз (ср. сгущения числа: два в одной или смежных фразах). Другой особенностью,

также разделяемой "Обломовым" с "Энеидой", является заметное увеличение количества чисел кратных 10 по сравнению с другими числами первой сотни (десять — 20 раз, пятьдесят — 14 раз, сто — 5 раз; ср. 25 — 10 раз), чисел кратных 100, 1000 и даже выше. Как показывает анализ, числа 2, 3 и 4 очень редко появляются в связи с числом персонажей, выступающих в тех или иных мотивах. Основное число употреблений этих чисел приходится на более или менее случайные элементы текста. Достаточно описать основные типы употребления числа три (третий). На персонажном уровне оно почти не употребляется (ср.: все трое, но и три тетки, три мужика); нередко три "снижено" соединением с характерным объектом (три дворняжки, три собаки, три жерди и т.п.) или нейтрализовано малозначащими словами, в результате чего числовое указание становится неким штампом, верить точности которого не всегда обязательно (три шага, прыжка, рубля, часа, дня, суток, целковых, телеги, платка, комнаты, блюда, письма, доски, стола и т.п.). Особенно характерны обильные инвертированные случаи, подчеркивающие приблизительность, необязательность, общую расплывчатость и неторопливость (ср. прежде всего обозначения времени типа часа три, дня три, недели три, месяца три, года три, а также: лет трех [но и: ложечки три /мера/, фунта три кофе], третьего года; ни через месяц, ни через три и т.п.); разумеется, отмечены и сочетания три часа, три года и т.п. Элемент повторяемости и автоматизма обнаруживается и в стандартных конструкциях типа три раза (третий раз); в три приема; одни ... другие... третьи; в-третьих и т.п. Значительное количество примеров типа два — три и три — четыре способствует укоренению общего впечатления относительности и неэнергичности числа три в романе. Подводя итог, можно сказать, что, сохраняя за тремя (как и двумя и четырьмя) его статистическую весомость, Гончаров формализует некоторые архаичные ходы, снимая прежнюю отмеченность числа три, присущую ему в мифопоэтических текстах, и нейтрализуя его (вообще создается ситуация своего рода "фантомности": часто встречающиеся числа тяготеют к "содержательной" пустоте, ирреальности, а редко встречающимся числами вообще можно — с известным основанием — пренебречь). Вместе с тем автор строит, опираясь на это число (три), довольно длинные автоматизированные инерционные цепи, которые можно воспринимать как своего рода небрежность (неразнообразие средств). Но именно на этом пути воссоздается та стихия монотонности, однообразия и дремотности, которая так важна в романе Гончарова. Сравнение с другими романами этого же автора дает веские основания для того, чтобы настаивать на известной продуманности числовых структур в "Обломове".

2. Уровень "выше": об одной "случайной" возрастной доминанте.

В русской художественной литературе, начиная с Пушкина и до начала XX в., наблюдается странное явление: литературному герою

оказывается 26 лет (для большей надежности лучше говорить о 26–27-летнем возрасте с двумя расширениями, а именно: 26-ой год /т.е. 25 лет/ и 28-ой год /т.е. 27 лет/; однако сразу же следует заметить, что "26 лет" образуют не только ядро этого возрастного мотива, но и наиболее распространенную возрастную сигнатуру героя). Обычно 26-летний возраст героя объявляется автором при первом упоминании данного персонажа в конструкциях типа "В комнату вошел... человек лет 26..." или же приурочивается к некоему периоду в жизни героя, рассматриваемому как решающий, ключевой или итоговый. 26 лет – рубеж: к этому возрасту или все уже испытано и сделано, или именно с этого рубежа героем овладевают новые чувства и настроения и перед ним открываются новые пути, ведущие к решающим событиям (духовный перелом). Пушкинское *Дождь без цели, без трудов | До двадцати шести годов, | Томясь в бездействии досуга | Без службы, без жены, без дел, | Ничем заняться не умел. || Им овладело беспокойство, | Охота к перемене мест... | Оставил он свое селенье... | И начал странствия без цели, | Доступный чувству одному...* совмещает в себе обе обозначенные возможности в трактовке 26 лет (итог и исходная точка). В этом возрасте подводятся первые результаты ("Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого, никогда не видал...". – "Белые ночи"; когда это писалось, Достоевскому, видимо, было 26 лет; "...в свои двадцать шесть лет он был девственником... Ты подумай: мне двадцать шесть лет, на висках у меня уже седина... Он слегка отвернулся и опять покраснел... оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен...". "Тьма" 36-летнего Л.Андреева) и наступает кризис ("Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он... по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву...". – "Исповедь" А.Н.Толстого, ср. там же и в сходной связи: "Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне..."; ср. в богатом автобиографическими мотивами рассказе "Дьявол": "Работы было много, но и сил было много у Евгения – сил и физических и духовных. Ему было 26 лет..."). Характерно, что в этой точке (мотив 26 лет) автор через героя может отсылать к самому себе, как в вышеприведенных цитатах (ср. также: "...автор по профессии гробовщик... Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни". – "Козлиная Песнь"; судя по всему, Вагинову в это время, действительно, было 27 лет). Характерна в этом отношении запись в плане романа Тургенева "Два поколения": Дмитрий Петрович, 1819, ее сын, 26 лет. (Д.) Поручик в отставке..." и далее: "Глафира Ивановна Гагина, 1793 (з<а>м<уж>в<ышла> 1818 [год рождения писателя. – В.Т.])... вдова, богатая помещица" с несомненными автобиографическими чертами (Дм. Петр., слабый и капризный человек, не умеющий быть прямым и естественным, застенчивый и с развитым нравственным чувством, был воспитан под тяжелой опекой матери Глафиры

Ивановны Гагиной /Х Варвара/, ср. Дмитрий Петрович Гагин /Х Тургенев/ при Гагине в "Асе" и т.п. /ср. Тугин, позже — Потугин, и Литвинов в сопоставлении с Тургенев—Литвинов/. "Я не ребенок —, закричал он... — Мне двадцать шестой год, я знаю, что делаю... (Аратов в "После смерти") — как бы перекликается с намерениями Дм. Петр. Гагина из ненаписанного романа. Из этих и подобных им примеров видно, что "случайный" мотив 26 лет семантизируется в принципе единым образом, что уже само по себе ослабляет случайность. Впрочем, ее можно поставить и под еще более основательное сомнение: мотив 26 лет в русской литературе имеет как бы двойную ("удвоенную" и, следовательно, усиленную, особо отмеченную, хотя, разумеется, не всегда осознаваемую) генеалогию: *Двадцать шесть годов* Евгения Онегина отсылают к 26 годам Адольфа в романе Б. Констана, сыгравшем очень значительную роль для развития русской психологической прозы ("Elle a dix ans de plus que vous; vous en avez vingt-six"). Приверженность Пушкина к мотиву 26 лет (возможно, имевшая и биографические основания — 1825 г. /поэту было в это время 26 лет/, надвигающийся кризис и т.п.) свидетельствуется и другими фактами, ср.: "Перед камином сидел молодой человек лет 26-ти ("На углу маленькой площади"; показательно, что, как установила Ахматова, здесь использована схема Констана: Адольф—Эленора — Валериан—Зинаида) или "Ему было тогда 26 лет... Мы тотчас отличили его..." ("Рославлев"), или "Ему было около двадцати шести лет... Бурмин был, в самом деле, очень милый человек..." ("Метель"). Наконец, "26 лет" получают мотивировку и на совсем ином уровне — возраст поэта, художника (от гибели Лермонтова в 26 лет /ср. исследованный в другом месте мотив гибели "младого певца во цвете лет"/ и далее; ср.: "Улы. Поэт, 26 лет, бедность... умирает". — Наброски и планы: "Смерть поэта" Достоевского /здесь же — Раскольник + Раскольников/; — "Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему двадцать шесть". "Амедео Модильяни" Ахматовой). Само за себя говорит и обилие 26-летних персонажей. Из всей коллекции примеров (кроме уже приведенных) придется ограничиться лишь относительно небольшой частью: Аратов ("После смерти"), Астахов, Веретьева ("Затишье" — 27 лет и 27-ой год), Вязовнин ("Два приятеля"), Инсаров ("Накануне"), Мария Александровна Б. ("Переписка"), Дмитрий Петрович Гагин (план к "Двум поколениям"), Павел Петрович Кирсанов ("Отцы и дети" — 27 лет: на 28-ом году" он был захвачен роковым романом, определившим всю его жизнь) и др. у Тургенева; жена Адуева-старшего у Гончарова ("Обыкновенная история": "Она воображала ее так себе теткой: пожилой, нехорошей, ... а тут, прошу покорнейше, женщина лет двадцати шести, семи, и красавица!"); Мечтатель ("Белые ночи"), Владимир Семенович ("Двойник": "Что тот-то, мальчишка-то в 26 лет и ассессор, и с орденом..."; "Да, пускай вы — вы, пусть ваш Владимир Семенович имеет в 26 лет

ассессорский чин и в петлице..."), Крафт ("Подросток"), по 27 лет — Заметов ("Преступление и наказание"), Петр Степанович Верховенский, Кириллов ("около 27 лет"), Шатов ("лет ему было двадцать семь или двадцать восемь"), Виргинская, бабенка на телеге, везшая Степана Трофимовича (все из "Бесов") и др. у Достоевского; 26 лет — Иродион Грацианский ("Соборяне"), Костик ("Житие одной бабы": 26-ой год) и др. у Лескова; Дунаев ("Любви" Ф.Сологуба), русский художник в Италии ("Крылья" М.Кузмина), террорист ("Тьма" Л.Андреева) и многие другие примеры (ср. в жанре очерка, когда описываемый персонаж — писатель: "Платонов — мелиоратор. Он рабочий двадцати шести лет... Пустыня наступает..." / "Третья фабрика" В.Шиловского/, или признание поэта: "В каждом человеке — пропасть задатков самоубийственных...; годы заигрывания со своим *блицом* миновали. Я останусь при том, за чем застанет меня завтра двадцать седьмой год моего рождения" / письмо Пастернака К.Локсу, 27 января 1917 г./ Но дело заключается не только в обилии подобных примеров, но и в том, что они вне конкуренции: даже такие "круглые" и в других случаях ключевые возрасты, как 20 или 30 (причем и в таких сугубо приблизительных обозначениях, как "лет.." или "около... лет"), упоминаются в русской литературе заметно реже. Таким образом, и сам по себе и при сравнении его с общим фоном мотив "26 лет" выступает как доминирующий. Но оксюморность выражения "случайная доминанта" обнаруживает (или, по меньшей мере, намекает на) неслучайность указанного мотива, сохраняющую свое значение при разных ее истолкованиях, как и свою частичную неразгаданность (не исключено, что потребуются обращения и к "не-возрастным" употреблением; ср. "Двадцать шесть и одна" /при "Тридцать"/, 26 комиссаров и т.п.; ср., наконец, *двадцать шесть* как знак опасности, внимания ("шухер") в языке блатных и уголовников (правда, в другом ряду — *шесть/зекс/ 36*). Естественно, что важно учитывать все многообразие мотивировок этого числа — от содержательных, исходящих как из самого текста, так и из того, что лежит вне /"выше"/ его, до чисто нумерологических спекуляций ($13 + 13/13 \times 2/$, $13 + 14$ при $3 + 3$; 3×9 ; $25 + 1$ и т.п.). И пример Нерваля в этом отношении особенно показателен. Число 26 было для него некоей константой его судьбы и жизни. Поэт, сказавший о себе, что он дважды (*deux fois*) пересек Ахерон, видел в 26 дважды повторенное 13 (в 26 лет Нерваль увидел Женни Колон, любовь к которой стала его роком; модель поэта "заражает" и исследователя: "A l'age de deux fois treize ans se produisit la deuxième coupure importante dans la vie de Gérard", см.: J. Richer. Gérard de Nerval. Etude. Paris. 1965, p. 19). Числом своей смерти он считал 52 (т.е. 26×2 или 13×4), хотя и не знал, идет ли речь о 52 годах жизни или о 1852 г., (своей смерти он ждал между 1852 г. и 1860 г., когда ему должно было исполниться 52 года), или о некоторых особых вариантах порождения этого числа в рамках своей биографии. В манускрипте "Rêverie

de Charles VI", хранившемся в Шантильи, находится добавленный поэтом стих *Et viens à moi mon fils et n'attends pas la nuit*, причем к *nuit* (ср. *la nuit du Tombeau*) сделана приписка — 52 (13 × 4); ср. также отмеченность для Нерваля 1854 г. — 13 лет после кризиса 1841 г. В нередких предощущениях добровольной смерти (ср., напр., в "Octavia") она может связываться и с числом 13 (ср. в "Artémis": *La Treizième revient...* и далее: *C'est la Mort — ou la Morte...*); особая расположенность Нерваля к числовой (и астрологической) мистике хорошо известна, ср. известный пример из "Aurélia": "Однажды... около полуночи я возвращался в часть города, где жил, когда, случайно подняв глаза, я заметил номер одного дома, освещенный фонарем. Это число равнялось числу моих лет. Тотчас после того, опустив глаза, я увидел перед собой женщину... мне показалось, что она имела черты Аврелии. Я сказал себе: "Это предсказание *ее* смерти или моей!" И не знаю почему, я остановился на последнем предположении; я был осенен мыслью, что это должно произойти завтра в тот же самый час". Уместно напомнить, что утром 26 января 1855 г. Нерваль нашли повесившимся у дома на *Rue de la Vieille Lanterne*, она же *Rue de la Tuerie*. Едва ли, принимая своё последнее решение, Нерваль не помнил о 26-ом числе.

К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОТОТИПА ТЕКСТА ЗАГОВОРА,
ОБРАЩЕННОГО К ПЧЕЛИНОМУ РОЮ

Вопреки высказывающейся до последнего времени точке зрения (ср. James B. Sparmer. *The Old English Bee Charm: An explication.* — "The Journal of Indo-European studies", vol. 9, 1978, N 3 & 4, p. 283, с библиографией), в древнеанглийском заговоре формула *and wið þa micelan mannes tungan* 'и против языка большого (множества) людей' (букв.: 'большого человека'), R.Meissner. *Die Zunge des Grossen Mannes.* — *Anglia*, 40, 1916, ss. 375—393) тождественна хетто-лувийским обозначениям языка человека (людей) в точно таком же контексте перечисления нескольких абстрактных понятий негативного свойства, что и в древнеанглийском. Можно думать о прямом продолжении древневосточной традиции (ср. аналогичные гипотезы В.Н.Топорова относительно сходных балтийских и славянских ритуальных текстов), потому что заклятие пчелиного роя составляет главную тему всего круга хаттско-хеттских текстов, относящихся к Телепинусу; их хаттский источник выявлен благодаря публикации в KUB XLVIII (1977) хеттско-хаттского текста заговора, обращенного к пчелиному рюю и матушке(-матке)-пчеле.

Г.А.Левинтон

СЛАВЯНСКИЕ ЭПИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И БЫЛИННЫЕ ИМЕНА,
ДОБРЫНЯ

1. Изложенный ранее подход к реконструкции словаря формул праславянского эпоса позволяет обратиться и к интерпретации славянских эпических имен — области, на первый взгляд, наименее перспективной с точки зрения реконструкции.

2. Для русского былинного имени *Добрыня* кажется оправданным наиболее "наивное", "естественное" восприятие его, как имени "значимого", "говорящего", т.е. реализующего значение своей апеллятивной основы: ср. *добрый/злой* как обозначения "героя" и "противника", см. также др.-рус. *добрыня*, *добрина* "ἀρετή, virtus", рус. диал. *добрина* (Срезневск., СРНГ, Даль), блг. *добрина* 'помен за покойник, материални блага'. Этому не противоречит наличие такого собственного имени в древнерусском именнике, ни даже — исторического персонажа с этим именем.

3. Такое предположение было бы не только маловероятным, но и малоинтересным, если бы это имя появлялось изолированно. Однако былинные контексты этого имени убеждают в том, что полным именованием является не само имя и отчество, но более распространенное сочетание: *Добрыня(-нюшка) Никитич млад.* Оно появляется в инвертированном виде (*Молодой Добрынюшка Никитинец*), обзор метрических вариантов этих формул см. у Харкинса, и даже в тавтологической форме *Молодой Добрынюшка Никитич млад* — в которой краткое прилагательное настолько вошло в состав именованья, что последнее может снова определяться (полным) прилагательным с той же основой.

4. Указанное именование на уровне своих апеллятивных основ является очевидным воспроизведением русской былинной формулы именованья героя *добрый молодец*, за вычетом, конечно, отчества, требующего особого объяснения. Само наличие отчества в русском эпосе обязательно для младших богатырей (старшие могут его не иметь, как *Святогор*, или иметь чисто "говорящее", как *Микула Селянинович*); это находит, может быть, формальный аналог в имени *Марка Кралевича*. Само же отчество *Никитич* неизбежно должно быть отнесено к другому хронологическому пласту, чем эпическая формула, т.к. это имя календарное (ср. в некоторых случаях, напр. Григорьев, 1, 73, именованье *Микитушка Добрынюшка*, последнее слово выступает здесь на правах русского прозвища при календарном имени). Имя Никита (если оно не вошло из песен о гнев Ивана Грозного на сына) м.б. нужно понимать чисто этимологически (ср. отражение этого же греческого слова в имени *Аники-воина*, при том, что *Воин* тоже м.б. календарным именем), ср. Добрыня как *победитель* змея; но это, конечно, сомнительно.

5. Именованье героя "добрый молодец", в свою очередь, находит точные инославянские соответствия (болг. *добър юнак*, серб. *добар јунак*) — того типа, на который мы предлагали обратить особое внимание при реконструкции: соответствие исконных слов, связанных только семантически, а не этимологически (т.е. гетеронимов). Здесь это соответствие поддержано общностью первой части формулы и той существенной особенностью, что последнее слово трехсложно в русском и двусложно в ю.-сд. примерах (в соответствии с трехсложной и двусложной клаузулой в рус. и сербск. стихе). Интересно, что русская формула образует столь же характерное былинное полустипение (как начальное, так и конечное), что и *красна девица*. Мы вправе восстановить общеслав. формулу вида: **dobrъ & jun-/mold-&ж-*. Ср. сочетание варьирующихся здесь корней, напр., в болг. "Подъ дръво лжи *младъ юнак*" (Геров, п. сл. *младый*), серб. *јунака млада* голобрада (Караџ. 2.56) к значению (и к ономастическому варианту) ср. толкования: *добрыня 'Virtus'* (Срезневский) *јунак 'Vir fortis'* (Караджич).

6. Предположение о том, что имя Добрыня, является "ономастизацией" эпической формулы (нужно подчеркнуть, что речь идет не о "притягивании" формулы к имени, как это часто бывает, а о превращении ее в имя, о генезисе этого последнего), подтверждается осо-

бенностями более широкого контекста, причем то обстоятельство, что указанные ниже контексты не уникальны и могут включать иные былинные имена, ни в коей мере не может считаться контраргументом. Вокруг имени *Добрыня*, как правило, группируются слова типа *молод*, *мал* (*Добрынина молода жена, берет-то Добрыня, слугу молодогс*, даже мать Добрыни иногда именуется *молода* Амельфа Тимофеевна¹, *добр* (*Садилея Добрыня на добра коня* и т.п.)² и самой формулы *добрый молодец* (в соседнем стихе с именем, напр., в качестве обращения, перифрастического названия и т.п.). Этот круг слов получает дальнейшее фонетическое отражение в контексте, типа: чадо *милое, молодой* Добрыня Никитьевич (ср. и семантический отголосок *молодого* в слове *чадо*), *дородний добрый* молодец, *Добрыня ... добра коня... ко... двору/ко городу* и т.п. На ономастическом уровне таким "эхом" *Добрыни* оказывается имя Иванушки *Дубровича* (он появляется только в связи с Добрыней, в качестве третьего участника посольства *Василия Казимировича*).

7. Особенно интересна ситуация появления неузнанного Добрыни (в которой он именуется "*молода* скоморошина" или "*малая* скоморошина"), где его обращение к жене практически содержит расшифровку имени: "Пей... до дна — дак увидишь *добра*, а не выпьешь до дна — дак не видать *добра*"³. Еще более явным кажется обратный случай: вопрос Владимира к переодетому Добрыне, неведомо для говорящего, скрывает в себе ответ: "*удалой доброй молодец!* Не знаем мы теби да ни *имени*" (Гильф. I, 49).

8. В пользу предположения о формульном происхождении имени говорит и наличие имен от *добр-* (напр. **dobrogost-*, *dobromysl-*), ср. литовск. *добств*, имена от *jáunas* (см. Топоров, Прусс. яз. III, 23), а также свойства самой формулы, в которой реализована характерная для славянских языков семантическая связь "*молодой*" ↔ "*герой*" (рус. укр. *молодец*, блг. др.-рус. *юнак*, срб. *јунак, дјетић, ђетић* (в эту цепь значений входят далее "*жених*" и "*слуга*"). Это важно по ряду причин. Во-первых, внутри самой формулы заключена глубинная смысловая связь, т.к. если *добр* действительно связано внутри слав. языков с *дебелый* и т.п. то славянским продолжениям корня **deb(h)* — свойственно сочетание значений "*большой, толстый, широкий*" и "*маленький, слабый*" (— Прусс. яз. 1.311 — ср. этот семантический компонент в названиях молодых существ и прямо противоположное развитие в значении "*герой*"), во-вторых, прослеживается важная смысловая связь между "*женихом*" (ср. тему роста, величины и т.п.) и "*героем*" (ср. такие термины как *парень*), о чем говорилось в другом месте. В-третьих, сама семантика слав. *junъ* еще на балто-слав. этапе сохранявшего связь со значением "*вечности*" (вечной юности — см. Прусс. яз. 1.24.), связывается с темой *вечности* эпического героя (в частности — его "*нетленной славы*"), в то время как другой набор слов этого круга (*дјетић, момък* и т.п.), может напротив быть типологически сопоставлен с *вечным детством* героя в некоторых не и.-с.

традициях. Наконец, именно среди слов этого же круга мы находим эпический пример, аналогичный нашему: эпическое имя *Момчил* от блг. *момък, момче*.

9. Может быть, такой аналог можно найти и в русском эпосе. Имя слуги Добрыни (в других былинах, и в летописи, — Алеши) *Тороп, Торопец* легко может восходить к сочетанию типа: "*млад-то слуга да был от торопок*" (Гильферд. I, 59), однако в этом случае не менее вероятен обратный процесс: апеллятивное переосмысление имени.

¹ Ряд этих же формул применяется и к Алеше (в т.ч. и тавтологическая *Молодой... млад* — Кирша Данилов), однако есть тенденция (хотя статистически и не очень явная) в тех былинах, где Добрыня и Алеши появляются вместе, избегать этого эпитета с именем Алеши (иногда даже там, где это мотивировано обрядом: *князь молодой*), но исключения есть. Обратная ситуация в "Сказании о богатырях киевских", в котором трудно ожидать соблюдения формул эпического *стиха*. Там именно к Алеше применяются слова *молод, млад* и фонетически или этимологически связанные с ними: потерпеть *малешенько, молчать*. К этимологической связи *молчатъ* и *молод* (см. Трубачев, Вопр. и.-е. языкозн. 1964) ср. внутреннюю форму слова *отрокъ*.

² Связь формул *добрый молодец* и *добрый конь* (к эпитету ср.рус. диал. *доброход* "хорошо бегающий, рысистый конь" СРНГ, Даль), имеющих, обе, южнославянские соответствия, отражена в таких сербских формулах как *коње и јунаке, коњи и јунаци*, ср. также *коњ до коња јунак до јунака*, чуда великога, добра коња а лоша јунака. Такого рода связи, сюжетно легко объяснимые, открывают возможность построения парадигматики эпических формул (не только на основе варьирования и дистрибуции). Ср. также такие соответствия, как *срце јуначко — сердце молодецкое* и т.п.

³ Основа *добр-* относится к числу таких, которые имеют тенденцию редуцироваться: "от добра добра не ищут" и др. примеры у Даля, особ.: "*молодость* рыщет, от *добра добра* ищет", ср. то же в сочетаниях *јунак на јунака* и т.п.

С.Е.Никитина

ОБ ОБЩИХ ПРИЗНАКАХ ТЕКСТОВ ЗАГОВОРОВ И ДУХОВНЫХ СТИХОВ

Тексты духовных стихов и заговоров — жанров, как будто бы весьма далеких, обнаруживают и в структуре и в бытовании много общего. Как правило, особенно в старообрядческой среде, эти тексты существуют в двух формах — устной и письменной. У письменной формы, назависимо от происхождения текста (оно тоже может быть письменным и устным) есть общая для этих двух жанров функция: эта форма поддерживает необходимое для правильного функционирования постоянство текста. Так, пропуск или замена слов при исполнении духовных стихов расценивается как грех; какие-либо изменения в тексте во время заговаривания считаются недопустимыми: заговор теряет силу. Важным и полезным считается сам процесс пере-

писывания тех и других текстов: он приобщает человека к сакральной сфере. Для текстов духовных стихов в районах традиционной народной книжности важно, как они написаны: они должны быть в русле определенной письменной традиции, прежде всего, сохраняя тип письма (полуустав). Для заговоров форма записи словесного текста не важна, зато до сегодняшнего времени сохраняется связь заговора с тайнописью, и точное воспроизведение "кривулечек", непонятных самим "знаткам", является залогом успешного действия заговора. Длительное параллельное существование письменной и устной форм, при всех усилиях сохранить тождественность текстов, приводит к их расхождению. Для заговоров, у которых устная форма является доминирующей (текст обязательно должен быть проговорен) и где существует устная традиция передачи текстов, расхождения между устными и письменными текстами могут быть значительней, чем для духовных стихов (последние могут при устной форме не иметь устной традиции). Духовные стихи и заговоры, являясь областью пересечения письменных и устных текстов народной русской культуры, одновременно являются и областью пересечения разных языков: церковнославянского, древнерусского языков и местного диалекта, а также книжной и фольклорной поэтики. Смешение языков обнаруживается на всех языковых уровнях, при устном воспроизведении текста отчетливо выступает соединение разных орфоэпических норм. Для семантики текстов характерно переплетение христианских и языческих элементов: в духовных стихах встречаются элементы заклинаний, в заговорах действуют Христос, Богородица и многочисленные святые; общими являются мотив хождения души за три горы, названия некоторых локусов (*Сильские горы*). О взаимном тяготении духовных стихов и заговоров говорит хрестоматийный пример "Сна Богородицы" – апокрифа и стиха, ставших оберегом.

М.И.Лекомцева

О ДВУХ СЛУЧАЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОТИВИРОВАННОСТИ В СЕМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ ТЕКСТА

1. Семантическая связность текста в принципе не зависит от этимологии связываемых в тексте лексем. Поэтому замена какой-либо лексемы на ее синоним или антоним (ср. "К структуре текста у Климентя Охридского (фигура эпанода и полиптомона)" автора), соответствующее местоимение или собственное имя не разрушает связности текста. Однако это не исключает возникновения особых связей между элементами текста, которые можно, в частности, определить как связи типа метатекстового отношения – напр., толкования или перевода. Последние типы связей характерны как для литературных текстов, так и для повседневной речи.

2. В говорах, прошедших этап двуязычия, можно ожидать сохранения сочлений двух лексем, принадлежавших двум языкам и связывавшихся отношением семантической эквивалентности. Эти окаменевшие переводы можно считать особым случаем этимологической мотивированности семантической связи составляющих лексем. Противоположным примером будет восстановление семантических связей слова за счет включения его в активную словообразовательную парадигму ("народная этимология") и соответствующее этому толкование.

3. Примером первого отношения может служить прозвище в говоре дер. Межутино Уваровского р-на Московской обл. (многие черты этого говора свидетельствуют о бывшем здесь голядско-русском двуязычии) *Каёшиха ходистая*. *Ходистый* — имеет значение "характеризующийся действием, названным *ходить*, часто с оттенком "склонный к действию" ("Русская грамматика", I, 1980, с. 295). Этот элемент пары может быть ключом к этимологии прозвища *Каёшиха*. Очевидной основой является здесь *kajoch* — с закономерным чередованием *ch* - *š*. Одной из черт этого говора, оставшихся от голядского субстрата, является замена *ch* на *k* и обратная субституция *k* на *ch*. Поэтому голядской формой этого прозвища следует считать **kājok-*. Семантически полученную основу можно сопоставить с корнем **kāj-* в балтийских языках: ср. лат. *kājuōt* 'ходить, бродить', **kājuōtājs* 'хороший ходок, быстроход' (также о лошади): *kāds kājuotājs*!, *kājuōts* 'быстроногий'; лит. *kojuotas* (курш.) 'быстроногий' (ME, XIII, s. 189), обозначенные соответственно от лат. *kāja* 'нога', лит. *koja* 'то же'. Суффикс *-ok- можно видеть в лит. *kojōkai* 'ходули' — характерно соположение этого суффикса именно с корнем **kāj-*. На основании приведенных соответствий представляется вероятной семантическая эквивалентность лексем **kājok-* и *ходист-* во времена активного голядско-русского двуязычия. Сейчас семантическая связь лексем *Каёшиха ходистая* имеет скрытую этимологическую мотивированность.

4. Примером второго отношения может служить толкование названия реки Иночь в этом же говоре. "Река так называется потому, что раньше она текла в *иную* сторону, текла *иначе*". Здесь это название перешло в парадигму существительных жен.р. на -а: *Иноча*. Одним из следов голядского субстрата является варьирование *о~а* под ударением: *платишь* — *заплотишь*, *доришь* — *задариваешь* и под. В такой ситуации *Иноча* оказывается потенциально эквивалентной на фонологическом уровне *Иначе*, что вводит это название в семантическое поле лексемы "иной" и составляет основу сюжета о реке, потекшей вспять. Здесь выявление "этимологических" связей привело к разрыванию сложной структуры семантических связей, построенной по типу толкования.

ПРОВЕРБИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

1. В работе делается попытка рассмотреть русский пословичный фонд как единый текст, но текст особого рода – многомерный (образующий "прове́рбиальное пространство", ПП) и, стало быть, не могущий быть с сохранением "топологии" уложенным в линейную последовательность. Любая отдельная поговорка обедняется, будучи вырванной из своего "контекста" – многомерной окрестности. Отсюда тот факт, что большинство пословичных сборников неинтересно или невозможно читать подряд: при алфавитном расположении мы имеем перед собой разрозненные точки ПП; разного рода "тематические" расположения берут, в лучшем случае, тонкие срезы, резко уменьшающие "мерность" пространства. Уникальность сборника Дада – в том, что художественная интуиция позволила ему прочертить "интересные" – осмысленные с точки зрения "пейзажа" и "рельефа" – хотя также вынужденно линейные маршруты по этому пространству.

Каждая поговорка образует пучок (вектор) значений различительных признаков (не только семантических); совпадение по одному или нескольким признакам определяет вхождение двух (и более) поговорок в одну, более или менее широкую, "окрестность". Эта система окрестностей и образует ПП – типа топологического пространства, но с некоторой "квазиметрикой", ибо в принципе по количеству и весу совпавших признаков можно определять и "расстояние" между поговорками. Многомерность ПП определяется многомерностью его "векторов"-поговорок. ПП близко в этом отношении "семантическому пространству языка" (Ю.Апресян; отметим, что пословичный фонд и более "системен", и более "связан", чем лексический). Такой "специальный" подход к пословичному фонду предлагается как дополнение к таксономическому подходу (Г.Пермяков), в рамках которого устанавливаются "измерения" ПП.

2. Рассматривается локальная структура ПП (структура "окрестностей"), т.е. типы отношений близости между поговорками: синонимия в различных ее формах (грамматические, лексические, синтаксические, предметные, модальные варианты; обобщенные синонимы и т.д.)¹, квазисинонимия, антонимия, квазиантонимия, – все это смысловые отношения; далее, отношения предметной близости, сходства логической и/или языковой формы и т.д. На основе этих отношений строится схема фрагмента ПП – окрестности поговорки "Всякому свое мило", включающей несколько сот поговорок.

3. Рассматриваются поговорки-омонимы – своего рода точки ветвления в ПП. Вводится понятие гетероситуативной поговорки (одно значение и более чем один смысл²). Гетероситуативность может быть оценочной (констатация нормы vs. осуждение: "Своя рогожа чужой рожой дороже"), модальной ("Сова о сове, а всяк о себе" – констатация vs. предписание), либо возникать при приложении поговорки к

разным сферам действительности ("Лапти плетет, а концов хоронить не умеет" — о вранье или о воровстве). Гетероситуативны многие "абстрактные" пословицы ("Бог троицу любит"), а также пословицы, являющиеся применимыми и в "прямом" (узком) и в "переносном" (расширительном) значении ("Копейка рубль бережет").

4. Пословица как произведение прикладного искусства. Замечание о типологии произведений прикладного искусства (в порядке возрастания утилитарности): от украшений на утилитарных предметах до заговоров. Промежуточное положение пословиц в этом ряду.

5. Фундаментальность различия между частными и обобщенными пословицами (Г.Пермяков) в семиотическом плане. В первых конкретная ситуация называется, т.е. относится говорящим к определенному классу. Их "моделирующая способность" в принципе та же, что у слова, и семиотически они неотличимы от поговорок. Вторые обладают внутренней структурой свернутого силлогизма (*Darii* или *Ferio*): эксплицирована только первая посылка ("В драке волос не жалеют"), а обязательный при употреблении ситуационный контекст добавляет вторую и заключение ("X — дерется; X — не должен жалеть волос"). При этом "логическое ударение" обычно падает на вторую часть структуры, на конкретную ситуацию (подводимую пословицей под общий закон), но возможно и ударение на первой части ("Философствующее употребление", где конкретная ситуация служит лишь для подтверждения общего закона).

6. Парадокс универсального/национального в пословицах и попытка его "статистического" разрешения.

1 Обилие точных синонимов в пословичном фонде необычайно велико. Этот факт может быть сопоставлен с богатством синонимии в сфере экспрессивной лексики.

2 Значение пословицы ≈ запись ее на метаязыке. Смысл пословицы = ее значение в соотношении с ситуационной нишей, которую она заполняет.

З.М.Волоцкая

СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ В ЗАГАДКАХ (к вопросу о произвольности языкового знака)

1) Наиболее характерной чертой организации текста загадок является использование вторичных номинаций, представляющих собой иносказательное, шифрованное, закодированное обозначение загаданного денота и его частей. Под вторичной номинацией мы понимаем любое переименование предмета речи лексическими средствами того же языка, проводимое с целью образного называния денотата по его характерным признакам.

2) Изучение критериев подбора лексем для вторичной номинации (переименования) имеет большое значение как для теории номинации, так и для воссоздания картины мира через язык, поскольку выбор номинации может свидетельствовать о том, в сети каких ассоциаций выделен обозначаемый объект, какие из его признаков считались наиболее типичными и бросающимися. В выборе вторичных номинаций отражается ассоциативное мышление человека, его способность связывать по каким-либо общим признакам различные предметы и явления окружающего мира. Использование вторичной номинации, несомненно, акт в большей мере активный, творческий, сознательный, чем использование первичной номинации, поскольку языковой знак, соответствующий вторичной номинации, в отношении к своему денотату является знаком, выбор которого в большей степени обусловлен, менее произволен, чем отношение знака первичной номинации к своему денотату.

3) Предметом настоящего исследования являются вторичные номинации, выполняющие функцию сокрытия истинного предмета речи (К-номинации). Для вторичных номинаций в загадках характерна двойная отнесенность, двунаправленность: с одной стороны, к скрытому, загаданному денотату (X-денотату), который является истинным предметом речи в загадке, и, с другой стороны, к денотату, обозначенному в образной части загадки (К-денотату), который является мнимым предметом речи в загадке, см.:

	Выражено в тексте	Не выражено в тексте
означающее	K _{ном.}	X _{ном.}
означающее	K _{ден.}	X _{ден.}

4) В литературе последних лет все чаще высказывается мнение, отрицающее положение о полной произвольности языкового знака, к произвольным, обусловленным номинациям можно отнести в частности разного рода вторичные номинации. Обусловленность выбора вторичных номинаций в загадках, используемых как лексемы-коды для сокрытия загаданного денотата, может быть следующих видов:

4.1) Выбор вторичной номинации в загадке может быть обусловлен внелингвистическими причинами, а именно, наличием общих признаков у К-денотата и X-денотата. В этом случае речь идет о возникновении ассоциаций (слуховых, зрительных, тактильных и т.п.) между привычным видением называемых в тексте загадки денотатов и образами скрытых денотатов. Эти ассоциации могут быть а) по признаку внешнего подобия, сходства (ассоциации-метафоры), таковы в болгарских загадках¹ обозначения загаданного денотата солнце номинациями *кълбо*, *паница*, *божа кравица*, *желтица* и др.; загаданного денотата месяц номинациями *патица*, *ябълка*, *орех*, *медена пита*, *бела погача*, *половина погача*, *половин резник* и др.; звезды обозначаются лексемами *орехи*, *лешници*, *пшеница*, *яйца*, *ялтъни* и др.; денотат змея обозначается названиями таких протяженных, вытянутых

в длину предметов, как *вѣже, верига, тояга*; а денотаты пояс, ожерелье сами кодируются лексемой *змяя*; в) по признаку функции (ассоциации-метонимии), таковы обозначения загаданного денотата солнце номинациями *огнище, огонь, свещ, лампа*; загаданного денотата звезды номинациями *свещи* и другими; замок обозначается лексемой *кучка*, рот — *жерка, желница, воденица*; зубы — *секири, тесли, дикели* и др.; с) по признакам как внешнего подобия, так и функции (т.е. совмещение метафорических и метонимических ассоциаций), таковы обозначения загаданного денотата снег лексемами *чаршаф, черга, покрывало, покров*, или загаданного денотата ящик для ложек лексемами *обор, говедарник, кошара, зимник* и др. При использовании лексемы в функции вторичной номинации, кодового обозначения загаданного денотата происходит сужение ее собственного значения, сведения его к обозначению одного из признаков собственного денотата, причем именно того, который является общим у К-денотата и Х-денотата. Так, при метафорическом использовании лексем *кратуна, тиква, любеница* для обозначения загаданного денотата голова в их значении стираются семы *быть плодом, быть съедобным, расти в огороде* и т.п. и остается и актуализируется только сема *быть шарообразной формы*; аналогично этому при метонимическом использовании лексем *лампа, свещ* для обозначения денотата солнце нейтрализуются все их семы, кроме семы *быть источником света*.

4.2) Выбор вторичной номинации может быть обусловлен требованием семантического согласования номинаций одной загадки между собой, они должны образовывать единую тематическую последовательность, что способствует обеспечению когерентности текста одной загадки, а отношения между обозначаемыми этими вторичными номинациями денотатами (соответственно К¹-денотатом и К²-денотатом) должны проецировать отношения между соответствующими загаданными денотатами (Х¹-денотатом и Х²-денотатом). "Такие загадки — как отмечает Ю.И. Левин — воспроизводят на ином материале структуру загаданного объекта, описывая объект, изоморфный в некотором смысле загаданному", т.е. *К¹-ден.* так относится к *К²-ден.* как *Х¹-ден.* к *Х²-ден.*, например, в болгарской загадке с загаданными денотатами 'огонь' и 'дым' *Баща му още не се родил, а сино у небо вече* — по признаку источника, происхождения денотат 'дым' так относится к денотату 'огонь', как денотаты лексем-кодов *син* и *баща*. При первом критерии (4.1) выбора вторичной номинации первостепенное значение имел фактор наличия общего признака у К-денотата и Х-денотата, при втором критерии (4.2) выбора вторичной номинации первостепенное значение приобретает фактор наличия общего типа отношения, характера связи между *К¹-ден.* и *К²-ден.*, с одной стороны, и *Х¹-ден.* и *Х²-ден.*, с другой. Однако возможно и часто используется при построении текста загадки совмещение этих критериев; так, в загадке *По морето свещи горят*, во-первых, денотаты море и небо объединяются призна-

ком внешнего подобия, а денотаты свечи и звезды общностью функции и, во-вторых, по признаку пространственного расположения денотат *свечи* так относятся к денотату *море* (что выражается в тексте загадки предлогом *по*), как загаданные денотаты звезды и небо.

4.3) Выбор вторичной номинации может быть обусловлен формальными требованиями построения текста, например, соблюдению звуковой аллитерации удовлетворению рифмического строения или ритмической организации текста, так, в загадке о тени — *Дълга Яна стиганяма* выбор собственного имени для обозначения загаданного денотата 'тень' обусловлен только требованием рифмы. Имена собственные или асемантические "придуманные" слова чаще всего подбираются именно по этому критерию.

¹ Исследование проведено на материале болгарских загадок. Стойкова С. "Български народни гатанки", София, 1970.

Л.Г.Невская

ТАВТОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА

Ограничиваясь в данном случае поэтикой русской и литовской погребальной причеты, можно тем не менее предположить, что в использовании тавтологии плачи не составляют исключения среди других жанров балто-славянского поэтического фольклора, а также произведений, в той или иной степени продолжающих фольклорные или сознательно на них ориентирующихся.

Относясь прежде всего к сфере звуковой организации текста, тавтология не может быть адекватно описана только в фонетико/фонологическом отношении. Встречаясь преимущественно на протяжении одной стихотворной/ритмической строки, тавтология в равной мере относится к предложению в целом (точнее говоря, к синтагме: поэтому случаи типа *Приласкатъся-то удалы станут молодцы, Станут ласково тебѣ да уговаривать* здесь рассматриваться не будут). Предлагаемое распределение материала, не являясь его классификацией, помогает все же увидеть, какие именно отношения внутри предложения могут усиливаться употреблением однокоренных слов. (*Figura etymologica*, являясь сепаратным фрагментом в общей проблематике использования тавтологических средств, здесь не рассматривается). Подлежащее и сказуемое: *Не одни родители хотѣ нас отродили* (Барсов, 10); *Что за чюдешко-то мне да причудилося?* (там же, 27); *Обдождят да мелки дождички* (там же, 36); *lietutis lyo* 'дождичек дождил' (Raudos, 24); *mane visi lašeli ai užlašės* 'меня все капельки закапают' (Juška, III, 321). Тав-

тология может сознательно использоваться как сквозной прием организации фрагментов текста или целого текста: ... *Kur dambruoj dambrelės Nepučiamos, Kur kankliuoj kanklelės Netrankomos* (Juška, III, 329); *Užgriūvo griūvelė Negriūvanti, Užlinko liepelė Nelinkstanti* (там же). Сказуемое и дополнение: *Протрубили бы во трубы золоченые* (Барсов, 28); Сказуемое и обстоятельство: *Они ласково меня да приласкали* (там же, 30). Особенно многочисленны примеры тавтологии сказуемого и определения при подлежащем или дополнении: *Сиротат будут сиротны малы детушки* (там же, 17); *Накатали тут катучи белы камешки* (там же, 19); *nešviečia nei šviesi saulaitė* (Raudos, 52) 'Не светит ни светлое солнышко'; *Грубым словечком не грубите-тко* (Барсов, 32); *Ar aš tave, sunkiais darbėjais sunkinau?* (Raudos, 31) 'Утруждала ли я тебя трудной работой?' Атрибутивные сочетания: *горюша горегорькая, лесные перелески, талая талиночка, победная бедность, родимая родина, светлая светлица, ligus lygumėlė* 'ровная равнинушка', *seną senystė* 'старая старость'. Опуская многочисленные случаи повторения одного и того же слова, следует особо отметить использование лексем, разнящихся только аффиксами: *Долит тоска великая тоскичюшка* (Барсов, 11); *Bene pereis piktumas piktumelis* (Juška, III, 401) 'Разве пройдет злость злощюшка?'; *Да ты стань восстань, надежная головушка* (Барсов, 29); *Ei, kilo pakilo žiaurusis vėjelis* (Juška, III, 397) 'Ой поднялся поднимался холодный ветерок'; *бедная победная, jaunis jaunimelis*. Наконец, однокоренные слова могут использоваться в пределах одной стихотворной строки для ее звукового упорядочения путем введения длинных идентичных в фонетическом отношении фрагментов: *Мне куды с горя горюше подеватися* (Барсов, 17); *Часовые на часы пробиралися, Кузнецы во кузницах стояли* (там же, 10); *Допустите... Ко дверям да вы на дверную на лавочку* (там же, 7); *Mane lengvai užauginai savo lengvomis rankelėmis* (Juška, III, 291).

Приведенные примеры использования тавтологических средств при создании фольклорного текста касались дублирования в той или иной степени формы слова. Упорядочивание текста может осуществляться и иным образом, а именно дублированием ключевого семантического признака синтагмы. Так возникает, условно говоря, "семантическая тавтология". Не касаясь здесь случая типа *пути-дороги, род-племя* и под., относящегося к сфере языковой синонимии и рассмотренного в другом месте, здесь целесообразно остановиться на более сложной форме повторения, связанной с "обыгрыванием" семантики слов. Хотя некоторые из приведенных ниже словосочетаний приобрели характер штампа, стереотипа, изначально они уникальны и каждый из них требует индивидуального рассмотрения. *Все я думала победным своим разумом*: дублируется семантический признак "ментальность"; *могилушка умершая*: повторением усиливается семема "смерть"; *тюрьма заключенная*: обе лексемы содержат признак "не-свобода"; *ужины вечерние*: семантический множитель "вечерний" в этом случае выражен эксплицитно и т.д.

В ряду различных способов организации фольклорного текста (семантический и синтаксический параллелизм, звуковое подобие, использование синонимических средств и т.д.) тавтология достигает эффекта усиления одновременным дублированием формы и смысла. Об эффективности этого приема говорит высокая частотность его употребления. Так, в тексте олонекской причеты объемом в 1125 строк тавтология используется около 90 раз, т.е. одно употребление приходится в среднем на 12 строк.

Б.Рейздане

ВАРИАНТЫ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

(на материале латышских классических четверостиший)

1. Варианты фольклорного сочинения являются средством выявления стабильных формообразующих сегментов текста фольклорных единиц, способствуют раскрытию семантики не только текста как целостной структуры, но и семантики текстовых сегментов этой структуры, позволяют определить первичную функцию текста.

2. Наличие семантики формообразующих единиц делает данные единицы в определенной степени автономными, способными создавать и иные структурные связи.

3. Определенная автономность коммуникативных блоков, из которых создается определенная единица — четверостишие, является источником вариантов и версий, а также источником трансформации исходной семантики всего произведения и создания новой семантической структуры.

4. Ниже представлены основные семантически значимые варианты¹ четверостишия:

- I Kupla liepa // uz a ugusi liepa — ‘символ божества’
- II Manā govju // laidarā(i); laidarā — ‘место жертвоприношения’
dārziņa
- III Ik es gāju // govis slaukt(i),
- IV Ik pakāru // vaiņadzīņ(u) vaiņadzīņ’ — ‘пѣ дмет пожертво-
вания’

Курземе 1674, 1609.

Подчеркнуты варианты, имеющие трансформацию исходной семантики и коммуникативного блока, и текста в целом.

I 1. liepa (700), ozoliņš (19), bērziņš (1), priede, egle (1), ieva² (1), ābele (3), ieva auga ar ābeli (4)

- II 4. laidarā (355), dārziņā (306), diendārzi (5), zādraklā (2), aplokā (1)
 II 3.4. Mana tēva (brāļa) pagalmā (23), Mana tēva (brāļa) sētiņā (5), Manā liepu laidarā (2), Manā ganu laidarā (3), Manā lauka maliņā (1), Lauku ceļa maliņā (3), Manā brāļa (tēva) dārziņā (5), Manā rožu dārziņā (18), Manā ievu dārziņā (1)
 III 5. Kād Ik
 (370) (360)
 IV 7. Tad Ik
 IV 8. vainadziņ' (720), slauktuvīt' (10)

1 Общее число четверостиший – 730 из 239 местностей: *Kr. Barons un H. Visendorfs. Latvju dainas. Ptb., 1910, c. 136–138; Latviešu tautsdziesmas, II. R., 1981, c. 234–239.*

Е.А.Хелимский

ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ШИФТЕРОВ В СЕЛЬКУПСКОМ . ФОЛЬКЛОРНОМ ПОВЕСТВОВАНИИ

0. Поскольку одной из предпосылок связности повествовательного текста является тождество обстоятельств и участников описываемых событий самим себе, то в общем случае внутри одного простого (непрерывного, лишённого дистаксии) повествования должна иметь место фиксированность шифтеров как тех элементов текста, которые соотносят описываемые события с моментом речи ("я" это "я, говорящий"; прошлое это прошлое и т.д.). Однако анализ некоторых типов повествований (в нашем случае – селькупских фольклорных текстов) указывает на распространённость явлений, связанных с чередованием – говоря иначе, шифтом (сдвигом) – шифтеров, нерелевантным в плане соотношения описываемых событий с моментом речи, но используемым для достижения стилистических целей. Отметим типичные случаи чередования шифтеров в сфере глагольных категорий (время, наклонение, лицо; четвертый глагольный шифтер в классификации Р.Якобсона, засвидетельствованность, находит в селькупском языке выражение через категорию наклонения за счет употребления форм латентива или аудитива – наклонений неочевидного и воспринимаемого на слух действия).

1. Достаточно тривиальным (с точки зрения сопоставления с другими традициями фольклорного повествования) представляется чередование форм времени (не зависящее от *consecutio temporum*). Специфический и, судя по своей распространённости, почти грамматикализованный случай – переход в описании событий от повествовательного прошедшего времени (П) к настоящему времени (Н; эта форма времени, в зависимости от вида конкретного глагола, может иметь значение *Present Continuous* или *Present Perfect*) для отграничения экспозиции от собственно сюжетной части, ср.: "Жила (П) Нэтэнка,

была (П) у нее дочь, был (П) у нее сынишка. Жили (П) с ней Томнэнка с семьей. Томнэнка к Нэтэнке пришла (Н)...".

2. В одном из мифологических текстов ("Сказка об Окылэ") задача демонстрации сверхъестественных способностей персонажа к предвидению решается путем поочередного использования при описании событий его прогнозов-рекомендаций (в формах кондиционалиса и императива) и "нормальных" повествовательных фрагментов (в формах индикатива и латентива). Весьма распространен переход от латентива (начало описания "незасвидетельствованных" говорящим, известных в пересказе событий) к индикативу (продолжение описания тех же событий).

3. Особый интерес представляет спонтанный переход в повествовании от третьего лица к первому (наблюдается только при описании действий центрального персонажа), не связанный с введением прямой речи, ср.: "Ича поехал на лодочке из коры. Ича к озеру спустился, к большому озеру. У меня живот заболел. Внизу посреди озера стоит большой камень. Туда еле-еле (я) добрался, на камень (я) залез...". Четких текстовых условий (позиций) для подобной синкретизации рассказчика и персонажа повествования выделить не удается.

ТЕКСТ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. В понятие "текст" имплицитно заложена вторичность по отношению к понятию "язык" (ср.: "Язык становится видимым в форме текста", П.Гартман, З.Шмидт). Однако, если говорить, по крайней мере, о таких понятиях, как "текст искусства" (художественный текст) и "текст культуры", то есть все основания считать текст исходным, а язык производным от него явлением. Это утверждение справедливо и исторически (появление текстов этого типа, как правило, предшествует языку, текст создается "на никаком" или "еще не известном" языке, но в дальнейшем делается текстом на обычном и тривиальном языке), и теоретически. Во втором смысле оно означает, что текст есть не реализация некоторого языка, а генератор языков.

2. Из сказанного вытекает, что структурная гетерогенность есть закон текста (если не иметь в виду метатексты и тексты на искусственных языках). Тексты интересующего нас типа никогда не являются текстами на каком-нибудь одном языке. Они или являются результатом двойной (*resp.* многократной) кодировки, или складываются из двух (*resp.* нескольких) субтекстов, которые, будучи закодированы различными способами, вместе с тем в определенном отношении представляют единый текст. В ряде случаев мы сталкиваемся с включением иноструктурных островков в текстовую толщу или какими-либо иными формами субтекстового симбиоза. Однако общим для всех этих (и ряда других) случаев является кодовая неоднородность текста. Частным случаем такой неоднородности будет механическая порча или ошибка, если читатель будет воспринимать их как некоторый особый, неизвестный ему, способ кодирования.

2.1. С точки зрения прагматики, выводом из этого положения будет то, что нормальной для коммуникации является возможность двойного подхода к тексту: а) Как к сообщению на известном адресату языке (в этом случае на основании знания языка дешифруется сообщение); б) Как к сообщению на неизвестном языке (в этом случае на основании интуитивно, приближенно – с отсылкой на предшествующий культурно-семиотический опыт – или произвольно дешифруемого текста реконструируется язык).

2.2. С точки зрения функции текста, из сказанного вытекает возможность двоякого функционирования текста: а) текст ориентирован на передачу некоторой исходно вложенной в него информации (смысл предшествует тексту). В этом случае господствует тенденция к унификации текстовых кодов, а адресат и адресант пользуются единым, заранее данным языком. В предельном случае это – общение с помощью искусственных языков; б) Текст ориентирован на генерирование новой информации (смысл не дается, а вырабатывается). В этом

случае господствует тенденция к усложнению отношений между способами кодировки субтекстов. В предельном случае это — текст на заумном языке.

Примечание: В докладе приводятся случаи неоднородности кодирования текста на материале поэзии барокко, романтической прозы и лирики Тютчева.

3. Сказанное открывает новый взгляд на сравнительное изучение и взаимодействие культур. Входя в некоторое культурное единство, культуры, выступающие относительно друг друга как тексты, испытывают не только сближение, унифицирующее их кодовые системы, но и специализацию, создающую ту степень взаимного структурного напряжения, которая обеспечивает вспышку смыслопорождения. Чем теснее общение, тем больше ощущается потребность в своеобычности, странности, аномальности, т.е. внутреннем кодовом напряжении.

Примечание: Положение иллюстрируется историей понятия "чужая культура".

4. Сказанное позволяет ввести некоторые общие признаки текста:
а) Всякий текст обладает семиотической неравномерностью. Кроме функций передачи информации и порождения новых языков, текст выступает также как устройство, на вход которого подаются прежде циркулировавшие в культуре тексты, которые, пересекая его внутренние кодовые границы, трансформируются в *новые сообщения*. Текст генерирует новые тексты, следовательно, можно сформулировать парадокс: исторически тексту должен предшествовать текст.

б) Всякий текст обладает механизмом, благодаря которому он может рассматриваться и как группа самостоятельных текстов, и как некий единый текст более высокого уровня, и в качестве части некоторого текста высшего порядка. Изолированный текст — научная фикция, возможная лишь в качестве эвристической условности. Тенденция текста беспредельно дробиться и максимально объединяться, сохраняя при этом всю иерархию кодовых границ, проявляется на истории культурных понятий "низший" и "высший" текстовый уровень. С одной стороны, постоянно работает механизм, разделяющий прежде неделимые элементы на более частные, структурно между собой организованные единицы и приписывающий элементам знака самостоятельное знаковое значение, т.е. превращающий части текста в конгломерат текстов. С другой, для того, чтобы любое, самого высокого уровня, сообщение могло функционировать как текст, необходимо ему соположить другой (хотя бы нулевой) текст, с которым он составил бы единство высшего порядка.

5. Все сказанное превращает текст любого уровня в динамическую и порождающую все здание культуры систему.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА

Как социальное бытие, бытие художественного произведения является двусторонним единством авторского текста и читательского восприятия. Каждый его элемент содержит расчет на читателя, даже если читатель практически отсутствует, и писатель сам ставит себя на его место. Теоретическая мысль расчленяет это единство, устанавливая разные предметы исследования, создавая тем самым возможность разного к ним подхода. Литературоведению XX века присущи противоречивые тенденции; с одной стороны, стремление изучать "закрытый" текст, отчужденный от автора и читателя, с другой стороны, концепция сотворчества читателя как основной категории эстетического бытия произведения. Концепцию сотворчества выдвинул еще Потебня ("Понимание есть повторение процесса творчества в измененном порядке..."). По-другому утверждал впоследствии примат восприятия Ян Мукаржовский. В крайнем своем виде *теория чтения* предстала у писателей и теоретиков, группировавшихся вокруг журнала "Тель Кель"; они исходили из положений Р.Барта. Доктрина сотворчества, теории чтения в последовательном их применении угрожали утратой художественного объекта, растворявшегося в субъективных восприятиях. Но опирались они на очевидность изменчивости и многообразия прочтений. Воспринимающий неизбежно производит над текстом ряд операций. Он переосмысляет произведение согласно своей социальной, культурной апперцепции; привносит в него свои представления о биографии, о личности писателя (от этого никуда не уйти) и свой исторический опыт. "Процесс" и "В исправительной колонии" Кафки написаны до переворота в Германии, но современный читатель не может не проецировать на эти произведения то, что он знает о фашизме. Наряду с историческими — личные ассоциации. Множество частных представлений возникает, например, у читателей любовной лирики.

Особые операции над текстом производит исследователь: реставрация первоначального замысла, воскрешение жизни произведения "в веках", и многое другое. Так, например, К.Ф.Тарановский и его школа занимаются сквозным выявлением реминисценций, исходя из концепции "цитатности" поэтического текста. Представители этой школы признают, что самому поэту не всегда известны его первоисточники, но что этот вопрос психологии творчества — не решающий при изучении текста. Так может образоваться вторичная система значений, своеобразная исследовательская конструкция, которой нет ни в сознании читателя (даже искушенного), ни в сознании писателя. Все это формы интерпретации. Но есть и интерпретируемое: произведение, знаковая система, возникшая в определенных исторических условиях. Интерпретация преобразует, но не снимает эту систему, и

не следует понимать ее преобразование как тотальное. Русские символисты, например, по-символистски прочитали Пушкина, но это не значит, что они читали его *так же*, как они читали Владимира Соловьева или, скажем Малларме, — они делали поправку на культуру пушкинской эпохи. Читатель всегда делает эту поправку на историчность, поправку отчетливую или смутную, в меру своей подготовки. Историзм обогатил сознание человека бесконечным многообразием форм прошедшей жизни, — формотворчество сближает историю с искусством. *Историческая поправка* кладет предел субъективности, как предел кладет ей и всеобщность восприятия. Предметом истории литературы является не сумма бесчисленных субъективных восприятий, со всеми их колебаниями и случайностями (это предмет психологии восприятия), но те общие эстетические реакции, те типы восприятия, которые могут быть отвлечены от их индивидуальных носителей. Именно так понимали примат восприятия выдающиеся сторонники теории чтения. Мукаржовский всячески подчеркивал что речь у него идет о "коллективном сознании". Р.Барт писал: "Я", которое соприкасается с текстом, в свою очередь является множественностью других текстов, кодов, уходящих в бесконечное, точнее теряющихся в нем... Субъективность... эта обманчивая законченность только след всех кодов, из которых я состою, так что в конечном счете моя субъективность обладает всеобщностью стереотипов". Общее восприятие определяется временем, средой, социальной группой, следовательно, мы имеем здесь дело с некоторым *историческим читателем* и с обязательными для него реакциями. Опытный читатель даже сам сознательно или интуитивно отличает: личные свои случайные ассоциации от "обязательных". Всеобщность понимания и оценок не противоречит многозначности поэтического слова, потому что многозначность сама входит в число обязательно воспринимаемых свойств произведения. Мера ее исторически изменчива. Например в поэзии рационалистической (классицизм) она мала по сравнению с поэзией символистов и их преемников. Историческая всеобщность восприятия (в пределах определенных социальных групп) позволяет его депсихологизировать, вернуться к единству восприятия и текста. Ассоциация, реминисценция, аллюзия — все эти термины *чтения* изымаются из психологического ряда и проецируются в текст как его свойства и признаки. Ассоциация рассматривается тогда уже не как психологическое явление, но как отношение между элементами структуры. Так историзм в конечном счете позволяет вновь обрести эстетический объект. Установки исторического читателя, в частности, определяют изменчивые границы между эстетическим и внеэстетическим, определяют статус тех пограничных явлений литературы, которые могут переходить из одной категории в другую (о нестабильности самого понятия *литература* писал Тынянов в статье 1924 года "Литературный факт"). Эстетизация внеэстетического совершается в разных планах, прежде всего в плане жизни человека — биографическом, в широком смысле слова.

Наряду с письменной, существует и биография устная — в рассказах, разговорах, даже в размышлениях о человеке. Она имеет свои устойчивые формы, очень разные — от героического предания до сплетни.

В своей замечательной книге "Биография и культура" Г. Винокур, исследуя структурную и экспрессивную природу биографии, утверждал, что биографические структуры не обязательно обладают эстетическим качеством. Полагаю, однако, что в биографических конструкциях, и закрепленных письменно, и незакрепленных, потенциально присутствует эстетическое начало. Чтобы пробудить его, нужна именно установка восприятия, понимание биографической связи как выражения некоей жизненной темы, идеи; в силу чего события, поступки, переживания мыслятся как формы этой жизненной темы, от нее неотделимые. Наглядно свидетельствуют об этом те законченные сюжеты, которые образует жизнь выдающихся людей: гибель Байрона в охваченной восстанием Греции, дуэль и смерть Пушкина, уход Толстого из Ясной Поляны... Но и самая незаметная жизнь, осмысленная в своем единстве, может стать моделью основных человеческих коллизий и конфликтов. Случайное получает тогда мотивировку и становится выражающим.

В художественном произведении Мукарежовский различает *преднамеренное* и *непреднамеренное*. Непреднамеренное — это, собственно, неструктурное, то, что воспринимающий не может включить в эстетическое единство произведения, что представляется ему случайностью или помехой. Преднамеренное и непреднамеренное с течением времени могут меняться местами. Биография как принцип организации и интерпретации действительности вносит в свой материал ретроспективную преднамеренность, *как бы замысел*. Его могли трактовать как замысел высшей силы, но также как замысел безличный. Он возникает из исторического осознания данной жизни, из ее соотнесенности с типологическими формами разных жизненных укладов. На своем пути от внеэстетического бытия к эстетическому явления преодолевают ряд ступеней. Натюрморт например, проходит разные уровни предварительной эстетизации. Существуют отдельные, "сырые" вещи — нож, яблоко, скатерть, графин — они тоже имеют свою эстетику и символику. Эстетику имеет и их случайная смежность. Но художник сочетает их преднамеренно, и это расположение вещей есть уже сознательный эстетический акт, следующая ступень структурности. Высшая ее степень будет достигнута, когда появится образ вещей, преобразенный замыслом, переведенный в единый материал цвета.

Воспринимаются, в своей эстетической значимости, отдельные явления природы, и воспринимается их совмещение в ландшафте. Натуральный ландшафт может быть интерпретирован символически, сквозь различные культурные концепции. Следующий этап: ландшафт становится пейзажем художника. Но возможен и другой способ его преобразования — преобразование *в том же материале*, путь садового и паркового искусства, которое из первичного материала создает

экспрессивные, символические формы (иногда имитируя непреднамеренность: "дикая природа", руины). Нечто подобное являет собой романтическое житнетворчество, пытающееся внести художественный замысел в самый процесс жизни. Вещи – символика вещей – расположение вещей, осуществленное художником – натюрморт. Отдельные явления природы – ландшафт – пейзаж (перемена материала) или парк (первичный материал). В каждой из этих цепочек – возрастание структурного и эстетического начала. Этому как-то соответствует цепочка: события жизни человека (внешние и внутренние) – восприятие их конструктивной связи – устное оформление этой связи – биографические документы, материальные следы переживания и события (письма, дневники и проч.) – документальное произведение: биография, автобиография, мемуары. Вплоть до романа. Биограф действует как художник, располагающий вещи для будущей картины, как садовод, созидающий произведение из естественного материала, но в отличие от них материал ему служит слово. Переходы между жизненными и литературными формами биографического возможны потому, что те и другие осуществляются в речевой стихии, нераздельно слитой с жизненным процессом. Эта сквозная вербализация жизни – условие соизмеримости между жизненным и литературным моделированием человека. Обретя словесно выраженную связь и форму, внеэстетический материал может быть прочитан как эстетически значимый текст.

Г.Н.Топоров

ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ АНАГРАММЫ

До сих пор поиски анаграмм в конкретных текстах и особенности техники анаграммирования составляли ядро анаграмматических исследований. Вопрос о природе и функции анаграммы оставался в тени. Внимание обращалось прежде всего на формальную сторону (кстати, и сама анаграмма чаще всего рассматривалась как некий предел поэтического формализма), с чем можно связать появление значительного числа реконструкций псевдоанаграмм или таких анаграмм, которые, удовлетворяя некоему приблизительному критерию формальной близости, не могут считаться доказанными из-за отсутствия именно неформальных критериев. Как правило, упускалось из виду, что анаграмма выступает как средство проверки связи между означаемым и означающим (если говорить о внутритекстовых отношениях) и между текстом и достойным его понимания читателем, дешифровщиком криптограмматического уровня текста (если говорить о прагматическом аспекте семиотического исследования текста). Следовательно, в обоих случаях речь идет о таком примере метаязыковой функции, когда обе указанные связи предельно замаскированы, являются своего рода аналогом

масонского знака и поэту предполагают установку на отбор наиболее "кодовопроницабельного", изощренного и/или обладающего особым знанием читателя, который был бы способен решить задачу соотношения формы и содержания в наиболее сложных случаях их взаимоотношений. Из сказанного ясно, как важно умение установить (и теоретически и практически) те места текста, где, так сказать, формируется еще до появления анаграмм своего рода "анаграмматическое поле". Искать анаграмму просто так, сугубо эмпирически, вне определенного принципа, опираясь исключительно на факт наибольшего звукового подобия криптограммы и неких фрагментов подлежащего текста, бессмысленно (ср. предполагаемую здесь игру двух значений — 1) 'обладать смыслом, значением' и 2) 'быть целесообразным' —, отсылающую на более глубоком уровне к единому комплексу: смысл как то, что только и может иметь онтологическое обоснование и гносеологическую ценность). Этот "бессмысленный" поиск анаграмм означает отдачу на милость случая как такового и сведение анаграммы к простому кунштюку. На самом же деле, анаграмма обращена к содержанию, она его сумма, итог, резюме, но выражается это содержание не словарно или грамматически институализированными языковыми формами, имеющими обязательное значение для всех членов данного языкового коллектива, а как бы случайно выбранными точками текста в его буквенно-звуковой трактовке (т.е. вне текстовой упорядоченности обычного типа, предусмотренной как структурой данного языка, так и спецификой соответствующего текста). Иначе говоря, верх (квинтэссенция) смысла соотносится с низом формы, с предельно внешними и случайными ее элементами (так сказать, "forma formalissima", которая настолько разведена с содержанием, что сама мысль о ее семантизации кажется малореальной). Но весь смысл и эстетическая ценность анаграммы как раз в том, что она, подобно электрической искре, пробивает эту пустоту между предельно разведенными друг от друга содержанием и формой (и даже не формой в ее целостности, а чисто механическим эксцерптом из нее, казалось бы, уж никак не связанным с какими-либо смыслами), позволяет осмыслить и те элементы, которые понимаются как лежащие ниже границы, откуда начинается сфера содержания. Именно в силу этих особенностей об анаграмме можно говорить как о категории, апеллирующей к содержанию прежде всего. В свою очередь содержание в его особо значимых сгущениях может указывать на возможность нахождения анаграмм. Богатство содержания, его установка на максимальную сложность связей или особую отмеченность ведущих смыслов так или иначе соотносится с перестройкой самого текста и на формальном уровне. Подходя с другой стороны, можно сказать, что, когда форма (и соответствующее ей читательское восприятие) обнаруживает признаки перенапряжения, гипертрофии (гиперморфизма), она, подобно изнемогающему от избытка силы былинному богатырю ("силушка по жилочкам поигрывает") типа Святогора, ищет себе нового применения, той высшей инстанции, во власть

(в распоряжение) которой можно было бы отдаться. Такой инстанцией и является смысл, содержание. В отмеченных местах текста, практически на любом множестве "случайных" элементов его, содержание формирует свой образ в "звуках". Происходит чудо дальнего и сильнодействующего: содержание оказывается настолько богатым, активным, животрепещущим, заразительным, что в его пламени все приобретает его оттенок, — даже отдельные элементы звуковой (буквенной) цепи начинают получать особое значение вплоть до возможности синтезирования с их помощью смысла целого. В этой ситуации все идет во славу содержания. Оно как бы осмысливает ("преформирует" содержательно) по своему подобию все "формальное". Поэтому среди задач, стоящих перед исследователями анаграммы, стоит выделить несколько таких, которые, являясь предварительными по своему характеру, будучи решенными, откроют возможности для более надежной верификации комплексов, подозреваемых в анаграмматической трактовке. Нижеследующие заметки явно или неявно предполагают существенность, по крайней мере, трех таких задач: 1) поиск тех смысловых сгущений, которые деформируют текст (точнее, "суперформируют" за счет резкого увеличения степени его дискретности, во-первых, и навязывания новых связей между элементами, во-вторых) настолько, что возникновение здесь анаграмм становится очень правдоподобным или даже необходимым; — 2) соответственно поиск типов текстов (жанров), наиболее приспособленных к анаграмматическим ходам; — 3) поиск границ в употреблении анаграмм, т.е. определение случаев наибольшего дальнего действия в пределах данного языка и даже за его пределами (чужой язык).

1. Вергилианская тема Рима.

В отличие от гомеровской эпической традиции, где уже первый стих открывается обращением к Музе, "Энеида" начинается вступлением из семи стихов, в которых поэт сам (от первого лица) обозначает свою тему: *Arma virumque cano...* Читатель, знакомый с многочисленными воспроизведениями этого приема в более поздней традиции (*Пою от варваров Россию свободенну...*), не склонен замечать, что именно здесь Вергилий резко отходит от предшествующих образцов. Ср. I, 1—7:

*Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
 Italiam fato profugus laevinaeque venit
 Litora, multum ille et terris iactatus et alto
 Vi superum saevae memorem Iunonis ob iram,
 Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem
 Inferretque deos Latio, genus unde Latinum
 Albanique patres atque altae moenia Romae.*

Этот вступительный отрывок построен, несмотря на кажущуюся простоту, достаточно изощренно. Он образует одну фразу, в которой главное предложение, представляющее собой самое краткое и предельно обобщенное обозначение темы, вынесено в самое начало, в наиболее

сильную позицию, а все остальное место занимают три придаточных предложения, отвечающих на три основных детализирующих вопроса, — кто, когда, где (*qui, dum, unde*, собств. — откуда), которые отсылают к персонажной и пространственно-временной структурам текста: то кто первым достиг из Трои Италии, ее Лавинийских берегов — основание города и перенесение богов в Лациум — сам Лациум, земля латинян, Альба-Лонги, Рима. Это тоже обозначение темы, ее резюме, но более развернутое, чем начальное *Arma virumque*. Здесь почти каждое существительное обозначает соответствующий круг мотивов, из которых складывается тема (*Troja, Italia, Iavinia litora, bellum, urbs, dei, Latium, genus Latinum, Albani patres, altae moenia Romae*), или движущую силу действия (*fatum, vis superum, saevae Junonis ira*). При этом последовательность этих слов-индексов (от *Troia* до *Roma*) соответствует порядку появления обозначаемых ими мотивов. Вместе с тем этот же фрагмент предполагает еще одно существенное деление: план прошлого, который, собственно, и описывается в "Энеиде" (скитания Энея от Трои до Италии, до обретения новой родины в Лациуме), и план будущего (основание города, перенесение богов, Рим), не воплощенный в специально предназначенных для него, частях текста, но постоянно присутствующий и ясно ощущаемый. Более того, эта, строго говоря, внетекстовая тема будущего может считаться не только основной, но и ведущей. Как *Arma virumque*, так и Троя, превратности судьбы, бросавшей Энея по морям и землям, войны вплоть до победы над Турном и т.п. образуют лишь поверхностный слой темы, описывающий событийную структуру текста "Энеиды". Эти события (как и соответствующие им элементы текста), конечно, важны, но не столько сами по себе, сколько потому, что они составляют тот единственный путь, который нашла судьба (*Fata viam inveniunt*. X, 113), чтобы создать Рим. События сменяют друг друга, их смысл может быть не понятен их участникам. Во всей полноте они осознаются и получают свое оправдание в неизменном и вечном факте, скорее — сверхидее, в Риме (другой аспект — субъектом такого осознания может быть лишь тот, кто помещает себя в центр, в Рим, сливая себя с ним как со своей судьбой). Для Вергилия Рим венчает все и всему предшествует: он тот центр, к которому направлен поток истории. Тень его не только падает на будущее: предчувствие Рима, сознание его предназначенности определяют и его доримское прошлое. За всеми деяниями Энея стоит Рим. Но и для Вергилия он в центре всего, ибо, как и для Энея, для него *Nis amor, haec patria est* (IV, 347, где *amor* зеркально отражает *Roma*). Все страдания, потери, подвиги Энея, начиная с бегства из горящей Трои, — ради Рима: им прощается все (*Ты не знаешь, что тебе простили... | Создан Рим, плывут стада флотилий...*, — как было сказано об Энее два тысячелетия спустя), и само имя любимой Трои, первой родины, становится ненужным (*Occidit, occideritque sinas cum nomine Troia*. XII, 828). Острота и выстраданность римской темы для Вергилия вне всяких сомнений.

Именно это делает "Энеиду" книгой не просто об Энее, но и прежде всего о Риме и его судьбе, о Риме как образе мира, о Риме, имеющем стать миром (ср. *En, huius, nate, auspicijs illa incluta Roma, Imperium terris, animos aequabit Olympo... VI, 781–782;...Italiam regeret, genus alto ab sanguine Teucri* | *Proderet ac totum sub leges mitteret orbem. IV, 230–231* и т.п. вплоть до знаменитого: *Tu regere imperio populos, Romane, memento. | Haec tibi erunt artes, pacisque imponere morem... VI, 851–852*). Тень и отзвуки Рима в "Энеиде" повсюду. И если это верно в отношении смысловой структуры текста, то нет оснований для отказа от поисков римской темы и в плане выражения, на фонетическом уровне, тем более, что Вергилий был непревзойденным мастером семантизированной звукописи. Сам поэт облегчает поиск римской темы прямым (в отличие от древней практики анаграммирования) введением ее индекса – *Roma* (или *Romani, Romanus, Romulus*), причем этот индекс в самом ответственном, открывающем "Энеиду" фрагменте находится на отмеченном месте: *Romae* замыкает собой 7-ой стих первой книги, выступая как наконец-то явленная идея, исподволь формировавшаяся в предшествующих стихах (1–7) в виде настойчиво проступающих комплексов *r-m*: *m-r*, как некая основная сумма смысла и звукового образа, первенствующая над всем (ср. *primus* в стихе 1 с характерным маскирующим отнесением его к Энею, что вполне соответствует практике древней индоевропейской поэзии выносить в самое начало указание на прецедент, "первый случай"). Ср.: *Arma virumque sano, Troiae que primus ab oris |...profugus... | Litora multum... | Vi superum saevae memorem Iunonis ob iram | ... dum conderet urbem |...moenia Romae*. Эта высказанная, наконец, идея *Romae* тут же передается по цепи дальше, в традиционное начальное обращение к Музе: *Musa, mihi causas memora ...* (ср. типичный "подхват": */Ro/mae* → *Musa, mihi ...*, приводящий к новому анаграмматическому синтезу – *memora* ⊃ *Roma/m*). Стык *Romae* и *Musa* образует своего рода "Grenzsignal", в котором можно усмотреть ключ к римской теме "Энеиды": *...Romae. | Musa, mihi ... memora* ⊃ **Musa, mihi ... memora Romam* с актуализацией связи *Roma* с рассказом-напоминанием, памятью как доброй силой, соотносящей человека с его истоками (иначе – *saevae memorem Iunonis...*). Очень существенно, что здесь, как и нередко в других случаях, звуковой образ *Roma* укрывается в словах с "положительной" семантикой (*virum, primus, superum, memorem* и т.п.). Это первое упоминание Рима (а всего их в "Энеиде" ровно семь: I, 7; V, 601; VI, 781; VII, 603, 709; VIII, 635; XII, 168 – почти на 10000 стихов) дает ключ к анализу и других мест, где появляется слово *Roma*. Ср. вкратце: V, 601 – [*...hinc maxima porro*] *Accepit Roma et patrium servavit honorem*; [*...Troianum...*]; VI, 781 – [*...superum...*] *...Roma...* [*Imperium terris...*] *...muro proelia Martem*, [*...inferre manu lacrimabile...*]; VII, 709 – *Per Latium postquam in partem data Roma Sabinis*. [*...Amiterna...*] *Ereti manus...*; VII, 635 – *Nec procul hinc Romam et raptas sine more Sabinas* (с отсылкой далее к теме Ромула); XII, 168 – [*Hinc pater Aeneas, romanae stirpis origo, ... armis,*] *Et iuxta Ascanius, magnae spes altera Romae*. Ср. также XII, 827 – [*...mutare viros aut vertere vestem*] *...reges,*]

Sit Romana potens itala virtute propago: | [... cum nomine Troja.] или VI, 857 — [Aspice, ut insignis spoliis Marcellus opimis |[In]greditur victor[que] viros supereminet omnis.] Нич rem Romanam, magno turbante tumultu |[Sistet eques...]|... arma...], где, кстати, *turbante* > *Urbs* как другое обозначение Рима, или VI, 870 (с той же идеей будущего укрепления-утверждения Рима) — Regis Romani primam qui legibus urbem |[Fundabit, Curibus, parvis et paupere terra| Missus in imperium magnum...], ср. urbem < Curibus, или I, 276 — Romulus excipiet gentem et mavortia condet |[Moenia Romanosque suo de nomine dicet. His ego nec metas rerum, nec tempora pono, Imperium sine fine dedi...], ср. VI, 778: Mavortius... Romulus... mater... и др. Таким образом, каждый раз тема *Roma* сопровождается резким повышением встречаемости элемента *r-m* (*m-r*) в ближайшем ее контексте. Сам этот элемент *r-m* сигнализирует о римской теме, вовлекая в конструирование ее и весь круг слов, в которых *r-m* встречается. И, действительно, анализ встречаемости *r-m* в контексте *Roma* обнаруживает три категории случаев: 1) слова, содержащие *r-m* в своем корне или основе (*arma*, *primus*, *memorem*, *memora*, *imperium*, *muro* /ср. *moenia*/, *Martem*, *mavortia*, *Marcellus*, *Romulus*, *Romani*, *supereminet*, *ramis*, *mare*); 2) слова, содержащие *r-m* только в определенных формах (*virum*, *superum*, *rem*, *urbem*, *patrium*, *honorem*, *rem*, *rerum*, *prolem*, *iram*); 3) сочетания двух соседних слов, содержащих "составное" *r-m* (*Litora multum*, *dum conderet*, *molis erat*, *condere gentem*, *maxima porro*, *Per Latinum*, *nomine Troia* и т.п.). Особое внимание обращает на себя сугубая "содержательность" комплекса *r-m* в этих случаях: он появляется в именах персонажей, непосредственно связанных с римской темой — Марс/Маворс, Ромул, Марцелл; в словах-индексах величия Рима — первый, высший, власть-владычество, честь, отечество, город, превосходство и т.п.; в словах, которые могут рассматриваться как важнейшие характеристики-атрибуты Рима, — стены, сражения, оружие, память, мужи и т.п. Разумеется, такая высокая степень концентрированности *r-m* в словах с "положительным" значением не может быть случайной. Оказывается, что в выстраиваемом Вергилием "римском" тексте слова, связанные с наиболее престижными и положительными значениями, несут на себе отблеск римской темы: в их семантическую структуру как бы вживляется еще одна семема — 'Рим'. Отсюда — *primus* не только 'предшествующий всему остальному', 'открывающий ряд' и т.п., но и принципиально "Римоцентричный", указывающий начало именно римской традиции; власть (*imperium*) — не просто обозначение высшего места в иерархии, но прежде всего римская державность; честь (*honorem*) в "римском" тексте по преимуществу черта римского гражданина, мужа и т.п. В этом принципиальное новаторство Вергилия по сравнению с анаграммами сатурнического стиха или Лукреция, выявленными Ф. де Соссюром. Вергилий строит несравненно более сложный и многозначный ряд. Четкость и однозначность старой анаграмматической конструкции он растворяет в тревожной суггестивности мерцающего огоньками римской темы текста "Энеиды".

"Римский текст" имел свои продолжения и варианты и за пределами римской литературы. Эта тема выходит за пределы настоящей заметки, и лишь ради некоторого расширения перспективы стоит выборочно обозначить три аспекта темы *Romae—Рима* в более поздних поэтических традициях: 1) особую расположенность обозначений Рима к звуковым притяжениям разного рода; 2) связь темы Рима и мира; 3) номинализм римской темы.

Соотнесенность Рима и мира (*Roma, orbis*) реализуется у Вергилия не столько в формальном плане (ср. клишированное *urbs & orbis*, особенно позднее *urbi et orbi* — при том, что *Urbs* — Рим, как и *orbis scarp* у Овидия), сколько в содержательном (ср. взятые наугад высказывания об "Энеиде" из прощательной статьи М.Л.Гаспарова: "И другая, еще более глубокая причина побуждала Вергилия писать поэму не о Риме, а о судьбе Рима. Мысль о месте человека в мире, сквозная мысль его творчества, оставалась у него недодуманной"; "Власть Рима над миром — не право, а бремя..." и т.п.). Эта соотнесенность имеет продолжение у Данте (стоит заметить, что первое упоминание Рима в "Божественной Комедии" принадлежит Вергилию; именно он вводит и здесь тему Рима: *Nacquis sub Julio, ancorche fosse tardi, | e vissi a Roma sotto 'l buono Augusto. Inf. I, 70—71*; *Soleva Roma, che 'l buon mondo feo, | due soli aver, che l'una e l'altra strada | facean vedere, e del mondo e di Deo. Purg. XVI, 106—108*; *e sarai meco senza fine cive | di quella Roma onde Cristo è romano. | Però, in pro del mondo che mal vive... Purg. XXXII, 101—103*; *...redur lo mondo a suo modo sereno, | Cesare per voler di Roma il tolle... Parad. VI, 56—57*; *... difese a Roma la gloria del mondo... Parad. XXVII, 62* (Данте обращается и к некоторым другим "вергилианским" ходам: *prima Roma. Parad. XVI, 10*; *... de' Troiani ... e di Roma. Parad. XV, 126*; *...dell' alma Roma e di suo impero | nell' empireo... Inf. II, 20—21* и др.). Связь Рима с миром — ключ к "Les Antiquités de Rome" Дю Белле: *Rome fut tout le monde, & tout le monde est Rome (XXVI)*, ср. также в связи с Римом такие мотивы, как *vanité du monde, mondaine inconstance* и т.п.; ср. также соотнесение *Rome* с *ces vieux murs, muraille, monuments, mont(s), marbre, ruine, immortalité* и т.д., хотя бы отчасти продолжающее и развивающее конструкции Вергилия. Но свой подлинный триумф двуединая тема Рима-мира справляет в русской поэзии, где зеркально соотнесенные образцы *Рим: мир* у ряда поэтов становятся почти клишированными (обыгрывание пары *Rzym: mir* хорошо известно и польской поэзии, начиная с Возрождения и особенно с Барокко). Ср. у Тютчева: Как сладко дремлет Рим в ее лучах! Как с ней сроднился Рима вечный прах! Как-будто лунный мир и град почивший — | Все тот же мир, волшебный, но отживший...; "... и на дороге | Застигнут ночью Рима был!" | Так! но прощаясь с римской славой... | Счастлив, кто посетил сей мир... у Каролины Павловны: ... Рима | ...он глядел, | Как тешилась столица мира, | Взав властно мир себе в удел. | Блаженствуй, Рим... | Со всей земли, себе в забаву, | Дань беспощадную бери ("Праздник

Рима"); ... Где вести, и казнь, и законы | Гонцы его миру несли,
 ("Рим"); у Шевырева: ... И тучами ты скрыл во тьме эфирной | Перуна-
 ми сверкавшее чело, | Венчанное короною всемирной ("Стансы
 Риму"); не говоря уж о поэзии XX в.: ... Неузнаны, явились (помнят
 саги) | На стогнах Рима боги-пришлецы | И в нем остались до скон-
 чины мира... (Вяч.Иванов); Поговорим о Риме – дивный град |
 ... На дольный мир бросает пепел бурый... (Мандельштам; ср. другие
 формы выражения связи Рима с миром, природой, человеком: Не го-
 род Рим живет среди веков, | А место человека во вселен-
 ной; Природа – тот же Рим...; И морщинистых лестниц уступки
 | ... Поднял медленный Рим-человек и др.) и многое другое. Сле-
 дует подчеркнуть, что у многих русских поэтов имя *Рим* играет весь-
 ма активную роль не только в конструировании уровня больших идей
 (*мир, времена, храм, пилигрим, гром, имя/Риме/, мимо* как слово-ин-
 декс преходящести и т.п.), но и в организации звуковой цепи. Ср. из-
 любимое включение комплекса *рим* в соотнесенные, в частности, в
 рифмующиеся с *Рим* слова (*/не/зрим, дарим, горим, поговорим, пи-
 лигрим, неумолим* и т.п.), близкие к анаграмматическим построения
 (Как сладко дремлет Рим... /Тютчев/; Я мою Рим, я града ос-
 вятитель: / Я, нагрузив нечистым рамена... /Шевырев/; И смотрит
 седой исполин | Угрюмо в угрюмый окружный | Простор молчаливых ра-
 нин /"Рим" К.Павловой/; ср. "Римские сонеты" Вяч.Иванова и рим-
 ские фрагменты у Мандельштама), отсылки к латинскому имени Ри-
 ма – *Roma* (чаще всего через словоформу *гром/a/*; при этом иногда
 вводится подлинная форма – *Roma*; ср.: Вновь арок древних верный
 пилигрим, | В мой поздний час вечерним "Ave, Roma | Приветствую,
 как свод родного дома, | Тебя, скитаний пристаю, вечный Рим |
 Мы Тройю предков пламени дарим; | Дробятся оси колесниц меж
 грома | И фурий мирового ипподрома: | Ты, царь путей, глядишь, как
 мы горим /Вяч.Иванов/; И голубь не боится грома, | Которым
 церковь говорит: | В апостольском созвучьи – Roma | – | Он только
 сердце веселит /Мандельштам/; ср. также: Когда в тебе, веками пол-
 ный Рим, | По стогнам гром небесный пробегает | И дерзостно
 раскатом роковым | В твои дворцы и храмы ударяет: | Тогда я мню,
 что это ты гремишь... | И громом тем Сатурна устрашаешь /Ше-
 вырев/, ср.: О каменная летопись времен! | ... Здесь все таинственно –
 и каждый камень громок... "Стены Рима"; Отрывистый гром
 прогремел /"Рим" К.Павловой/; можно думать и о других способах
 синтеза *Roma*: Над Форумом огромная луна...; Или рим-
 ские перуны – | Гнев народа обманув... /Мандельштам/; О сколько
 раз, беглец невольный Рима, | С молитвой о возврате в час потреб-
 ный | Я за плечо бросал в тебя монеты! /Вяч.Иванов/, ср. *громадь*:
Рим ⊃ Roma).

Номиналистический аспект римской темы, заданный Вергилием
 (ср.. *Ne vetus indigenas nomen mutare Latinos | Neu Troas fieri
 iubeas Teucrosque vocari ... XII, 823–824 /ср. XII, 828/; Sermonem*

Ausonii patrium moresque tenebunt, | Utque est, nomen erit... XII, 834—835) в том месте "Энеиды", где впервые явно открывается перспектива Рима, многократно сублимировался позднее. Уже варвары ненавидели само имя Рима, как если бы оно было сутью Вечного города. Не отвергая Рима, более того, вождедея его, они стремились стереть его имя и назвать его заново. Атаульф "вначале горел желанием уничтожить само имя Римское (*oblitterato Romano nomine*), а всю землю Римскую (*Romanum omne solum*) превратить в империю готов и назвать ее таковою (*Gothorum imperium et faceret et vocaret*), чтобы была, попросту говоря, Готия из того, что некогда было Романией (*essetque, ut vulgariter loquar, Gothia quod Romania fuisset*)". *Oros. VII, 43, 4—5*. Связь имени Рима с меняющимся во времени городом стала распространенным мотивом номиналистической поэтической конструкции — *Et si par mesmes noms mesmes choses on nomme, | Comme du nom de Rome on se pourroit passer...* у Дю Белле (ср. еще: *Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome | Et rien de Rome en Rome n'aperçois, | Ces vieux palais, ces vieux arcz que tu vois, | Et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme*). Наконец, Мандельштам, равно постигший смысл и первоначальной немоты и милого имени, его повторения (Отчего душа так певуча, | И так мало милых имен или — в связи с имябожием — Каждый раз, когда мы любим, | Мы в нее впадаем вновь, | Безымянную мы губим, | Вместе с именем любовь), скажет — и как раз в связи с *Roma* — Я повторяю это имя | Под вечным куполом небес, | Хоть говоривший мне о Риме | В священном сумраке исчез.

2. Анаграмма в загадках

Звукопись в загадках не раз становилась предметом исследования и даже обращалось внимание на явления, в той или иной мере напоминающие анаграммы (ср., напр., соотнесенность звуковой формы ответа с неким словом в самом вопросе, о чем писал Е.Д. Поливанов), но сама проблема в целом не была сформулирована, несмотря на то, что жанр загадки в связи с анаграммой имеет совершенно исключительное значение. Дело в том, что сами анаграмматические тексты представляют собой, по сути дела, род загадки: анализируя некий текст, на основании ряда сначала не определенных элементов, нужно отгадать зашифрованное имя (ср. *Angiras, girah, anga* и т.п. в *RV I 1* позволяет открыть имя *Agni*; следовательно, предельно упрощая, можно сформулировать схему загадки: Что такое *Angiras, anga* и т.п.? — *Agni*). Но еще важнее то обстоятельство, что, если в обычных анаграмматических текстах практически удается реконструировать ответ лишь с известной вероятностью (о чем, в частности, свидетельствует разногласие в оценках таких анаграмм), то в загадках ответ, хотя и скрыт (по крайней мере, от части участников соответствующего ритуала), но в принципе он известен и однозначен. С этой точки зрения загадка может быть представлена как нечто обратное по отношению к анаграмматическому тексту: ответ (отгадка)

дан, причем в его стандартной звуковой форме; исходя из него, необходимо найти звуковую мотивировку ответа в тексте вопроса (ситуация школьника, знающего ответ математической загадки, но не умеющего найти процедуру его получения). Тот, кто умеет корректно и полно решать загадку (т.е. устанавливать звуковые и семантические связи между вопросом и ответом), в принципе может обернуть это умение и для открытия анаграмм в соответствующих текстах. К сожалению, значение опыта решения загадок для дешифровки анаграмм осталось за пределами внимания исследователей. Тем не менее, учет "анаграмматического" слоя в загадке дает возможность исследовать наиболее сложные и многократно переслоенные отношения между обозначаемым и обозначающим, не имеющие себе аналогий в пределах фольклорных жанров. В частности, знание практики анаграммирования позволяет правильно сформулировать (на основании соответствующих элементов вопроса) сам ответ, восстановив глубинную вопросо-ответную связь; решить проблему выбора наиболее аутентичных (напр., анаграмматически "сильных") вариантов вопроса к данному ответу и восстановить историю контаминаций вопросов; наконец, приоткрыть перспективу реконструкции наиболее ранних анаграмматических структур в самой загадке.

Далее следуют некоторые примеры "анаграмматического" слоя в русских загадках (внимание обращено на разнообразие типов; в отдельных случаях текст вопроса приводится выборочно). Ср. кодирование ответа по первым звукам или слогам слов в вопросе: Стоит пендра, на пендре лежит дендра и говорит кендре... — На печи лежит дед и говорит кошке...; В поле-то го-го-го, а в лесах-то гиги-ги. — Горох и грибы; связь через рифму (То блин, то пол-блина... — Луна; — Что в избе Фрол? — Стол; — Что в избе гадко? — Кадка; — Что в избе бодро? — Ведро; — Что в избе за копоть? — Лопоть /одежда/; — Сам с локоток, а борода с веник. — Молоток — Что не корыстно? — Коромысло и т.п.; ср.: Сивые кабаны все поле облегли. — Туман, что, вероятно, предполагает более старую форму: Сивый кабан... — Туман, перестроившуюся в результате новой связи кабаны — облегли); связь через *figura etymologica* (Двину, подвину по белому Трофиму... — Задвижка /т.е. *задвигка движётся*/); многочисленные случаи синтеза, звукового моделирования — частичного и полного, упорядоченного и перевернутого, комплексные типы и т.п. (ср.: Туша, у ней уши, а головы нет. — Ушат. — ... По берегу рыщет, гужища ищет... — Ушат; — По уши стоит в воде... — Ушат; — За леском, леском баба воет голоском. — Косу точат (собств. — ляск/лязг косы); слово, имитирующее акустический образ работы косой, само содержит анаграмму косы: леском /> лязг, ляск/ — коса); — Стоит сноха ноги развела... — Соха; Без рук без ног дверь отворяет/ворота отворяет, в подворотню ползет/. — Ветер; — Что на воде лежит, да не тонет? — Тень; Что в стену не вобьешь? —

Тень; Хоть весь день гоняйся за ней — не поймаешь. — Тень; —
 Под полом, под ярусом стоит кадушка с гарусом. — Капустя; —
 Стоит копытце полно водицы. — Колодец; — Выгляну в окошко: стит
 долгий Антошка. — Углы в доме; — Две снохи сидят, а свекров-
 ка пляшет. — Дверь; — Дерну, подерну, Егора за горло. — Дверь; —
 Стоит изба безугольна, живут люди безумны. — Улей; — Вороно — не
конь... — Таракан; — Черен да не ворон, рогат да не бык. —
Таракан; — Маленький шарик под лавкой шарит. — Мышь; — Под
 полом шевелит хвостом. — Мышь; Красенька Матрена, беленько
сердечко. — Малина. Лез Мартын через тын,... а голсу на тыну ос-
 тавил. — Тыква; Ножи тоненьки, кишки жиденьки, а кила, что го-
 лова. — Тыква; — Между гор, меж ям сидит птица холуян. — Огурец
 /ср. *холуян* в связи с названием *membrum virile*/; — Несут свинью к
овину, на обех концах по рылу. — Корыто; — Сорока — в куст..., со-
ловей — за ней... — Сковорода; — Сивая кобыла по торгу ходила. —
Сито; — Бежит свинья из Порхова, вся исторкана. — Терка; — У нас
 в избушке солодино имя. — Солоница; — Маленький мужичок — кост-
яная ручка. — Нож/собств., — Ножик чок/; — Шел прохожий, нес под
кожей. — Нож; — Без рук, без ног лапшу крошит. — Нож; Пять чу-
ланов, одна дверь. — Перчатки; — По плещи хлопну... — Блины; —
 По плещивому хлопну, на плещивого капну. — Блины; — Бегут, бегут
рябчики..., увидали море — бросились в море. — Брусника; — Пошла
щука до Киева, кости дома покинула. — Пенька; — Пан Панович пал
на воду. — Листья /точнее — падение листьев/; — Лежит Дороня, ни-
кто его не хорошит... — Дорога; — Лежит Данило — замазанное рыло.
Дорога; — Лежит Гася, простеглася, как встанет — небо достанет. —
Дорога; — Дядя Афанасий лыком подпоясан... — Веник; — Малень-
кий Ерофейко... — Веник; Две Пелагеи и обе нагие. — Оглоб-
ли; — Ангелы в Китаях, короли в Литвах, прилетел, прискакал Лисавет-
человек: "Дай мне булату, высеку палату из Петровой жены". — Огни-
во, кремеш, искра, трут; — Футка да фатка, футунди, футун-
дак да две футеницы. — Шайка, шуба, зипун, кушак, рукави-
цы /видимо, — Шуба, шайка,.../ и др.) и т.п. — Полная классифика-
 ция случаев такого рода с объяснением мотивировок помогла бы со-
 здаию первого варианта свода средств, используемых в практиче-
 ском анаграммировании.

3. Анаграммирование чужезычного слова

Синтез слова на чужом языке с помощью звуков, входящих в
 состав слов своего языка, относится к числу довольно редких и почти
 не исследованных явлений анаграмматической техники (впрочем, пре-
 цеденты отмечены уже в некоторых поэтических текстах, принадле-
 жащих архаичным традициям, не говоря уж о более или менее извест-
 ных случаях из новейшей поэзии на западных языках). При операциях
 такого рода в качестве "подтекста" выступает чужой язык. Расши-
 ряющаяся сфера поэтического билингвизма дает основание предпо-
 лагать, что у этого приема есть будущее (к постановке проблемы ср.

ценную статью Г.А. Левинтона). В русской поэзии анаграммирование чужезычного слова или, скорее, соотнесение некоторых звуковых элементов переводящего слова с аналогичным комплексом в переводимом слове берет начало, видимо, в случаях каламбурного характера (в частности, у Пушкина и отдельных поэтов-бонмотистов" его времени). Иногда речь идет о "счастливей" случайности (ср. у Жуковского в "Сельском кладбище": *исчезает* в соответствии с *fades... on the sight* /'исчезает' как сумма 'вянет' & 'взгляд'/) или ориентации на звуко-символические комплексы (*сумрак* – *glimmering*, там же), на "точность" рифмы (*приходил* – *находил* в соответствии с *Hill-Rill*, там же) и т.п. Об анаграммировании чужезычного слова как сознательном приеме можно говорить, начиная с акмеистических опытов (у Мандельштама /ср. уже отмечавшееся исследователями: "Камень" > $\alpha\kappa\mu\epsilon\iota\sigma\mu$: *акмеизм* / и Ахматовой прежде всего) и позже в творчестве Набокова. Здесь уместно привлечь внимание к одному ранее не отмечавшемуся случаю предположительной анаграммы этого типа. Традиционной мифологеме о ласточке как прирожденной летунье, радостной птице, приносящей весну, Мандельштам противопоставляет образ ласточки, описываемый совершенно иными признаками Ср.: *Слепая ласточка в вертог теней вернется | На крыльях срезанных...* (о забытом слове, которое необходимо сказать, о песне); *И живая ласточка упала | На горячие снега* и т.п. (ср. мертвую ласточку в связи с темой обманутой весны: *С стигийской нежностью и веткою зеленой...*). В этом ряду обращает на себя внимание еще один контекст: *Научи меня, ласточка хилая, | Разучившаяся летать, | Как мне с этой воздушной могилою | Без руля и крыла совладать...* и непосредственно перед этим *Будут люди, холодные, хилые, | убивать, голодать, холодать...* в мифологеме прерванной (оборванной) речи. Использование образа ласточки в этой мифологеме оправдано как особенностями образа ласточки, который уже до того складывался в поэзии Мандельштама, так и "мировым поэтическим текстом" о ласточке (Терей совершает насилие над Филомелой и, боясь раскрытия преступления, вырезает у нее язык; позже Зевс превращает "безъязыкую" Филомелу в ласточку; ср. использование этого мифа в софокловой "Трапезе Терей", у Овидия – "Метаморфозы" VI, 412–674, не говоря уж о более поздних обработках; незнание своего языка, чужезычность ласточки постоянно подчеркивается в загадках типа *Шитовило-битовило по-немецки говорило*, в поэзии, ср. статью А.Ф. Журавлева). Чужезычность ласточки отсылает (указывает на) к чужезычному ее обозначению в последней цитате из стихотворения Мандельштама – к ее имени на родном языке лишенной речи Филомелы, т.е. к др.-греч. $\chi\epsilon\lambda\acute{\iota}\delta\omega\nu$, синтезируемому из фрагментов русского текста *хил-, холод(н), голод-, люд-, лад-, лет-* и т.д., перенасыщающих контекст ласточки у Мандельштама. Конечно, синтезируемое $\chi\epsilon\lambda\acute{\iota}\delta\omega\nu$ обозначает не ту весело щебечущую ласточку (*Я ласточкой доволен в небесах...*) вестницу весны, которую радостно приветствовали греки на празднике

"Ласточкиных песен" или изобразил на знаменитой эрмитажной пелике Евфроний, снабдив сценку диалогом ("Смотри, ласточка!" – "Да, ласточка, клянусь Гераклом". – "Вот она! Уже весна!"), а именно Филомелу – Φιλομήλα (к Φιλ-; χελ-: *хил-*), которая теперь не сможет сказать правду на своем языке. Характерно, что перечисленные звуковые конфигурации, моделирующие χελιδών, входят, как правило, в русские слова с "отрицательной" семантикой (*хилая* /в рифме с *могилою*/, *холодные*, *холодать*, *голодать*), которая вполне приложима и к попавшей в беду ласточке – Филомеле с вырванным языком – речью. Этот нетрадиционный образ хилой ласточки (вместо быстрой, оживленной, веселой летуньи) отсылает к парадоксальному сверхязыковому и сверхчеловеческому смыслу и стоящей за ним ситуации. Этот парадоксальный смысл Манделъштам и соотносит с выходящей за границы русского языка (вне его находящейся) чужой формой – χελιδών, т.е. фактически с "не-формой", с тем, что ниже ее. Впрочем, элементы чужезычной анаграммы, кажется, связывают ее и с русской традицией описания смерти – *О ты, ласточка сизокрылая!* (ср. "подстроенную" рифму: *хилая*, а также *без...крыла при на крыльях срезанных...*) в стихотворении "На смерть Катерины Яковлевны...". Роль державинских произведений как "подтекста" для Манделъштама несомненна и не требует сейчас и здесь дальнейших доказательств. Но и анаграммирование "по-гречески" не должно вызывать удивления. Внутренняя форма слов греческого языка, ее тайная связь со смыслом, несомненно, занимали Манделъштама (ср. шуточное стихотворение /...*И меня преследует вопрос: | Приращенье нужно ли в аористе | И какой залог "непайдевок"?*/, написанное как отклик на не слишком удачный опыт изучения греческого языка; известный по мемуарной литературе вопрос об Аонидах и т.п.), и этот интерес вполне мог найти себе частичный выход в образе хилой ласточки – χελιδών. (См. дополнение на с. 179).

Вяч.Вс.Иванов

О СКРЫТОЙ ОСНОВЕ ТЕКСТА

Уже приходилось (например, доказывая предельную осмысленность структуры "заумных" текстов Хлебникова) сослаться на наличие первичной основы текста, которая может быть и известной первоначальному читателю, и загадочной уже для него. Ниже следует несколько иллюстраций, для наглядности взятых из текстов общеизвестных.

1. "Нам целый мир – чужбина, | Отечество нам – Царское село." Строки представляют собой пересказ и переименование общеизвестного древнегреческого афоризма для мудреца целый мир – отечество (все варианты и литература приведены в издании С.Я. Лурье *ἄνθρωπος σοφῶν πᾶσα γῆ βότη;* Демокрит, Л., 1970, с. 601–602); замечательный для своего времени разбор был дан в статье И.Ф. Анненского

"Афинский национализм и зарождение идеи мирового гражданства", — "Гермес", 1907, № 1, с. 24; № 2, с. 51, где процитирован в русском переводе и известный драматический отрывок (Eur. inc. fab. fr. 1047 Nauck):

ἄπας μὲν ἀπὸρ αἰετῶι περὶσιος,
ἄπατα δὲ χεῶν ἀνδρῶι γενναίῳ πατρί.
'Весь воздух — дорога для орла,
Вся земля — отчина для благородного мужа.

Отголосок последнего (или его пересказов) можно было бы видеть в пушкинском отрывке об орле, летящем мимо башен (сторожевых на границах) и кончающемся "Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона", где "закон" может пониматься в духе платоновского *θεῖος*, который для Гиппия — помеха природе. Возвращаясь к приведенным в начале пушкинским строкам, можно высказать предположение, что и Пушкину, и его товарищам по лицу античный афоризм был известен либо по чтению Фукидида (в связи с Периклом), либо из эпикурейской литературы. Следовательно, намек должен был быть понятен лицеистам, вместе с Пушкиным на занятиях читавшим античный текст или его школьный (латинский или французский) пересказ. Как и в других подобных случаях, наибольший интерес представляет не просто наличие исходного текста, но его переименование в окончательном тексте. В исходном тексте целый мир — отечество доброй (высокой) душе; Пушкин весь (целый) мир делает чужбиной, отечеством — Парское село. Но при этом его читатели-лицеисты читали и прямой смысл исходного текста в его строках.

2. "Кто меня своею властью | Из ничтожества воззвал" почти буквально совпадает с "Je ne sais qui m'a mis au monde" (B. Pascal. *Papiers non classés, série III, 427–194*); сходство двух текстов распространяется и на дальнейшие эквивалентные слова ("Ум сомнением взволновал" — "doute"). При возможности возникновения похожих мыслей независимо у обоих авторов, сходство словесного и синтаксического вопросного оформления не подлежит сомнению. В какой мере все стихотворение "Дар напрасный" связано (или только перекликается?) с Паскалем, еще надлежит выяснить.

3. "За всё, за все тебя благодарю я". Строка (и вся конструкция стихотворения, представляющая собой переименованное благодарение) является зеркальным воспроизведением молитвенного "Благодарите за все" и его прототипа в новозаветном тексте. Общеизвестность исходного текста делала избыточным его пояснение (как и евангельские аллюзии у Блока).

4. Историко-литературные данные о зависимости сюжета "Ревизора" от Пушкина проясняются сведениями о поездке Пушкина весной 1829 г., когда его привяли за чиновника и к нему стали являться. Видимо, рассказ об этом происшествии и был основой сюжета, взятого Гоголем. В этом случае нельзя ли аналогичные данные о "Мертвых душах" сопоставить с неожиданными "расчетами душ" в "Онегине" (XLVI, 13–14) и с каламбуром в "Уединенном домике" (ср. ком-

ментарий к Онегину Ю.М. Лотмана, с. 310): крепостные души – человеческие души, что достаточно близко к идее "Мертвых душ". В обоих случаях можно попытаться восстановить исходный устный пушкинский текст, легший в основу гоголевского.

5. "Что зубами мыши точат | Жизни тоненькое дно". Сходство хореического размера и совпадение части слов делают бесспорным сопоставление с "Жизни мышья беготня", где и предшествующие образы (вызвавшие интереснейший психофизиологический комментарий Ухтомского) достаточно близки к мандельштамовским.

Стоит заметить, что всякий раз центральной остается проблема преобразования исходного текста и расстояния между ним и конечным.

К ПРОБЛЕМЕ ШИФТЕРОВ В АНАГРАММАТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННОМ ТЕКСТЕ

Опубликование записей Соссюра об анаграммах породило целую литературу, в которой видное место принадлежит трудам Р.О.Якобсона, применившего открытый Соссюром принцип к широкому кругу литературных произведений. Особенно следует отметить блестящее его открытие в последней статье о Гельдерлине, где вся структура восьмистишия, обращенного к Диотиме, объясняется анаграмматической шифровкой имени *Susette Gontard*. Не исключено, что в тех строках, где наблюдаются 3–4 аллитерации, у Гельдерлина анаграмма ведет и к возобновлению в стихотворении, внешне напоминающем греческий стих, традиции германского аллитерационного стиха. Можно добавить некоторые дополнительные словесные анаграммы (*Diotima – im, Gontard – Tag*) к тем, внутренняя симметрия которых выявлена Р.О.Якобсоном. В духе его построений можно отметить и роль шифтеров в этом восьмистишии, целиком анаграмматическом. Местоимения-шифтеры *dich* и *dir* в последней строке *Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht* стоят между первым и последним словами и, может быть, откликаются во втором слове *Helden*. Предшествующая строка, особенно выделенная как предпоследняя и как единственная, содержащая самое имя Диотимы, включает именно ряд шифтеров-определителей (артиклей, местоимений) с тем же начальным *d-*. Возможно, что предшествующая четная строка содержит начальное *s* в *siehet* (на уровне букв, а не фонем, и в *sterblich*?), а ей предшествующая первая строка второго четверостишия такие же начальные фонемы в *Seelen* и *sind* (конечном слове строки). Последняя же строка первого четверостишия *Suchst du die Deinen in Sonnenlichte* опять-таки (как и последняя строка второго) содержит шифтеры, начинающиеся с *d* между первым и последним словами с анаграмматическими начальными фонемами (при этом – первое слово – *Suchst* содержит две первые фонемы имени *Susette*; как первое слово последней строки следующего четверостишия *Göttern* содержит первые две и почти все другие буквы фамилии *Gontard*). Не исключено, что сочетание *su* в этой последней строке в

какой-то степени подготовлено сочетанием *du* не только в шифтере, с которого начинается стихотворение, но и в *duldest* (с фонемной структурой, напоминающей *Helden*, симметрично расположенное в полярной — последней строке). Стоит ли привлекать для рассмотрения повторяющиеся начальные в *schweigst* в первых двух строках и в *verstehen* (начало второго слога) в первой строке, зависит от того, была ли у Гельдерлина установка на букву (в его "*Palmos*" *das gepfleget werde der feste Buchstab*), а не только на фонему.

В.Л.Цымбурский

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СПИСКОВ ИЗ II ПЕСНИ "ИЛИАДЫ".

Мнение о недостоверности "Каталога кораблей" как исторического источника в значительной степени основывается на трудностях передачи столь длинного списка без искажений в течение ряда столетий. Однако не следует исключать возможности передачи информации не в виде целостного "панэллинского" текста, но в форме разрозненных локально-племенных традиций, в гомеровскую эпоху сгруппированных вокруг общегреческого предания, часть которого составила основной сюжет "Илиады". Подобное происхождение можно предположить и для списка защитников Трои. Интересно, что, если ахейские войска группируются Гомером с учетом только родо-племенного и территориального признаков, то при построении их противников особо учитывается признак лингвистический (Ил. II, 803—806) — при этом в одну группу объединяются анатолийские племена (карийцы, меонийцы и ликийцы), а фракийцы сближаются с пеласгами, киконами и населением Трояды. Различие в структуре "ахейского" списка, состоящего из ячеек, включающих имена и характеристики вождей (N), характеристики племен (G) и число кораблей (Num), и списка защитников города, включающего только элементы N и G, т.е. неупорядоченного в числовом отношении, может представлять своеобразный рефлекс микенской бюрократической традиции.

Анализ "Каталога" показывает, что из 29 сегментов 24 построены по схеме G-N-Num или по ее модификациям: G-Num-N, G-N-G-Num-G, G-IV-G-N-Num. Из оставшихся 5 сегментов 4, по мнению большинства исследователей, являются позднейшими вставками (корабли Одиссея, саламинское войско Аякса, флот с Родоса и о-ва Сими). В списке защитников Трои из 16 сегментов 14 построены по схеме G-N или по ее простейшим модификациям. Поскольку в "Каталоге" имя вождя в 24 случаях синтагматически объединяется с числом кораблей, фундаментальная структура ячейки получает вид G-N/G-(N + Num). Так как уровень гомеровского текста характеризуется именно указанными риторическими модификациями, фундаментальная структура, очевидно, принадлежит уровню первичной организации

смысла, имеющей вид списка племен, на который набирается информация, относящаяся к каждому племени. Характерно, что пилосские списки серии 0-ка, с которыми принято сопоставлять гомеровский "Каталог", имеют стандартную структуру N-G-Num, т.е. представляют собой список начальников, на который набираются данные о вверенных им территориях и отрядах. Последняя форма, возможно, вообще более приемлема в тех случаях, когда оба элемента вводятся как новое и имеют одинаковую ценность для воспринимающего — так у Вергилия (Эн. VII.647—817, X, 166—214) при явной ориентации его "каталогов" на гомеровский образец господствует именно эта, чуждая Гомеру, схема. Результаты анализа хорошо согласуются с гипотезой о построении гомеровских списков путем нанизывания на перечень племен локально-племенных преданий (как малоазийских, так и балканских — греческих и негреческих). Объединение в фабуле "Илиады" версий, связанных с тремя крупнейшими этническими группировками в Малой Азии в гомеровскую эпоху — греками, анатолийцами (история Сарпедона и его памятника, легенда об Амисодаре, вскормившем Химеру, и т.д.) и выходцами с Северных Балкан (среди последних особо выделяется "потомки Энея", которых Гомер считает божественно предопределенными владыками Трояды в отличие от обреченного на гибель дома Лаомедонта), позволяет видеть в ней своеобразную общемалоазийскую версию троянских событий, порожденную многовековым симбиозом племен, некогда враждовавших под Троей (ср. предания о пребывании Гомера при дворе фригийских династов). Оказывается возможным поставить вопрос о принадлежности "Илиады" к типологической группе "эпосов пограничья" и на ее материале уточнить содержание данной категории.

Н.Н.Казанский

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЭМЫ СТЕСИХОРА "РАЗРУШЕНИЕ ТРОИ"

До появления в 1967 г. XXXII тома "Оксиринхских папирусов" в распоряжении исследователей были только девять слов из всей, судя по всему, довольно длинной поэмы Стесихора. Новые папирусные отрывки P.Оху.2619 и P.Оху.2803 увеличили наши знания о поэме в несколько раз. Число работ, посвященных отдельным фрагментам поэмы, довольно велико; попытка реконструкции всей поэмы в целом до сих пор не предпринималась. Между тем, возможности для такой реконструкции существуют. Благодаря работам М.Уеста и Р.Фюрера установлена метрическая схема поэмы, содержащая строфу, антистрофу (каждая по 8 стихов) и эпод, содержащий 10 строк (см. ВЛУ, 1976, № 2, с. 101). Таким образом, триада включала в себя 26 стихов. Фрагменты P.Оху 2619 происходят из свитка, который мог включать либо 27, либо 53 строки, как это установлено на основании фр. 1, содержа-

шего две колонки текста. Можно только поддержать мнение М. Уеста, что число 27 более правдоподобно. Свитки с произведениями поэтов включали не более 30 строк; даже для схолиев максимальное число строк в колонке 46 (Р.Оху.2438). При реконструкции свитка Р.Оху.2619 мы будем исходить из предположения, что все колонки текста включали по 27 строк. Это соображение может быть подтверждено высокой квалификацией писца, чрезвычайно малым пробелом между столбцами текста, соответствием конца строк первой колонки фр.1 началу строк второй колонки. Конечно настоящей гарантией правильности нашего предположения явилась бы разлиновка свитка. С другой стороны, несомненно, что писец ориентировался на расположение строк в предыдущей колонке. Приняв длину колонки в 27 строк, мы обнаружим, что метрическое содержание должно быть идентичным в каждой двадцать шестой колонке свитка. Остается распределить в пределах этих 26 колонок те фрагменты, которые содержат отчетливый след верхнего или нижнего поля и метрическая принадлежность которых установлена однозначно. Таким образом может быть установлено положение фрагментов 1, фр. 5, фр. 13, фр. 17, фр. 19. Для некоторых фрагментов можно указать на возможность их нахождения в одной из соседних колонок (таковы фр. 15, фр. 2, фр. 16, фр. 18). Два фрагмента (13 и 19) попадают в одну колонку, несмотря на то, что относятся они к различным событиям: речь Синона и сцена встречи Менелая с Еленой. Таким образом, получается, что свиток включал более 52 колонок, в пределах которых можно распределить упомянутые фрагменты, опираясь на пересказы у поздних греческих авторов, а также на т.н. Илионскую таблицу, имеющую указание, что изображение соответствует поэме Стесихора. Реконструкция сюжета предпринималась неоднократно, и достигнутые результаты представляются в значительной части надежными. Предлагаемая нами реконструкция свитка позволяет более или менее точно указать размеры лакун между фрагментами. Лакуны эти отчасти могут быть заполнены как папирусными фрагментами Р.Оху.2619 (напр. фр. 14, фр. 32) и Р.Оху 2803, так и схолиями к поэме.

А.В.Лебедев

АНАКСИМАНДР В 1 ДК: ОПЫТ ИСТОЛКОВАНИЯ

Simpl. in Phys., 24, 18 = 12 В 1 Diels-Kranz $\xi\zeta \delta\upsilon\nu \delta\epsilon \eta \gamma\epsilon\nu\epsilon\sigma\iota\varsigma \epsilon\sigma\tau\iota \tau\omicron\iota\varsigma \omicron\upsilon\sigma\iota, \kappa\alpha\iota \tau\eta\nu \varphi\theta\omicron\rho\alpha\nu \epsilon\iota\varsigma \tau\alpha\upsilon\tau\alpha \gamma\iota\nu\epsilon\sigma\theta\alpha\iota \kappa\alpha\tau\grave{\alpha} \tau\omicron \chi\rho\epsilon\omega\nu$.
 $\delta\iota\delta\omicron\nu\alpha\iota \gamma\grave{\alpha}\rho \alpha\upsilon\tau\grave{\alpha} \delta\iota\kappa\eta\nu \kappa\alpha\iota \tau\iota\sigma\iota\nu \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\iota\varsigma \tau\eta\varsigma \acute{\alpha}\delta\iota\kappa\iota\alpha\varsigma \kappa\alpha\tau\grave{\alpha} \tau\eta\nu \tau\omicron\upsilon \chi\rho\omicron\nu\omicron\upsilon \tau\acute{\alpha}\xi\iota\nu, \pi\omicron\iota\eta\tau\iota\kappa\omega\tau\epsilon\rho\iota\varsigma \acute{\alpha}\upsilon\tau\omega\varsigma \delta\nu\omicron\mu\alpha\sigma\iota \alpha\upsilon\tau\grave{\alpha} \lambda\epsilon\gamma\omega\nu$. Сохранный Симпликием фрагмент Анаксимандра примечателен в трех отношениях: 1/ перед нами древнейший аутентичный (по метафорике) текст европейской научно-философской традиции, причем содержащий формулировку некоего универсального закона; 2/ за последние 100 лет

три строки из Симпликия обросли уникальным по объему герменевтическим корпусом, но 3/4 ничего похожего на общепринятое или хотя бы сколько-нибудь внушающего доверие толкования не существует. Причина нынешнего положения – неправильное и *совершенно невозможное* понимание семантики и отнесенности ἀλλήλοισι, разделяемое всеми соперничающими толкованиями. Со времен Бернета (1892), впервые отклонившего "старое" толкование (рождение вещей или миров из беспредельного как "преступление" и уничтожение в него как "наказание") как "фантастическое", постоянно повторяется, что ἀλλήλοισι может относиться только к "вещам", поочередно "наказывающим друг друга" после πλεονεξία (смена времен года и т.д.). Но ἀλλήλων отнюдь не всегда означает "взаимность" и "двусторонний" характер действия: **Thus. II, 70** ἀλλήλων ἐγγύουντο [потидейцы во время голода] "ели друг друга" не означает, например, что "потидеец А ел потидейца В", а "потидеец В ел потидейца А". Роли "истца" и "ответчика" так же необратимы, как роли каннибала и его жертвы, и "выплата законной компенсации" может осуществляться только "в одном направлении" – иначе само понятие δίκη лишается смысла. Ἀλλήλοισι – термин гражданского права (случай δίκη ἴδιος), означающий, что "выплата штрафа" осуществляется "между сторонами", а не в пользу казны, как в случае государственных преступлений (γραφή). Когда Диодор (I, 38) говорит ἀλλήλοισι δίδοναι τὸ δίκαιον τοῖς ἀνθρώποις, то это всего лишь брахилогия вместо δίκας δίδοναι καὶ λαβεῖν παρ' ἀλλήλων Herod, 5, 83. Стоит это осознать, как формально-смысловая структура фрагмента станет прозрачной. Фрагмент отчетливо распадается на две части: абстрактную (ἐξ ὧν... τὸ χρεῶν), формулирующую некий закон в терминах предельной общности (Α), и метафорическую (δίδοναι ...τάξιν) эксплицирующую (γάρ) этот закон в терминах судебного-правового кода (Β). В (Α) мы имеем дело с оппозицией "элементы" (τὰ, ἐξ ὧν) – "вещи" (τὰ ὄντα), в (Β) с оппозицией "истец" – "ответчик". Ясно, что "истец" – метафорический эквивалент "элементов", "ответчик" – "вещей", "выплата компенсации" – "уничтожения". Чтобы истолковать В 1, надо найти метафорический эквивалент "рождения" и определить характер судебного процесса, т.е. уточнить роли "истца" и "ответчика". Ключ – выражение κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν "согласно [заранее] назначенному сроку" (наиболее вероятный смысл ввиду параллельного κατὰ τὸ χρεῶν "согласно предназначению"). В какой юридической ситуации "выплата компенсации" происходит "согласно назначенному сроку"? Ответ может быть только один: в случае "займа" или "ссуды". Отсюда: "рождение" = "займ", (δανεισμός), "элементы" = "кредиторы" (δανείσαντες), "вещи" = "должники" (δανεισόμενοι). При рождении вещи "занимают" элементы на определенный срок (срок своей жизни) и при уничтожении "в те же самые элементы, из которых они возникли", возвращают долг кредиторам "заимообразно" (ἀλλήλοισι). Правильность этого толкования подтверждается следующими текстами – незамеченными парафразами фр. В 1 в независимой (стоической) доксографии: Heraclit ., Qu. Hom., 22, 10 πᾶν γὰρ τὸ φερόμενον ἐκ τινῶν εἰς ταῦτα ἀναλύεται διαφθειρόμενον, ὥσπερ εἰ τῆς

φύσεως ἃ δεδάνεικεν ἐν ἀρχῇ χρέα κομίζομένης ἐπὶ τέλει "Все, что возникает из каких-либо (элементов), в них же и разлагается при уничтожении, как если бы природа взыскивала под конец те долги, которые она ссудила в начале".

Philo Alex. (?), *De posteritate Caini*, 5. καὶ γὰρ αἱ τῶν τετελευτηκότων ἀναστοιχειούμεναι μοῖραι πάλιν εἰς τὰς τοῦ παντὸς δυνάμεις ἐξ ὧν συνέστησαν ἀποκρίνονται, τοῦ δανεισθέντος ἑκάστῳ δανείσματος κατὰ προθεσμίας ἀνίστους ἀποδιδόμενου τῇ συμβαλοῦσῃ φύσει, ὅποτε βουληθεῖν τὰ ἑαυτῆς χρέα κομίζεσθαι. "При разложении трупов на элементы доли [каждого элемента] снова выделяются в те мировые стихии, из которых они [=живые существа] образовались: каждый возвращает одолженную ему ссуду согласно неравным [для разных существ] срокам природе-заимодавцу, когда ей будет угодно-взыскать причитающиеся ей долги". На денотативном уровне фр. В 1 имеет, вероятно, двойную отнесенность: 1/ "вещи" = "живые существа", "элементы" = внутрикосмические стихии (земля, вода и т.д.); 2/ "вещи" = миры-небосводы, "элементы" – экстракосмическое объемлющее, представляющее собой анаксагоровскую смесь (в этом смысле толкование Г.Чернисса получает подтверждение). В оригинальном тексте, вероятно, содержалась аргументация от микро- к макрокосмосу: подобно тому, как все живые существа по истечении назначенного долгового срока разлагаются на элементы, так и миры (у Анаксимандра – тоже "живые существа" – "боги")... Грандиозное пророчество о грядущей гибели "богов", но это не все.

Философский смысл. Фр. В 1 – древнейшая формулировка "закона сохранения материи". Свидетельство Аристотеля (Метаф. 983 b 12, 18 etc.), согласно которому закон сохранения разделялся большинством "физиков", т.е. получает дополнительное подтверждение, а распространенное утверждение (Хельшер, Стоукс и др.), что закон сохранения "не мог" быть сформулирован "до Парменида" следует отбросить как очередной гегельянский миф. В текстах долговых обязательств существенную роль играет понятие "недостачи" (ἐλλείπειν). Закон Анаксимандра запрещает "недостачу" в процессах переразложения корпускул "вечной природы" и параллельно дублируется "безграничным" (ἄπειρος), т.е. "неисчерпаемым" богатством Объемлющего (12 A 15 μὴ ὑπολείπειν γένεσιν κτλ.; A 14 ἴνα μηδὲν ἐλλείπη ἢ γένεσις), которое служит кладовой всевозможных семян или казной, ὅθεν ἀφαιρεῖται τὸ δανειζόμενον, Влияние экономической метафоры В1 – у Анаксимена В 3 (воздух должен быть "богатым", чтобы не иссякнуть-разориться) и Гераклита: ср. "нищету и изобилие" огня (В 65) и особенно В 90 πρὸς ἀνταμοιβὴν τὰ πάντα "все (мир) – залог огня"; залог-вещи по истечении долгового срока (великого года) снова "поменяется" на огонь-золото. В плане *Weltanschauung* новое толкование подтверждает догадки о "пессимизме" Анаксимандра: человек весь без остатка – δάνεισμα "ссуда", подлежащая возврату, – словно намеренный контраст с иудео-христианской концепцией χάρισμα "благодати, бесплат-

ного дара". Все единичное и конкретное (в анаксимандровском смысле: *συγκριόμενα*) бытие "чужое" и не принадлежит самому себе – имплицитно здесь уже заложен и закон каузальности: причинная "обусловленность" кодируется как экономическая "зависимость", "задолженность". То, что генеалогическая и персоналистическая картина мира была впервые упразднена в Милете 6 века параллельно наплыву феноменов "отчуждения" (монетная система родилась у Анаксимандра на глазах), едва ли можно считать случайностью.

Аутентичность. *ἔξ ὧν, εἰς ταῦτα* – аутентично; *γένεσις, φθора*, *ὄντα* – нет. Сравнение со стоическими редакциями заставляет задуматься и о полноте сохранности метафорической части фрагмента. *Γένεσις, φθора*, вероятно, перипатетические субституты механистической терминологии: *ἔπο-, συν-, διακρίνεσθαι*: ср. *ἔποκρίνονται* у Филона. Анаксагоровский термин *μοῖρα* (а возможно, и *στέριστα*, ср. *sempitaliter*, *Dox.* 171), также, вероятно, заимствован у Анаксимандра вместе с *ἔποκρίσις* – терминологией, упразднявшей "рождение" и "смерть" как "неправильные" слова греческого языка. *Τὸ χρέων* (один из стоических терминов для "судьбы") не обязательно аутентично и возможно, – стоическая интерпретация мотива *χρέος*. Нет больше никаких оснований сомневаться в достоверности свидетельства Теофраста (*Simpl. Phys.* 27, 11 сл.) об особенно тесной близости системы Анаксимандра и Анаксагора (*ἔκεῖνος* – Анаксимандр). Анаксимандр – это Анаксагор за вычетом "Нуса".

Перевод. Из каких (элементов) имеет место возникновение вещей, в те же самые (элементы) и уничтожение происходит согласно роковому предназначению: "они выплачивают правосудное возмещение неправды (= "ущерба") заимообразно согласно назначенному сроку времени", как он сам говорит об этом [= об абстрактном "возникновении и уничтожении"] в более поэтических выражениях.

Эккурс: происхождение греч. *χρέων*. Ввиду особой юридической значимости слова *χρέων* (ср. архаический мотив "суда Времени" у Солона и т.д.), можно предположить, что оно этимологически родственно *χρέος* "долг" и первоначально означало "долговой срок". Фонетических трудностей, кажется, можно избежать путем сопоставления *χρ-ώνος*: *χράω*: *χρήσασθαι* = *θρ-ώνος*: *θράνω*: *θρήσασθαι*. Ср. смысловую связь между "долг" и "долгий" (ЭССЯ, 5, 180).

Н.В.Брагинская

О КОМПОЗИЦИИ "КАРТИН" ФИЛОСТРАТА СТАРШЕГО

"Картины" Филострата Старшего представляют собою 64 отдельных озаглавленных описаний картин. В рукописной традиции прослеживается деление описаний на две и в менее надежных рукописях на четыре книги. При том и другом делении расположение описаний представляется хаотичным. Как известно, еще Гете сетовал на *Verworren-*

heit сборника. Принято считать, что автор "Картин" слудует за экспозицией пинак в галерее — отсюда бесформенность сочинения.

1. Сорок лет назад К. Леман-Хартлебен предложил свое объяснение порядка следования картин-эпизодов. Его остроумная гипотеза остается до сих пор единственной попыткой разобраться в последовательности картин и принципах объединения их в циклы. Взяв за основу архитектуру италийских портиков эпохи Филострата, Леман-Хартлебен "развесил" в пяти его залах, учитывая окна и двери, почти все картины сборника. Он расположил их по стенам в два и три яруса, причем так, что зал в целом и ярус зала оказались семантически объединенными циклами. Филострат же, по мнению исследователя, описывая и объясняя для слушателей картины сначала на одной, а затем на другой стене, не учитывая ярусов и порой начиная с конца, разрушает замысел создателя галереи.

2. Несмотря на большое изящество, решение Лемана-Хартлебена имеет некоторые существенные недостатки. Дело не только и не столько в том, что иные из картин объединены в одном ярусе произвольно. Удивление вызывает скорее то, что упорядоченность приписана галерее, а книге в ней отказано. Пусть мы признаем существование галереи и зная, что Филострат говорит о пинаках, а не стенной росписи, которая может быть создана по единому плану, согласимся все же и с тем, что частному коллекционеру удалось составить циклы из имевшихся у него картин. Но как понять равнодушие просвещенного софиста к организации текста и внимание к документальному воспроизведению порядка своей лекции? Нам представляется очевидным, что Филострат создавал свою книгу как художественное произведение, рассчитанное на читателя в любом конце империи, а не как памятку-конспект своей лекции в неаполитанской галерее. И независимо от того, существовала ли в неаполитанском предместье галерея или нет, в книге разумно искать упорядоченности литературной композиции, а не музейной экспозиции.

3. В настоящее время оживился интерес к нумерическому исследованию структуры текста. Нумерический анализ "Картин" также дал несколько результатов. Так, при подсчете объемов двух книг, содержащих по 30 (Предисловие мы не учитываем) и 34 картины-эпизода (объем исчисляется в строках тойбнеровского издания) обнаружилось, что объемы эти соотносятся так же, как количество эпизодов, с очень большой точностью. Это было бы тривиально, будь эпизоды примерно одинакового размера, между тем их объем колеблется в I-ой книге от 18 до 112 строк, а во II-ой от 21 до 188. Такое совпадение отношений может быть и случайным, однако, нам удалось заметить и другие признаки нумерической выверенности текста книги. Так, если расположить объемы эпизодов-картин в порядке возрастания, обнаружится, что они растут очень плавно, без скачков, каждая следующая картина равна предыдущей или отличается от нее на 1–3, реже 5 строк. Только в конце ряда происходит разрыв плавности и следуют картины-описания

"аномально большие". Для случайного распределения такая плавность, а следовательно разнообразие объемов, вообще говоря, странны. Еще одна закономерность. Если эпизоды в интервале от 29 до 44 строк считать нормальными, а менее 29 и более 44 соответственно малыми и большими, то обнаружится, что нормальные эпизоды, которые составляют половину общего числа эпизодов в сочинении в целом, в первой книге распределяются по некоторому правилу: подряд могут идти только нормальные эпизоды, а до и после больших и малых помещаются только эпизоды другого разряда, т.е. большие окружены нормальными и малыми, малые — нормальными и большими. Такое чередование объемов картин свидетельствует о стремлении к равномерному разнообразию: норма преобладает, но регулярно нарушается. Аномально большие описания (I, 12 "Босфор" — 112 + небольшая лагуна; I, 28 "Охотники" — 95; I, 6 "Эроты" — 93; I, 9 "Болото" — 74; II, 17 "Острова" — 188) занимают отмеченные места, а их величины соотношены друг с другом. Так, в самой большой картине II-ой книги и всего сочинения, в "Островах", находится центр второй книги с точки зрения ее объема. В самой большой картине I-ой книги и второй по величине во всем сочинении, "Босфор", проходит золотое сечение объема этой книги. Две почти равные картины "Эроты" и "Охотники", следующие по величине, составляют в сумме объем "Островов" и расположены ближе к началу и концу I-ой книги, как бы уравнивая концентрацию объема в центре II-ой книги. Следующая по величине картина "Болото" почти равна "Панфее", второй по величине картине II-ой книги, у которой общий с "Болотом" порядковый номер ("Болото" — I, 9, "Панфея" — II, 9). "Панфеей" следует дополнить список аномально больших картин, исходя из семантических переключек нумерически симметричных "Болота" и "Панфеи", хотя по объему (70) она и не отличается резко от других картин II-ой книги.

4. Было бы странно, если бы эти и некоторые другие нумерические соответствия присутствовали в содержательно хаотичном произведении. Действительно, нам удалось установить некоторые внутренние связи картин между собою, в ряде случаев поддержанные нумерическими соответствиями.

а/ С точки зрения объема центральной в I-ой книге является I, 15 "Пасифая". Относительно этой картины устанавливается симметрия: описания, симметричные относительно "Пасифаи" по номеру, семантически связаны. Так, Менекей (I, 4), герой начала Фиванской войны симметричен герою ее исхода Амфиараю (I, 26); чудесный кифаред первой части (Амфион — I, 10) сопоставлен чудесному авледу второй (Олимп — I, 20); невесте Ариадне (I, 14) симметрична невеста Гипподамия (I, 16); гибнущий в цвете лет и сравниваемый с цветком Мемнон (I, 7) симметричен гибнущему и превращающемуся в цветок юноше Гиацинту (I, 23) и т.д.

б/ Однако первая книга делится, видимо, не на две, а на три части. 1 цикл: 1-12, 2 цикл: 13-24, 3 цикл: 25-29 — концовка — 30. Каж-

дый из этих циклов имеет свое весьма прихотливое устройство. Структура первого цикла основана на чередовании описаний драматических событий с выделенным в них протагонистом (А) и, так сказать, "дивертиментов", без сюжета и с множеством персонажей, вроде эротов (В). Структура такова: АВВАВВ+ ААВААВ. Второй цикл посвящен Дионису от его рождения (Семела I, 13); до триумфа (Андрийцы I, 24), однако, в него введены две пары "посторонних" картин (Пасифая и Гипподамия, I, 15, 16; Нарцисс и Гиацинт, I, 22, 23), но места "посторонних" картин не случайны: они избраны так, что переключение темы способствует драматизации дионисова цикла.

В соответствии с воображаемой аудиторией (в Предисловии Филострат представил свои описания беседой, обращенной к юношам) лейтмотив I-ой книги — образцовый юноша или муж. Такие картины в первом и втором цикле следуют, начиная с четвертой картины цикла и через каждые две картины. Отступление от правила — интервал в три картины между I, 16 и I, 20 — сглажено тем, что I, 20 является *продолжением* I, 19, составляя с этим описанием как бы одну картину. Тема доблести и добродетели юноши и мужа, "накапливавшаяся" в течение всей книги, сконцентрирована в третьем цикле, который целиком посвящен ее варьированию. Добавим, что описания нормативного героя (за исключением I, 28) укладываются в интервал 29—44 строки, т.е. в пределы нормальных по объему описаний.

с/ Во второй книге не удается обнаружить ясной структуры как в соотношениях объемов, так и в семантической симметрии. II-ую книгу можно поделить на три или четыре части. 1 цикл: I—12 — Афродита, ее почитатели и враги, и Музы (тема заявлена уже в II, 1 "Гимнистки", где девушки под руководством "Сафо" воспевают Афродиту); 2 цикл: 13—19 — борьба с диким, до-культурным состоянием природы и людей, море как стихия дикости, противостоящая человеку и культуре; этот цикл начинается в месте золотого сечения II-ой книги по объему; 3 цикл: 20—25 — Геракл и его подвиги; этот цикл можно считать примыкающим ко второму, потому что Геракл, освобождавший землю от чудовищ, стоит на границе дикости и культуры; 4 цикл: 27—34 — этой части трудно дать название, семантически картины объединяются лишь попарно; они производят впечатление аппендикса. На характер дополнения указывает и II, 26 "Ксении" — описание "натюрморта", завершающее три предыдущих цикла, так же как "Ксении" I, 30 завершают три цикла первой книги.

d/ Концовки и обрамления в "Картинах" представляются следующими. В предисловии божества Горы, именуемые живописцами природы, пестро одевают луга; они вновь появляются в последней картине сочинения II, 34 "Горы": здесь они пляшут на лугах и дарят художнику талант живописца. Внутри II-ой книги Горы соотносятся с "Гимнистками" /II, I/, которые описываются в выражениях близки к описанию Гор. Два одинаково названных описания "Ксении" I, 30 и II, 26 завершают первую книгу и наиболее упорядоченную часть второй.

е/ Удастся установить также симметрию первых 10-ти картин в обеих книгах, а может быть, и 12-ти, т.е. тем самым первых циклов той и другой книги, равных к тому же по объему. Параллелизм здесь не только прямой, как скажем, Мемнон (I, 7) подобен Антилоху (II, 7), но и перекрестный (I, 1 "Скамандр" – II, 2 "Воспитание Ахилла", I, 2 "Космос" – II, 1 "Гимнистки"), контрастный и т.п.

г/ Слово *συμμετρία* в значении соразмерности, а не симметрии в современном смысле, Филострат использует в "Картинах" четырежды, причем трижды в многозначительных контекстах и композиционно важных местах так, словно автор указывает ключ к разгадке своего сочинения: в предисловии: "благодаря *συμμετρία* искусство причастно логосу"; в "Пасифае", т.е. центральной по количественной и семантической симметрии картине: "соблюдая *συμμετρία*, в коей устремлена демиургия"; в "Островах" речь идет об острове, разошедшемся надвое, так что по соразмерным (*συμμετρία*) очертаниям берегов видно, что выпуклости соответствуют впадинам, и соединенном мостом. Когда мы видим, что этот пассаж разделяет вторую книгу точно надвое, он производит впечатление иносказательной аллюзии на устройство книги. Заметим, наконец, что симметрия упоминается в центре первой книги в связи с природой искусства ("Пасифая" – единственная картина, где предмет изображения – художник), а во второй в связи с, так сказать, искусством природы. Таким образом, оба упоминания симметрии представляют собою разработку теоретических взглядов автора, высказанных в Предисловии. А именно, после слов о "симметрии, благодаря которой искусство прикосновенно логосу", Филострат пишет: "А для того, кому желанно утонченное знание, [живопись] – изобретение богов и по тому, что видно на земле, когда Горы расписывают луга, и по тому, что является взору на небе, а для изыскивающего происхождение искусства – подражание, древнейшее и самое сродственное природе изобретение".

Е.Г.Рабинович

ПРЕДСМЕРТНЫЕ СЕНТЕНЦИИ

Предсмертные слова представляют собой не обязательный, но ожидаемый элемент античной биографии и существенный элемент биографического предания в целом (отраженного не только в жизнеописаниях, но и в историческом повествовании, сборниках анекдотов и сентенций и т.д.), Наиболее ожидается предсмертная речь от философа – отсюда неудовлетворенность Цельса молчаливой смертью Иисуса, отсюда и комизм чрезмерности (предполагающий наличие нормы) в описаниях Светонием смерти ратора Альбуция Сила. Предсмертные

слова философа — финал и итог его философской рефлексии и потому легко воспроизводятся или сочиняются биографом, знакомым с соответствующей доктриной. Этикет, навязанный философией литературе, а литературой философам, распространяется и на политических деятелей, однако биографическое правдоподобие дается в этом случае труднее: деятельная жизнь, вынужденно противоречивая политика, часто насильственная смерть плохо согласуются с высказыванием предсмертных сентенций. Между тем интерес к особенностям поведения политика обычно велик, поскольку особенности эти и значимее, и труднее уловимы, чем у мудреца ("стоик" — довольно подробная характеристика личности, "принцепс" — не характеристика вообще). Вот два равно недостоверных варианта предсмертных слов Гальбы: "Что вы делаете, соратники? я ваш и вы мои!", и "Бейте, если это нужно государству!". В первом — желание спастись, во втором — готовность к смерти, но в обоих — приверженность Гальбы нормам староримского аристократического этикета, отмечаемого всеми биографами этого неудачливого узурпатора. Можно полагать, что предсмертные слова политика целесообразно рассматривать как речь на языке его индивидуального (но обязательно эксплицированного) этикета, опознанного биографом (историком), знакомым с соответствующей этикетной традицией. Индивидуальный этикет есть форма освоения традиции; но затем традиция (и прежде всего — биография) в свою очередь осваивают и дооформляют этот индивидуальный этикет, преобразуя его в легенду¹, или — что интереснее — в несколько противоречивых легенд. Биографическая легенда — феномен истории культуры, между тем как политическая деятельность разворачивается в сфере гораздо более широкой, чем только культурная. Поэтому случаи, когда легенда покрывает собой всю деятельность героя — то есть когда все тексты поведения обусловлены единым этикетом — среди биографий политиков редки: это немногочисленные образцовые для данной традиции персонажи, чей практический неуспех компенсируется огромным культурным влиянием (такая подмена осознавалась: "Мил победитель богам, побежденный любезен Катону"). На фоне усредненной нормы политического этикета — единого, но ограниченного неэтикетным "историческим" поведением — вышеописанное явление может рассматриваться как Гипертрофия этикета (нарушение ограниченности). Имеется и другой вид этикетной аномалии — нарушение единства или этикетный плюрализм, результатом которого оказывается "загадочный герой", воспринятый традицией как некий комплекс легенд. Характерный пример такой биографической загадки — Юлиан Отступник. В трех вариантах его предсмертных слов отражены три этикета и три легенды. Знаменитое "Ты победил, Галилеянин!" вводит Юлиана в сложившуюся схему церковной истории в одном ряду с другими гонителями христианства (образцовыми злодеями, к числу которых относится Юлиан не только в "Золотой легенде", но и у Лоренцо Медичи). Философское "Не нужно жалеть государя, уходящего к звездам" близко воспроизводит предсмертные слова Плотина в передаче Порфирия и соотносится с кружковым этикетом неоплатоников. В третьем, специфически

римском варианте Юлиан благодарит смерть, избавляющую его от позора поражения, и отказывается назначить преемника — это этикет образцового принцепса. Именно в соответствии с последней легендой изображает Юлиана Аммиан Марцеллин, рассматривающий богословские пристрастия императора как легкомыслие. Перечисленные варианты отражают также и бесспорное противопоставление "эллинского" Юлиана "латинскому". "Эллинский" Юлиан — прежде всего богослов, то есть в языческой легенде "философ на троне", в христианской — колдун и слуга сатаны. Доминирующий в новоевропейской традиции "грек Юлиан" предстает соответственно то рефлектирующим мечтателем не от мира сего, то борцом с суевериями, то типичным сыном своего времени, чей эклектический платонизм способен выразиться лишь в категориях христианской аскезы. "Латинский" Юлиан — прежде всего полководец, восхваляемый Аммианом и порицаемый Августином, чьи противоположные, но однотипные оценки в известной мере нейтрализуются отзывом Пруденция, соотносимым также и с "эллинской" версией:

Память мальчишечьих лет: вот он, славный речью и делом,
Войска всесильный вождь, закона мудрый зиждитель,
Верный отчины оплот — лишь вере он не был оплотом.

¹ Характерный пример — слова В.Л.Пушкина: "Как скучен Катенин!" (вариант — "Как скучны статьи Катенина!"), сказанные А.С.Пушкину. Василий Львович умер лишь на завтра, находясь в сознании и беседуя с посетителями. А.С.Пушкин об этом знал и, тем не менее, через три недели в письме к Плетневу приводил слова дяди именно как предсмертные ("умереть честным воином... с боевым кличем на устах"). По воспоминанию Вяземского Пушкин говорил, что услышав цитируемую сентенцию, "вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически" — но в таком случае он и оказывается реальным автором "предсмертных" слов Василия Львовича, поскольку лишь он придал итоговую значимость заурядной для старого арзамаса фразе (ср. "С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт...").

Л.А.Гиндин

ИЗ КОММЕНТАРИЯ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО О СЛАВЯНАХ:

Proc. V. VII, 14, 29; 24

Рассматриваемые ниже два отрезка текста, связанные между собой по смыслу, принадлежат к довольно пространному этнографическому пассажию о славянах в Готской войне (V. VII, 22–30). В нем не щедрый вообще на этнографические подробности автор сообщает конкретные сведения о склавинах и антах: их правлении, нравах, религии, внешнем облике, манере поведения в сражении и, наконец, дает некоторые сведения бытового и экономического свойства. На фоне достаточно богатых свидетельств ранневизантийских авторов

о славянах, избранные отрывки уникальны, по крайней мере, в трех отношениях. В них Прокопий сообщает: 1) καὶ μὴν καὶ ὄνομα Σκλαβηνοῖς τε καὶ Ἄνταις ἐν τῷ ἀνέκαθεν ἦν "и даже имя у склавинов и антов было вначале одно" (В. VII, 14, 29, ср. Iord. Get. § 34, 119 – о венедах как общем имени славян); 2) Σπόρους γὰρ τὸ παλαιὸν ἀμφοτέρους ἐκάλουν "Действительно в древности оба /племени/ называли спорами" (ibid.); 3) опираясь далее на омофонию Σπόροι и σποράδην, ср. эгейск. о-в Σποράδες, в духе излюбленной древними авторами этимологической игры с именами собственными, поясняет: ὅτι δὴ σποράδην, οἶμαι, διεσκηνημένοι τὴν χώραν οἰκοῦσι. διὸ δὴ καὶ γῆν τινα πολλὴν ἔχουσι· τὸ γὰρ πλεῖστον τῆς ἐτέρας τοῦ Ἰστροῦ ὄχθης αὐτοὶ νέμονται "я думаю потому, что они населяют землю располагая жилища рассеянно. Именно поэтому они занимают неимоверно (букв. неопределенно какую) обширную землю, ведь они обретаются (букв. кочуют, пасутся, кормятся) на большей части другого /левого/ берега Истра" (ibid.).

При использовании всякого литературного текста в качестве исторического источника, будь то Гомер, или ранневизантийский историк, необходимо осуществить многомерную семантическую реконструкцию, дабы совместить насколько возможно адекватно историю мыслимую, отраженную и историю как реальную цепь конкретных событий. Аутентичность перевода – лишь необходимая черта *sine qua non* этой реконструкции, достигаемой серией филологических операций: изучением речевого узуса автора, куда входит лингво-семантический анализ ключевых терминов, выявлением его стилистико-композиционных принципов, целевых установок, с обязательной поправкой на идеологию автора и т.п. В таком случае текст, являясь основным, часто единственным, источником реально-семантической реконструкции, накладывает жесткие ограничения на любые построения, так или иначе связанные с ним, в том числе на этимологию. Одним из таких негативных требований является нецелесообразность выхода за пределы данного текста, пока все его ресурсы не исчерпаны полностью. Обратимся к анализу текста. Гапакс Σπόροι – отражение конкретного туземного названия; оно не может быть калькой-передачей слав. *žęda (мн.) уже потому, что Прокопий, глоссируя этноним, в своем толковании ориентируется на его омофонию с греч. апеллативом σποροι (мн.) "семена" и дальнейшую семантическую (и морфологическую) филиацию с наречием σποράδην "рассеянно" включающих Σπόροι в семантическое поле глагола σπείρω "сеять" "разбрасывать" (ср. διάσπορα "рассеяние"). Стремлению Прокопия обосновать свою этимологию реально-историческими фактами наука обязана бесценными сведениями о характере хозяйственно-экономической деятельности, некоторых чертах связанного с этим образа жизни славян и области их обитания в начале эпохи колонизации Балканского п-ова. Следует обратить особое внимание на медиальное причастие διεσκηνημένοι от специфического глагола διεσκηνάω в основном значении "раскидывать шатер, разбивать палатки, располагаться лагерем",

семантически и формально-узуально увязывающего в рамках единого текста § 29 и § 24, где ранее употреблена та же причастная форма, но в контексте более полно обуславливающим ее выбор Прокопием: οἰκοῦσι δὲ ἐν καλύβαις οἰκτραῖς διασκηνημένοι πολλῶν μὲν ἀπ' ἀλλήλων ἀμείβοντες δὲ ὡς τὰ πολλὰ τὸν τῆς ἐνοικήσεως ἕκαστοι χῶρον "живут они в достойных сожаления хижинах, располагаясь (букв. раскидывая палатки, шатры) далеко друг от друга, каждый меняя насколько можно часто место обитания" (В. VII, 24). Складывается стойкое впечатление, что вторичная постанова διασκηνημένοι (§ 29) инспирирована наличием его в контексте § 24, поскольку данная часть § 29 является перифразой с некоторыми дополнениями § 24. Реально-семантическая реконструкция хозяйственной деятельности славян по рассмотренным текстам Прокопия выглядит следующим образом.

1. Живут склавины и анты в καλύβαι, видимо, полуземлянках с шатровыми крышами, прослеживаемых археологически для славян в левобережном Подунавье; внешний вид этих жилищ и сложившееся у Прокопия представление о славянах как своего рода кочевом народе определило постановку дважды на протяжении небольшого отрывка причастия от διασκηνάω, что в свою очередь подтверждает наше предположение о семантической наполненности термина καλύβαι применительно к славянам.

2. Склавины и анты "насколько можно часто" меняют места обитания, располагая свои жилища "рассеянно", занимая поэтому "неимоберно обширную землю"; речь несомненно идет о характерном для славян типе ведения хозяйства — переложном или подсечном земледелии, сопряженном с скотоводством, ср. В. VII, 14: καὶ θύουσιν αὐτῶν [sc. θεῶν ἐν] βόας "и приносят ему [единому богу] в жертву быков".

3. Говоря о местах обитания склавинов и антов на "большей части другого берега Истра" Прокопий использует медий νέμοναι в специализированном значении "кочевать, пастись, пасти стада герсп. кормиться" вполне в соответствии со своими взглядами просвещенного историка-византийца (в известной мере, по традиции, начинающейся с Геродота), согласно которым всякий "варварский" народ, ведущий иной тип хозяйства по сравнению с интенсивным греко-римским, зачисляется в разряд племен, ведущих недостаточно оседлый образ жизни, "кочевых" (Ἀραξοβίοι) или "переселенческих" (Μετανάσται), с характерной для них частой сменой мест поселения, сопровождаемой временными стоянками, как обо всем этом Прокопий недвусмысленно пишет, прямо указывая на славян и савроматов в De aedificiis IV, 4–6; относительно образа жизни особенно показателен заключительный пассаж: εἴ τι ἄλλο θηριῶτες ἀνθρώπων γένος ἢ νέμεσθαι, ἢ ἰδρῦσθαι ἐν ταῦθα συμβαίνει "а также всякое другое дикое (букв. звероподобное) /племя/, которому случается здесь или кочевать (пастись, пасти стада) или оседать", ср. ἰδρῦσαι о славянах (В. V, 27, 2; VI, 26, 19) в совершенно тождественных позициях с рассмотренным νέμονται. Остается добавить, что Прокопий нигде не называет славян номадами,

т.е. настоящими кочевниками, единожды употребив о них медий от *уёмъ*, приведенное же место из *De aedificiis* выглядит стойкой стилистико-литературной фигурой.

К.И.Логачев

РУКОПИСИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ПАМЯТНИКИ ПРЕДЫСТОРИИ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА

Лингвистика текста представляет собой едва ли не самую молодую область языкознания. Однако у нее богатая предыстория, очень интересными памятниками которой, несомненно, являются рукописи основных произведений раннехристианской литературы. Они отражают сознательную работу над текстом этих произведений, которая началась, по-видимому, уже в процессе создания первых их копий (древнейшая из них, дошедшая до нас – папирус 457 библиотеки Джона Райлэндза, датируемый началом II в.), а завершилась только в XVII в., когда окончательно сформировался так называемый "Текстус Рецептус". Следует, прежде всего, отметить, что "первоначальный" текст некоторых из этих произведений был итогом соединения и обработки ряда созданных ранее независимо друг от друга текстов, "швы", соединяющие гетерогенные части таких "составных" произведений, оказываются любопытным материалом для изучения процесса создания одного текста из ряда предшествующих текстов (причем лицами с разными навыками стилистической обработки итогового текста и с различным отношением к используемым источникам). Иными словами, эти "швы" могут послужить материалом для разработки диахронического аспекта лингвистики текста. Далее следует отметить, что уже очень давно тексты основных произведений раннехристианской литературы трактовались как состоящие из субтекстов, а когда среди этих произведений была выделена группа, получившая название Четвероевангелия, субтексты членов этой группы стали рассматриваться как связанные друг с другом отношениями парафраза. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, различные виды деления текста этих произведений на главы, а с другой стороны – Евсевиевы каноны (IV в.). Виды деления текста этих произведений на главы и Евсевиевы каноны – интересный материал для разработки синхронического аспекта лингвистики текста. Столь же интересными для разработки этого аспекта следует считать представленные в рукописях, о которых идет речь, "титулы" (свидетельствующие о выделении тем субтекстов) и колометрию (отражающую взгляды древних переписчиков на смысловое членение текста и их попытки увязать структуры двух форм существования одного и того же текста – письменную и устную). Особо следует сказать о рукописях, называемых лекционарными. Они могут рассматриваться как материал, допускающий его

использование при разработке и синхронического, и диахронического аспектов лингвистики текста. В первом случае интересно то, что для создания лекционных было необходимо не только выделить субтексты в исходных текстах, но и классифицировать их, поскольку почти каждое "чтение" (основная структурная единица в лекционных) представляет собой сочетание классифицирующей начальной фразы с тем или иным субтекстом. Во втором случае следует обратить внимание на то, что некоторые "чтения" представляют собой более сложное образование, созданное путем соединения частей, взятых уже из нескольких исходных текстов. Процесс создания таких более сложных образований в известной мере параллелен процессу создания самих исходных текстов. В процессе переписки текстов основных произведений раннехристианской литературы и лекционных, охватывающем не менее полутора тысячелетий, ведущими мотивами сознательного изменения этих текстов были: 1/ желание сделать эти тексты более понятными, 2/ стремление уменьшить в них семантические расхождения между субтекстами, трактовавшимися как связанные друг с другом отношения парафразы, и 3/ попытка уменьшить семантические расхождения между различными произведениями, объединенными в один канонизованный по составу сборник (Новый Завет). Поэтому варианты отдельных мест в рассматриваемых здесь текстах оказываются очень интересным материалом для изучения и внешних мотивировок работы над текстом, и различных "уровней" такой работы (от единичных изменений до таких глубоких переработок текста, которые отражают, например, кодекс Бэзы или созданный в середине II в. Татианом "Диатессарон"), а также для уяснения того, какие структурные особенности исходного текста могут побуждать "изнутри" к такой работе. Наконец, следует отметить, что уже очень рано основные произведения раннехристианской литературы начали переводиться с греческого на ряд языков иной структуры. Сопоставительный анализ греческого и переводных текстов этих произведений даст, несомненно, богатый материал для изучения 1/ различных "уровней" парафразирования между степенью точности их смыслового соответствия, 2/ процесса исчезновения "швов" "составных" оригиналов при переводе и 3/ процесса стилистического "выравнивания" текста при переводе. Кроме того, переводы произведений, о которых идет речь, имели собственную весьма сложную "текстуальную жизнь", одни стороны которой характеризуются автономным развитием, другие – влиянием греческих текстов. Большой интерес с этой точки зрения представляют древнеславянские переводы рассматриваемых произведений, поскольку вплоть до середины XVIII в. работа над этими переводами в славянских странах была (как свидетельствуют рукописи и старопечатные издания) очень активной, а история этой работы бесспорно составляет часть истории средневековой славянской науки.

ТИПЫ НОМИНАЦИИ ЛИЦА В МАРИИНСКОМ ЕВАНГЕЛИИ

1. Детальный анализ способов номинации способствует получению многоаспектной информации о структуре анализируемого текста и в то же время дает возможность разграничивать эти аспекты. Как представляется, именно номинации лица являются оптимальными для исследователя участками текста, аккумулярующими – на ограниченной линейной протяженности – максимальное количество сообщаемого. При этом возможно различать следующие пласты текстовой информации: структурно-текстологический, нарративно-текстологический, прагматический и лингво-текстологический, пласты, связанные между собой, но принципиально стратифицируемые. Текст Четвероевангелия представляет для этого огромные возможности не только потому, что дает во многих случаях четырехмерную проекцию сигнификатов при тождественных денотатах, но и потому, что в тексте название последовательно отличается от статуса, обсуждение и того, и другого включается и в текст, и в "историю" ВЕСЬ ГРАДЬ ГЛА КТО СЬ ЕСТЬ (МѠ XXI 10); ЧЬТО ОУВО ТЫ ЕСИ. ЛИЪ ЛИ ЕСИ. (И I 20); ТЫ ЕСИ ХЪ СНЪ БА ЖИВААГО (МѠ XVI 16); ГИ ВИДЖЪ БО ПРКЪ ЕСИ ТЫ (И IV 19); НЕ СЪ ЛИ ЕСТЬ ИС. СНЪ ИОСИФОВЪ. ЕМОУЖЕ МЫ ЗНАЕМЪ ОТЦА И МАТЕРЬ (И VI 42) и т.п., но ТЫ ЕСИ СИМОНЪ СНЪ ИОНИНЪ ТЫ НАРЧЕШИ СА КИФА ЕЖЕ СЪКАЗАТЬ СА ПЕТРЪ (И I 43); ИЗЪ НЕА ЖЕ РОДИ СА ИСЪ НАРИЦАЕМЫИ ХСЪ (МѠ I 16) и т.д.

2. К структурно-текстологическому аспекту номинации относится прежде всего выявление состава номинируемых объектов. Состав лиц в Евангелии представлен большим массивом *Nomina propria*, не совпадающим по всем текстам, лицами – носителями абстрактных ценностей, поступающих ложно или истинно (морально-этически ориентированная группа), лицами-представителями конкретных профессиональных занятий (социально-ориентированная группа), особое место занимают больные, жители определенных регионов, воплощения абстрактных начал. При этом различаются лица основного текста и персонажи сопровождающих текстов, входящие в текст притч, генерализованных рассуждений и т.д. Рассмотренные в предикативно-атрибутивном окружении и в контактной или дистантной текстовой дистрибуции, эти имена составляют структуру сюжетного ядра текста (с общим различием центра и периферии). Таким образом, в структуру текста входит денотативный аспект номинации.

3. Нарративно-текстологическим аспектом номинации мы считаем избранный принцип движения информации по тексту, сосредоточенный в дистрибуции именных сочетаний. При этом существенно различать первичное название лица и его повторные номинации. В первичном назывании возможно разное распределение фактического: от актуально необходимого до предвещающего будущие события. См. разную по нарративному месту характеристику Иуды: ИУДА

ИСКАРИОТЬСКИ. ИЖЕ И ПРЪДАСТЬ (МѢХ 4); ИЮДЪ ИСКАРИОТЬСКААГО, ИЖЕ И ПРЪДАСТЬ И (М III 19); ИЮДЪ ИСКАРИОТЬСКААГО, ИЖЕ БЫСТЬ И ПРЪДАТЕЛЬ (Л VI 16). Но у Иоанна: НЕ АЗЪ ЛИ ВАСЪ ДВА НА ДЕСАТЕ ИЗБРАХЪ. I ОТЪ ВАСЪ ЕДИНЪ ДИВЪВОЛЬ ЕСТЬ. ГЛАШЕ ЖЕ ИЮДЪ СИМОНОВА. ИСКАРИОТА СЪ БО ХОТЪШАЕ ПРЪДАТИ И. ЕДИНЪ СЫ ОТЪ ОБОЮ НА ДЕСЕ (И VI 70-71). Таким образом, последовательный анализ соотношения информации при имени с общесообщаемым сюжетом позволяет отличать в евангельских текстах "историю" от текста, определенным образом построенного. В повторных номинациях важен тип анафорических цепочек (*Nomina propria*, серийные местоимения, чередования разных типов номинации и т.д.), соотносенных с местом называемого лица в общей системе персонажей.

4. Прагматический аспект номинации обеспечивает модально-оценочную сторону анализа текста, выявление разных по ориентации "точек зрения" на одно и то же лицо, а также классификацию микроконтекстов внутри четырех евангельских текстов по типу представленных в них номинаций. Прежде всего строго различаются номинации в основном авторском изложении и номинации в прямой речи, например: I ЕГДА ВЪНИДЕ ВЪ ДОМЪ. ВАРИ ИС. ГЛА. ЧТО ТИ СА МЪНИТЬ СИМОНЕ ... I РЕЧЕ ЕМОУ ПЕТРЪ (МѢХVII 25-26); ГЛА МАТИ ИСЪВА КЪ НЕМОУ. ВИНА НЕ ИМЪТЪ. ГЛА ЕИ ИСЪ. ЧТО ЕСТЬ МЪНЪ И ТЕБЪ ЖЕНО. (И II 3-4). Однако в прямой речи доминируют перифрастические структуры, с выявлением и различных субъективно-модальных пластов, в основном тексте преобладают прямые номинации. Особое место в евангельских текстах, помимо двух основных названных выше, занимают еще два вида контекстов: сообщения в авторском тексте о номинациях прямой речи: РЕЧЕ ЖЕ ИМЪ ИСЪ АЗЪ ЕСМЪ ХЛЪБЪ ЖИВОТЪНЫИ (И VI 35) сообщения о прямой речи одних лиц о номинации в прямой речи другого лица: РЪПТААХЪ ЖЕ ИЮДЕИ О НЕМЪ ЪКО РЕЧЕ АЗЪ ЕСМЪ ХЛЪБЪ СЪШЕДЫИ СЪ НЕБЕСЕ (И VI 41) при этом акт самономинации отличается от самообъявления сущности: РЕЧЕ БО ЪКО БЖИИ СЪНЪ ЕСМЪ (МѢ XXVII 43). Внутренним метатекстом являются "номинации о номинации", иногда с внутренним переводом: ОНА ЖЕ РЪСТЕ ЕМОУ РАВЪВИ. ЕЖЕ ГЛЕТЪ СА СЪКАЗАЕМО ОУЧИТЕЛЮ (И I 39) ЧТО ЖЕ СЪТВОРИЪ ИСА НАРИЦАЕМААГО ХА (М XXVII 22) ГЛА ЕМОУ ЖЕНА. ВЪМЪ ЪКО МЕСИЪ ПРИДЕТЪ РЕКОМЫ ХЪ (И IV 25).

5. К лингво-текстологическим аспектам номинации (т.е. собственно к лингвистике текста) относится прежде всего анализ идентифицирующих, индивидуализирующих и квалифицирующих компонентов номинации лица. Отрешаясь от некоторой точки зрения, явно не выражаемой, но имплицитно принимаемой, согласно которой все языки, которые принято считать литературными, тем самым как бы и уравниваются, можно ввести критерии развитости того или иного литературного языка и тем самым его оценки (см. концепцию О.Ес-персена). Определив при таком подходе некоторый обязательный

набор необходимых эволюционных этапов, можно оценивать литературные языки по степени их эволюционного расхождения. Предлагается гипотеза, согласно которой одним из таких критериев является именно богатство показателей неопределенности при имени, так как за ними обычно стоит и больший жизненный кругозор носителей языка (в широком смысле — *Mundus*) и соотнесение неопределенной дескрипции с общей суммой модально-футуральных компонентов высказывания, т.е. с "возможными мирами". Примечательно, что исходным в формировании этой категории в языках является показатель определенности, т.е. идентификации или уникальности (ср. этот показатель как исходный компонент в формировании общей семантики вида у Телина). Ср. также данные об активном формировании неопределенных показателей при имени в современном русском языке и, с другой стороны, тенденцию к превращению показателей определенности: *вот, вон, это, то* и т.п. в неизменяемый компонент на уровне всего высказывания. Местоименные детерминирующие показатели при именах лица в евангельских текстах представлены в основном дефицитными дескрипциями, количество неопределенных показателей очень мало и они, по предварительным данным, не обладают устойчивой дистрибуцией, функциональным различием и не всегда объясняются через греческий текст: БѢ ЖЕ ЧЛВКЪ ОТЪ ФАРИСѢИ, НИКОДИМЪ ЕМОУ ИМА Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτοῦ (И III 1); БѢ ЖЕ ТОУ ЕДИНЪ ЧЛВКЪ Ꙗ І ОСМЬ ЛѢТЬ ИМЪ МЪ НЕДѢСѢ СВОЕМЪ. Ἦν δὲ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ (И V 5); ЧКЪ ЕТЕРЪ ИМЪ ДВѢ ЧАДѢ. ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. (МѢ XXI 28); ВЪНИДЕ ИСЪ ВЪ ВЕСЬ ЕДИНЪ ЖЕНА ЕДИНА ИМЕНЕМЪ МАРЪТА. εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινὰ γυνὴ δὲ τις ὀνόματι Μάρθα (Л X 38); ОУДАРИ ЕДИНЪ НѢКЫ ОТЪ НИХЪ АРХИЕРЕОВА РАБА. ἐπάταξεν εἰς τῆς ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δούλον (Л XXII 50); ЕДИНЪ ЮНОША ЕТЕРЪ ПО НЕМЪ ИДЕ. Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ (М XIV 50); ЖЕНА ЕДИНА СЪШТИ ВЪ ТОЧЕНИИ КРЪВѢ καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥίσει αἵματος (М V 25) (ср. греч. у Бласса и Дебруннера). Рассмотрение в синхронном плане показателей определенности — неопределенности при имени может выявить индивидуальные особенности типа литературного языка каждого автора как его текстовый идиолект. Можно высказать некоторые предварительные соображения об отличии евангельских текстов в этом плане. Лингво-текстологическим явлением следует считать и соблюдение определенных правил анафорики, в частности, тех уровней прономинализации и рефлексивизации, при которых обеспечивается однозначное определение объекта. Интересно, что именно такие, необходимые для идентификации лица и объекта анафорические вставки были сделаны в последних по времени русских изданиях текста Евангелия.

6. Лингво-текстологический анализ включает и решение проблем типологического характера, в первую очередь, выявление нарративных и собственно лингвистических различий в изучаемом еван-

гельском тексте и греческом тексте Евангелия. Существенны также данные о типологии номинаций по текстам евангельского греческого и близкого текста классического греческого ("Жизнеописания" Плу-тарха), рассмотренные в сопоставительном плане.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА В "СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

1. Обилие исследований, посвященных "Слову о полку Игоре" и осветивших за эти годы многие его первоначально затемненные аспекты, не исключает, как представляется, еще одной возможности внимательного прочтения его текста, рассмотренного в "самом себе"; с целью обнаружить его глубинную семантическую структуру — пользуясь некоторыми новыми методами коммуникативного синтаксиса, лингвистики текста и лингвостилистики и, по возможности, не выходя за их пределы. В работе использовался тот подход, при котором в систему селекции функционально интерпретируемых языковых показателей входят не только выбранные, эксплицитно представленные компоненты системы, но и феномены не-выбранные, не-эксплицируемые; кроме того, существенна дистрибуция положительного—отрицательного выбора языковых компонентов, т.е. их отношение к опорным смысловым точкам. Полный анализ дистрибуции является в этом смысле подкреплением непосредственной содержательной интерпретации текста.

2. Основным выводом проделанного анализа является вывод о методе антитез-скреп, как об основном способе организации текста, применяемом автором "Слова". В пределах тех и других различаются внешние антитезы и скрепы, помогающие непосредственной организации текста, и внутренние антитезы и скрепы, составляющие глубинную смысловую структуру "Слова". Таким образом, вся ткань памятника представляется сложной системой переплетающихся противопоставлений. Сама последовательность текста легко демонстрирует членимость на отрезки, заканчивающиеся афористично-результативными антитезами (КА — конечная антитеза). Примеры КА цит. по изд.: Слово о полку Игоре. М.-Л. 1950: *Уныша бо градомъ забралы, а веселие понице; Се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Володимиръ подъ ранами; То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано* и т.д. В пределах каждого вычленяемого таким образом отрезка представлена обязательно более существенная для смысла внутренняя антитеза — ВА. См. ВА указанных выше отрезков: *Поютъ славу Святъславлю, каютъ князя Игоря; Ты бо кликомъ плъкы побъждаютъ, звонячи въ правднюю славу. Из рекосте: "Мужайтсѧ сами"...; Ярѧ туре Всеволод ... гремлеши о шеломы мечи харалужными... Тѧй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше* и т.п. В свою очередь скрепы представляют собой (приводим по примеру):

1/ полное повторение законченного высказывания — *О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси*; 2/ полное повторение значительного фрагмента высказывания — *сами на себя крамолу коваху*; 3/ неконтрастивное повторение элемента в одной линейной цепи — *Прерыскаше — дорискаше — прерыскаше*; 4/ контрастивное повторение элемента в одной линейной цепи — *Изяславъ... притрепа славу дѣду своему..., а самъ... притрепанъ литовскими мечи*; 5/ контрастивное повторение не в одной линейной цепи — *часто врани гряжутъ, а галици свою речь говорятъ/// Тогда врани не гряжутъ, галици помлѣкоша*. Ряд скреп имеет очень усложненную производную структуру. Например, *Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици преградиша чрѣльными щиты* описывается через следующий ассоциативный ряд:

скачуть ... ищучи себе чти, а князю славу
лисици брешуть на чрѣленыя щиты ↘
Русичи великая поля чрѣлеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти,
а князю славы ↘
Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици преградиша чрѣльными щиты.

Или — *Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньские*
Уныша бо градомъ забралы

А въстона бо, братие, Киевъ тую оу,
а Черниговъ напастями

Уныша цветы жалобою,
и дрѣво с тую оу къ
земли преклонилось

Ничитъ трава жалощами, а
дрѣво с тую оу къ земли
прѣклонилось

Туга и тоска сыну Глѣбову!

А мы уже, дружина,
жадни веселия!

Трубы трубятъ въ Новѣградѣ.

Страни ради, гради весели

и т.д.

Таким образом, текст "Слова" представляет собой сложную мозаичную структуру с повторяющимися в определенных местах компонентами; интерпретация и фиксирование этих, не всегда очевидных при первом прочтении связей помогает выявить содержательные оппозиции текста.

3. Основными содержательными оппозициями текста "Слова", как как представляется, являются следующие антитезы:

1/ творческий метод автора — другие творческие методы; 2/ человек как осознавшая себя индивидуальность — мир вокруг; 3/ прошлое—настоящее; 4/ битва—покой; 5/ туга (печаль) — веселье; 6/ тьма — свет; 7/ русские — половцы.

4. Воплощая в образы антитезу: собственный творческий метод — другие творческие методы, автор виртуозно комбинирует текст и метатекст. Необходимо отметить замечательный тезис В.Ржиги о том, что автор "Слова" обсуждает не два, а три пути зачина: 1/ в духе старинных ратных повестей ("*старыми словесы трудныхъ повѣстей*"), 2/ "*по замышлению Бояню*", 3/ "*по былинамъ сего времени*" и делает три соответственных зачина; таким образом различается ткань текста и ткань сюжета, снимается противоречие "двух затмений". Метод антитез-скреп, сложная поэтическая система автора, предполагает не только непосредственные ассоциации контактной цепочки, но и монтажное осмысление дистантных компонентов. Автор состязается с Бояном, функция которого в тексте — не быть двигателем сюжета, но явлением суперструктуры — носителем некоторого числа гипертекстов, значительность которых постепенно снижается: *Тяжко ти головы кромъ плечю, зло ти тѣлу кроме головы* — уже не афоризм, а трюизм. Явно побеждая в столь характерном для средневековья турнире поэтов, в том числе и в блистательной фонике, отмеченной Л.А.Булаховским, которой нет в "бояновских" фрагментах, автор как бы играет с текстами Бояна, употребляя метод, который можно назвать "подхватом": дважды, в симметричной удаленности от начала и от конца.

5. Оппозиция: прошлое—настоящее строится как расслоение основного пласта событий, связанного с Игорем, и истории, представленной историческими аллюзиями и новеллистическими инкрустациями. Представляется, что композиция исторических вставок очень выдержана: от более раннего к самому позднему (подвиги Святослава Киевского в 1183 г.) и опять симметрично назад, вглубь истории; таким образом, автор держит обещание дать рассказ *отъ стараго Владимира до нынешнего Игоря*. Метод лингво-текстологического стыка у автора "Слова" при соединении прошлого с настоящим оказывается совершенно иным, чем при соединении элементов основного сюжета: переход от прошлого к новому и наоборот всегда эксплицитно представлен: частицами, местоимениями, прокладочными обстоятельственными словами; при соединении компонентов настоящего можно говорить о "монтажном примыкании": *Трубы трубятъ въ Новѣградѣ ... Что ми шумить, что ми звенить...* *На Дунаи Ярославныѣ гласъ ся слышитъ...* *Прысну море полунощи, идутъ сморци мглами...* *Погасоша вечеру зори* и т.п. Яркой особенностью текста, при отсутствии гипотаксиса временной семантики, является выражение некоторого результивата, стальной перфективности: при изображении глобального события через *уже*: *Уже снесесея хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже врѣжесея дивъ на землю* и т.д. и при изображении бифокального события с опорой на действие — с *а*: *А половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому*, т.е. различается активное и инактивное состояние.

6. Выявление маркированного времени — настоящего — позволяет различать текстовые функции употребления времен в "Слове". Примечательно, что настоящее время выполняет в тексте функцию, анало-

гичную функции *passé antérieur* в старофранцузских текстах сложно-многoplanового действия. Настоящее время связано в целом с линией основного сюжета, выполняя нагрузку: экспресс-констатации — *Игорь къ Дону вои ведець!... Копиа поютъ...; начала новых ситуаций — Длго ночь жркънетъ...; райочных конструкций при описании. Однако серийное настоящее связано не с оппозицией: прошлое—настоящее, но с оппозицией: битва—не битва: ср. описание битвы на Немиге. Т.о. оппозиция: битва—покой оказывается сильнее первичной функции глагольного времени (см. Полтавский бой у Пушкина и еще более несомненное влияние "Слова" в последних главах "Тараса Бульбы": описание трофеев Тараса, серийное настоящее, статальность с *уже*, вплоть до фразы "Степовая трава поникла бы от жалости долу").*

7. Образу автора, бросающего вызов традициям, параллельна фигура Игоря, противостоящего всему: знамени, разумности и необходимости действий, княжескому объединению. Игорь и Всеволод, помимо самоутверждающего себя волюнтаризма, противопоставляют окружающему миру одно: свой профессионализм, свою обученность. Как и автор "Слова", Игорь испытывает себя. (Неслучайно знаменитая характеристика воинов Всеволода почти текстуально совпадает с описанием идеальных воинов во французском тексте XIII в. *Qui est li gentis bachelers? Qui d'espée fu engendrez, | Et parmi le hiaume ale tiez, | Et dedenz son escu berciez. . .*). С начала текста мир выступает против личности, объединяются компоненты тройной антитезы: человек — природа, русские — половцы, обученность — стихийность. Если воинам "пути в доми", то половцы бегут, "прострошася". Общий образ звериного воя, скрипа, лая консуммируется в Дѣти бѣсови кликомъ поля, прегородиша, а храбрии Русци преградиша чрьлеными щиты. Природа соединяется с врагом и включает его в себя: *недаром, побеждая Кобяка, Святослав притопта хлѣми и яругы, взмути рѣкы и озеры, иссуши потоки и болота. А поганого Кобяка изъ луку моря яко вихрь выторже...* Необходимо отметить следующие языковые показатели выражения индивидуальности: 1/ употребление обращения только русскими (даже половецкие ханы друг к другу не обращаются); 2/ практически отсутствие possessивов применительно к полю половцев; 3/ употребление анималистических сравнений применительно к воинам-русским только через союз: *ажы*. Все указанные показатели относятся к антитезе: человек-мир до переломного момента текста, которым мы считаем обращение Ярославны, жены Игоря, с мольбой к стихийным божествам, после чего меняется отношение природы, меняется Игорь, меняются и характеристики лингвистического плана: он уже не ведет войска, сидя на золотом седле — *въврѣжеся на брѣзъ комонь и сходи съ него бусымъ влѣкомъ* (ср. почти те же обороты ранее о волхве князе Всеславе), варьирует анималистический образ, чередуясь с Влуром-половчанином, разговаривает с Донцом.

8. Эпизод мольбы Ярославны является переломным и для разрешения оппозиции: туга-веселие. До плача веселие представлено подчеркнуто негативно (*жидни веселия; пониче веселие; мое веселие по*

ковылю развѣя), туга — активно, после мольбы тема туги переходит в пласт прошлого (смерть князя Ростислава), а тема веселия нарастает — до абсолютного синтеза: *Страны ради, гради весели* (см. ранее *Уныша бо градомъ забралы*). Текстовые отрезки с лексическим полем: туга-веселие относятся к результативно-статальным рефренам, утверждениям, это подчеркивается обилием частиц, вообще мало представленных в "Слове": *бо* — показатель пресуппозитивного знания, вообще снятый в тексте перевода 1800 г., и *уже* — результатив; из 14 отрывков с этой темой, очень красиво соотносящихся лексически либо друг с другом, либо с иными компонентами текста, 2 относятся к пласту прошлого, они расположены симметрично по отношению к кульминационному пункту.

9. Оппозиция: тьма—свет, содержательно разлагается на три узких антитезы: физическую: тьма—свет, моральную: победа—поражение, военную: половцы — русские. Бояре сообщают Святославу, что именно на 3 день *тьма свѣтъ покрыла* (ср. *третьяго дни к полудню падоша стязи Игореву*), т.е. поражение, а не затмение, есть подлинная тьма. Проходя через весь текст, оппозиция: тьма—свет относится только к основному сюжету. Переломным моментом также является мольба Ярославны, после чего появляется тема позитивного света. Темы туги—веселия и тьмы—света в ряде отрывков тесно сплетаются, но тьма—свет входит в сам сюжет, тогда как тема туги—веселия выступает как рефрен или результатив.

10. Текстовые признаки оппозиции: русские-половцы многообразны. Лексически чаще всего *русские* — храбрые, соколы, связаны со светом; *половцы* — поганые, галки, всроны, сороки, связаны с тьмой. Из семантики "сокол", "храбрый", в продолжение этого, встает оппозиция, которую мы считаем основной: *русские* индивидуализированы, половцы — стадо, стая (см. анималистические сравнения), они бегут, простираются, сливаются с природой, звуки их речи, даже разговор ханов — *А не сорокы втроскоташа*; в изображении их на войне нет индивидуализации — как воинских качеств, так и человеческих: ср. перечень образов русских князей — от старого Владимира до нынешнего Игоря. Поэтому они — рабы (*Стрѣльй, господине, Кончака, поганого кощя; Игорь выседѣ въ седло кощяево*). Лингвистически это выражается через характеризацию половцев в Р1. неопределенными специфическими именами, нераспространение на них поля максимума определенности: демонстративов, possessивов, рестриктивных придаточных, а также обращения, объективной метафоризации.

11. Внутренними скрепами текста являются семантические смыкания перечисленных глубинных антитез.

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО РОМАНА

Классическая форма средневекового романа (куртуазный роман/романический эпос) создана в разных странах в XI – начале XIII вв. рядом замечательных художников, среди которых Тома и Кретьен де Труа, Вольфрам фон Эшенбах и Готфрид Страсбургский, Гургани и Низами, Руставели, Мурасаки Сикибу. Средневековый роман, открывший "внутреннего человека" в эпическом герое, – вполне равноправная разновидность жанра романа, наряду с романом нового времени. Главное отличие от последнего ("буржуазной эпопеи") – не в наличии сказочно-эпических реликтов, а в отсутствии изображения жизненной прозы. Исторически средневековому роману предшествует античный, сформировавшийся из гетерогенных материалов и находящийся с античным эпосом в отношении дополнительной дистрибуции, строгой альтернативности, поскольку герои античного романа – сугубо частные персонажи, которые только "выживают" в потоке превратностей. В средневековом романе элемент "эпической" природы, пусть парадоксальным образом, все же удерживается в чертах героя. В византийский роман, воспроизводящий структуру античного, вносятся некоторые средневековые коррективы: античная мифология выступает с сугубо архетипической функцией манифестации жизни сердца, над сюжетом внешних перипетий возвышается: риторическое или лирическое описание душевной жизни героев, имеются намеки на конфронтацию личного чувства и социальных обязанностей. Греко-византийские формы, так же как античная "тематика эпического происхождения, остается на периферии в романе Европы и Ближнего Востока. При всем разнообразии сюжетных и жанровых истоков средневекового романа бросается в глаза роль сказки и сказочности, которая отчасти коррелирует и со стихией авантюры (хотя никак к ней не сводится). Сказка, ориентированная на личную судьбу героя, представленную в серии испытаний, является каналом, по которому романический эпос взаимодействует с фольклором; через сказку роман впитывает и некоторые мифологические мотивы. В романе в сильно преобразованном виде выступают такие мифологемы, как добывание магических предметов в ином мире, священный брак с аграрной богиней, борьба с демоническими силами хаоса, мифогема царя-жреца, от сил которого зависят плодородие, инициационные мифы и ритуалы и многое другое. Смешение нескольких мифологических традиций способствует архетипическому обнажению глубинных мифологем (на пути такого синтеза, например, возникает мифология Грааля). Очень любопытно творческое преобразование в новой романической "мифологии любви" архаической мифологемы царя-жреца (в "Персевале", "Гристане и Изольде", "Вис и Рамия", "Гэндзи моногатари"), брака с богиней плодородия, любви-смерти, инцеста родоначальников и т.д.

Сказочная и сказочно-мифологическая стихия, способствуя размножению пред-романных форм авантюрного повествования, однако недостаточна для создания романа, тяготеющего к изображению трагедии индивидуальной страсти, как выражению неповторимости самой личности, к начаткам психологического анализа. Изображение душевной жизни, как таковой, возникает не без мощного, хотя иногда косвенного воздействия лирики и новых концепций любви (трубадуры, труверы и миннезингеры, "узритская" арабская лирика, персидская суфийская поэзия, переработка сюжетов арабских преданий о поэтах, японские ута-моногатари). Два шага от эпоса (летописных преданий и т.п.) сначала к сказке (акцент на личной судьбе и приключениях), а затем — к изображению внутренних коллизий (с использованием опыта лирики), отложились в композиционной структуре средневекового романа в виде двух больших синтагматических звеньев: в вводной части, часто напоминающей богатырскую сказку, герой испытывает приключения, которые ведут его к достижению сказочных целей (вроде "царевны" и "полцарства"), но в основном собственно романическом звене, которое как бы наращивается на введение раскрывается внутренняя коллизия (в конечном счете отражающая конфликт "внутреннего человека" и его "социальной персоны"), и эта внутренняя коллизия подлежит изображению и разрешению. Конфликт во втором туре как бы интериоризируется. Иногда кажется, что второй тур повторяет первый, но на ином "внутреннем" уровне. При этом сказочные мотивы обычно нагромождаются в первой части, а попытки психологического анализа, и прохождение моральной "инициации" — во второй. Так, например, в вводной части Тристан, Эрек, Ивейн, Персеваль совершают свои сказочно-эпические подвиги и завоевывают любовь, а также большей частью руку красавицы и "царство", так же и Хосров у Низами покоряет любимую Ширин и становится шахом. В основной (второй) части "преступная" любовь Тристана к жене дяди, малодушная погруженность Эрека в семейное счастье или легкомысленное забвение Инейном молодой жены, эгоизм Персеваля (Парцифалья), ограниченного рыцарским "этикетом", легкомыслие и деспотизм Хосрова нарушают их личное счастье и социальное равновесие. Возникает новая драматическая ситуация и новые испытания, представляющие внутреннюю проверку личных чувств и социальной ("эпической") ценности героев. В порядке исключения и отклонения от этой синтагматической схемы в персоязычном романическом эпосе, восходящем к преданиям о трагической любви поэтом, отсутствует вводная сказочная часть, а в грузинском "Витязе в тигровой шкуре", наоборот, "романтический" пласт — лишь надстройка над основным непрерывным сказочно-эпическим действием. Японский роман о Гэндзи не делится столь строго на две части, но вначале сказочные мотивы играют большую роль; в ходе повествования они сходят на нет и даже пародируются. Сказочное повествование в духе старинных сказочных повестей (денки-моногатари) развивается и завершается как психологический роман. В

средневековом романе, кроме может быть японского, проблема возможного несовпадения и желанной гармонизации личных чувств героя (представляющих романическое начало) и его социальных обязанностей ("эпическое" начало) составляет центральную проблему. Индивидуальная любовь как важнейшее проявление "внутреннего человека" не только не должна мешать его подвигам, но обязана стать главным источником рыцарского вдохновения и доблести. В плане соотношения собственно романического и эпического начал намечаются два этапа в истории французского куртуазного романа (главного на Западе) и персоязычного романического эпоса (ведущего на Востоке). На первом этапе ("Тристан и Изольда", "Вис и Рамин") открытие "внутреннего человека", душевной жизни личности наивно выражено через изображения индивидуальной страсти к незаменимому объекту как "чуда" и одновременно демонической роковой силы, вносящей социальный хаос (адюльтер с женой старшего родича, нарушение вассального долга и т.д.). На втором этапе эволюции куртуазного романа/романического эпоса, прежде всего в творчестве Кретьена де Труа и Низами Гянджеви, более свободно конструируются сюжеты из традиционных материалов, намечается гармонизация романического и эпического начала за счет представления неразрывной связи любви и подвига, внутренних качеств и социальной ценности (с использованием куртуазной или суфийской концепций любви). Поразительный параллелизм между "Тристаном и Изольдой" и "Вис и Рамин", а также между Кретьеном и Низами, имеет типологическую природу. В рамках описанной выше композиционной дихотомии средневекового романа гармонизация совершается во втором звене второй (основной, собственно романической) части. В "Лейли и Меджнуне" Низами, несмотря на трагический конец, гармонизация происходит с помощью пантеистически-суфийского понимания любви и поэзии (безумие Кайса — источник не только разрушения, но и созидания, творчества. Элементы сходного подхода имеются и в "Тристане" Готфрида). В японском романе Мурасаки о Гэндзи хотя индивидуальная страсть и ведет к социальному хаосу (нарушение экзогамии/эндогамии и кастовых границ, метафорический инцест типа "сын/мать" и "отец/дочь", нарушение обрядовой магии и даже нормального функционирования государства), но в плане концепции "моно-но аваре" та же любовь трактуется и как высшее проявление чувствительности, как источник эстетической гармонии. Указанная выше типическая синтагматическая дихотомическая структура средневекового романа дает возможность описывать "бретонские" романы Кретьена как синхроническую систему, отдельные звенья которой находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Система "бретонских" романов раскрывается в значительной мере в зависимости от варьирования центральной коллизии "любовь/рыцарство" с помощью дополнительных оппозиций "любви куртуазной/христианской" и "рыцарства светски формального/истинного", а также "куртуазной любви супружеской/куртуазной любви адюльтера".

Четыре романа Кретьена представляют все возможные комбинации взаимных зеркальных отражений. Сходные варианты обнаруживаются и у Низами, как внутри "Хосрова и Ширин", так и в соотношении его с "Лейли и Маджнун". В японском романе господствует лирико-музыкальный (лейтмотивный) композиционный принцип. Основная коллизия предстает во множестве отражений, вариаций с плавными переходами. Важнейшими элементами структуры этого романа являются ритуальный календарь праздников, постепенная смена придворных чинов-масок, смена времен года и фаз луны, игра природными классификаторами (цветы и цвета); циклическая модель течения жизни героев отличается от линейной перспективы жизненных испытаний в западном рыцарском романе.

А.Кубулыня, М.Лекомцева

ОБ ОСОБЕННОСТИ КОРЕФЕРЕНТНОСТИ
ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ
НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ОЯРА ВАЦИЕТИСА
"ЭГОЦЕНТРИЗМ"

Обычно в латышском языке личные местоимения 3 л. ед.ч. противопоставляются по роду, а родовая принадлежность местоимений 1 и 2 л. определяется по флексиям глагола или **именных** предикативных форм. Однако в поэтическом тексте возникают окказиональные варианты, когда местоимение муж.р. становится кореферентным имени женского рода, создавая особые, эмоционально окрашенные значения координационной пары "ты—она". Одним из примеров такого рода явлений может послужить стихотворение Ояра Вацietиса "Эгоцентризм".

Viss daudzkārt laimīgāk un
smagāk,
tu₁ neesi ne
tā₂ ne —
viņa₃ (3)
Bet "lai tas₄ trešais pagaida,
kamēr mēs₅ beigsim vakariņas".
Mēs₅ ēdīsim to₆ mūžību,
kas₇ ilgā tikai varbūt
mirkli.
Un vīns no glāzes pētī mūs₅
un sarkans,
sarkans,
sarkanš dzirkstejo
Viņš₈ klusē,
ugunīgi domājot,
cik daudz var runāt divi klusie

Все во много раз счастливее и
тяжелее,
ты₁ — не
та₂ не —
она₃
Но "тот₄— иной, но пусть он₄ ждет,
пока мы₅ кончим ужин".
Мы₅ будем вкушать эту₆ вечность,
что₇ длилась, может быть, только
миг.
И вино в бокалах испытает нас₅,
и красное,
красное,
красное искрится.
Оно₈ молчит,
огненно думая,
как много могут сказать двое
молчащих

un vai tiem, reibumu drīkst dot,
kam₁₀ sirds no sirds
ir piedzērusies.
Un šampanietis mums₅ nav lemts,
tas₁₁ nenogerbs sev sudrabu
un nešaus ...
Un tur, kur debess kūst ar remi,
lai tomēr pagaida
tas₁₂ trešais

и можно ли опьянить тех₅,
у кого₁₀ сердце от сердца
пьянеет.
И в шампанском нам₅ отказано,
оно₁₁ не снимет свое серебро
и не выстрелит...
И там, где небо плавится с землей,
пусть все-таки подождет
тот₁₂ третий.

Для удобства разбора интересующие нас местоимения помечаются соответствующими цифрами. В первой строфе задается три степени удаленности: ты₁ – далее – та₂ – другая и еще далее – она₃ – третья. Во второй строфе появляется "третий" – он₄ – во второй сфере удаленности – и мы₅ – "здесь", включающее только "я" и "ты" – в эксклюзивном значении. В третьей строфе кроме мы₅ появляется ретроспективное то₆ – указательное местоимение второй степени удаленности с соответствующим относительным местоимением kas₇. Пятая строфа начинается местоимением третьей степени удаленности viņš₈, обозначающим "вино", затем с точки зрения "вина" описываются "я₉" и "ты₄" как "двое молчащих", как "те₉" (вторая степень удаленности). "Шампанское" следующей строфы – "вино" предшествующей строфы – заменяется местоимением второй степени удаленности tas₁₁.

И в последней строфе в загадочном контексте – реминисценции рассказа Судраба Эджуса "Шальной Даука", где все время удаляющийся горизонт, символизируя недостижимость цели, ведет героя к гибели, является еще более загадочный тот₁₂ третий. Для определения, с кем соотносится "тот третий", существенна цитата из романа А.Вертинского "Прощальный ужин", данная О.Вацietисом во второй строфе. Введением в первой строке "все во много раз счастливее и тяжелее" О.Вацietис отталкивается от настроения романа, подчеркивая неповторимость ситуации "я – ты – та – она", с одной стороны, и актуализируя сходство с ситуацией треугольника в романсе, с другой. Третья степень удаленности ее₃ особенно удаляет ее₃ от мира "я₉ – ты₁" придает ей₃ значение неопределенности, превращает в безликое "она", не упоминаемое, исключаемое в шестой строфе, но существующее как роковая сила. Именно поэтому "в шампанском нам отказано", т.е. "начала" не будет. Вино "Прощального ужина" О.Вацietис обращает в шампанское – вино свадьбы – вино "начала". "Конец" "Прощального ужина" оказывается ситуацией без начала и конца, "бесконечностью". В последней строфе эта бесконечность связывается с "плавающимся" горизонтом, символом незаметной трагической гибели. Ситуация "Прощального ужина", перенесенная на актуальную для О.Вацietиса, дает возможность назвать запрещенное правилами речевого этикета ее₃ через ego₄, так что "тот₁₂ третий" оказывается эвфемизмом для "ее"₃.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА "РОМАНА-МИФА" ГЕОРГОСА СЕФЕРИСА

1/ "Роман-миф" /"Μυθιοτόρημα"/ – одно из самых значительных произведений Георгоса Сефериса, крупнейшего греческого поэта XX века, чья поэтическая система, поиски новых выразительных средств во многом предопределили пути развития современной греческой поэзии. "Μυθιοτόρημα" представляет собой цикл из 24-х стихотворений. Во внешнем сюжете речь идет о некоем путешествии, трудностях, выпавших на долю героев и, наконец, их гибели. Основной особенностью внешнего сюжета является то, что нарративные структуры почти не связаны друг с другом, повествование прерывается многочисленными отступлениями, сюжетная линия прослеживается с трудом. Однако в произведении существует внутренняя логическая связь между поэтическими фрагментами – сюжет поэтический, который строится на сложной взаимосвязи лексем-символов.

2/ Два ключевых символа ἄλλη ζωή – 'другая жизнь' и ἀγάλματα – 'статуи' группируют вокруг себя все остальные. Ἄλλη ζωή – это жизнь воображаемая, которая появляется в произведении то в формах проспекции или ретроспекции, то в виде сна, но никогда не обладает чертами реальной действительности. В первую группу лексем, относящихся к ἄλλη ζωή, входят свет, вода и все, что может относиться к этим двум субстанциям – огонь, солнце, водоем, влага, роса и т.д. Причем вода воплощает собой материальную сущность ἄλλη ζωή, а свет – сущность духовную. В оппозиции к этой группе находится вторая группа лексем, относящихся к ἀγάλματα. Сюда входят скала, камень, мрамор, являющиеся символами человеческой гибели, несомой реальной действительностью. Поэтический сюжет строится на конфликте этих двух групп. Недвусмысленное противопоставление двух ключевых понятий дается в пятом стихотворении:

*... ищем другую жизнь
по ту сторону статуй.*

Основной смысл произведения состоит в том, что человеческая сущность, испытывая постоянный разлад, пребывает в реальном, враждебном ей мире и поэтому стремится найти выход в другую жизнь, такую, какой она должна быть.

3/ В порядке возникновения лексем-символов есть закономерность. Когда действие внешнего сюжета приближается к кульминации, которая относится к настоящему моменту повествования, начинают резко преобладать лексемы второй группы. Это наблюдение подтверждает мысль о том, что ἀγάλματα и вся эта группа лексем является атрибутом жизни действительной, в то время как лексемы первой группы относятся к другой жизни – прошедшей или вымышленной.

4/ Смысл произведения этим не исчерпывается. Кроме кульминации внешнего сюжета – событийной, отнесенной в конец произведения

(22-е стихотворение), существует смысловая кульминация, помещенная приблизительно в середине произведения (8-е стихотворение). Из него становится ясным, что путешествие, о котором идет речь во внешнем сюжете – вымысел. Под путешествием подразумевается развитие и изменение человеческой сущности в процессе бытия. Т.о., внешняя сюжетная линия является внешней лишь по отношению к сущности поэтического События; на самом же деле, это лишь видимость сюжета, ибо все, что произошло вовне – инсказание того, что происходит внутри человека на протяжении его жизни.

5/ При выявлении структуры произведения нельзя не заметить, что прерывистой динамике внешнего сюжета противостоит статика поэтического сюжета. Возникает и невольная параллель с названием произведения "Μυθιστόρημα": история – это то, что имеет действие, развитие, т.е. внешний сюжет. Миф – нечто заданное, статичное, т.е. то, во что выливается художественный мир. Точный перевод названия "Μυθιστόρημα" на русский язык – "роман". Однако перевести таким образом название, утратив при этом сему *μυθ*- представляет неверным не только потому, что автор пользовался определенной мифологией, но и потому, что события, происходящие в произведении, оказываются вымыслом. Поэтому наиболее адекватным кажется перевод "Μυθιστόρημα" как "Роман-миф".

В.Н.Топоров

ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ СООТНОШЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПОДТЕКСТОМ («EL DESDICHADO» И ЕГО ПАРАЛЛЕЛИ В РУССКОМ АКМЕИЗМЕ)

Вопрос о возможных связях и перекличках русской поэзии с образами Нервала еще не поставлен. Тем не менее, есть основания для рассмотрения этого вопроса, поскольку следы знакомства с Нервалем в начале XX в. несомненны (творчество В.А.Комаровского, превосходного знатока французской литературы /ср. мотив безумия, роковой в биографии обоих поэтов/; появление в 1912 г. переводов избранной прозы Нервала, сделанных П.Муратовым, написавшим и специальную статью о французском писателе; свидетельство /позднее/ современника: "Все друзья, бывавшие в доме на Фонтанке [где жила О.А.Глебова-Судейкина, какое-то время – с Ахматовой], знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге. Но в те годы поэзия Нервала в нашем кругу почему-то не упоминалась" и далее: "У Нервала был в его безумии тот же профетический опыт сознания и чувствования, то же эсхатологическое чувство одержимости поэзией, как у Хлебникова и у Мандельштама, но задолго до них", см. "Детский рай" А.Лурье; ср. эпиграф из Нервала в стихотворении Ахматовой 1963 г. и т.п.). Более того, можно говорить о важности этого вопроса, поскольку ряд образов Нервала актуализируется в поэзии Мандельштама

и Ахматовой, но позже, начиная с 20-х годов. Ключевым текстом (подтекстом) стал сонет "El Desdichado": таковым он был и для Нерваля, открывшего им цикл "Les Chimères". Выбор в качестве основы одного и притом общего текста двумя поэтами вполне в духе принципов акмеизма и той соотнесенности "подтекстов", которая проявляется в диалогической перекличке у обоих поэтов (Даште, Вийон, Расин и др.; можно добавить, что само название сонета Нерваля является "цитатой" из "Лйвенго"). Ср.: "Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на "Федре"... ("О природе слова"). В этом контексте ориентация на "El Desdichado" не должна вызывать удивления, тем более, что сочетание образов бездны, тьмы, ночного мрака с тоской-воспоминанием по навсегда утраченному и дорогому стало темой дня для этих русских поэтов. Уже отмечалось, что мандельштамовский образ *И вчерашнее солнце на черных носилках несут* перекликается с ...et mon luth constellé | Porte le Soleil noir de la Mélancolie у Нерваля (ср. Мандельштам, Собр. соч. Т. 3, стр. X—XI, 404 и сл.) — при богатом собрании образов черного солнца у Мандельштама (*Солнце черное взошло; Солнце черное взойдет; Черным солнцем осиян;* ср.: *Это солнце ночное хоронит...; А ночного солнца не заметишь ты* и др.; мотив меланхолии у Нерваля отсылает к Дюреру, ср. "Aurelia": ...il ressemblait à l'Ange de la Mélancholie d'Albrecht Dürer...), ср. также soleils éteints в "Le Christ aux oliviers" III. В данном случае образ *le Soleil noir* выступает не только как частный подтекст, но и как средство связи со всем огромным "контекстом" черных (ночных, губительных) солнц, включающим в себя материал самых разных традиций. Благодаря этой связи формируется особая аккумуляюще-усиливающая конструкция, передающая отмеченно напряженные смыслы. Выбор же для ссылки именно образа Нерваля можно объяснить его обнаженностью и специфической обостренностью: поэт мотивирует черноту солнца в тексте (прозаическом), но сама эта мотивировка отсылает к внетекстовой реальности (видение черного солнца перед вторым припадком безумия). Но как подтекст можно рассматривать и второй семантический полюс "El Desdichado" — устремленность к образам прежней, той жизни, пути к которой закрыты: Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie, | La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé... (ср.: *Au Pausilippe altier... "Myrtho"*), чему отвечают у Мандельштама такие ходы, как *На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!* (ср.: *И ясная тоска меня не отпускает | От молодых еще, воронешских холмов — | К всечеловеческим, лснеющим в Тоскане или Разрывы круглых бухт и трящ, и синева | ...Я с вами разлучен, вас оценив едва, или И когда я наполнился морем | Мороз стала мне мера моя и т.п. /1935—1937/); ср. также La mer nous renvoyait son image adorée ("Horus") и вся тема Тосканы (:тоски); из более частных совпадений ср. сочетание мотивов грота*

(иллюзорно-мифопоэтического) и самоотжествления поэта перед лицом смерти: ...*Я забыл ненужное "я" | Я блуждал в игрушечной чаще | И открыл лазоревый грот... | Неужели я настоящий, | И действительно смерть придет?* при *Suis-je Amour ou Phoebus? ...Lusignan ou Biron?* | ... *J'ai rêvé dans la Grotte où nage la Snyne*.. Ахматова, строя "нервалианский" текст в ряде стихотворений, исходит скорее из других воплощений темы *le Soleil noir*, ср. *Je suis le Ténébreux, — le Veuf, — l'Inconsolé, | ...Ma seule Étoile est morte...*, особенно из стиха, непосредственно следующего за *le Soleil noir*, — *Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé...*, превращая его в подтекст. Вторую часть стиха Ахматова превращает в эпиграф "Предвесенней элегии", допуская минимальный ("однобуквенный") сдвиг *...toi qui m'as consolée*, играющий, однако, исключительно емкую роль: цитата из Нерваля начинает описывать ее личную ситуацию, субъект образа "осваивается" ею (известны реальные обстоятельства появления этого *consolé*). Но этим трансформации не заканчиваются: цитата из Нерваля образует "имплицитную" конструкцию, явленная вторая половина цитаты как бы заставляет вернуться к необозначенной первой половине — *Dans la nuit du Tombeau...* (примеры этого рода у Ахматовой встречаются не раз), которая имеет в стихах Ахматовой свои многочисленные соответствия (их признаки — лексемы *ночь, бездна, смерть, могила, окровавленные плиты, гибель* и т.п.), о чем здесь не говорится. С этой же темой связаны и другие ряды переключек. Так, строка *Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron* (ср. вариант: *deux fois, vivant, traversé l'Achéron...*, *manuscrit Lombard*; ср. разработку той же темы в "Antéros": *Ils m'ont plongé trois fois dans les eaux du Cocyte*) соотносима с поэтической конструкцией Ахматовой о прижизненном сошествии в царство смерти (Гильгамеш, Орфей /ср. *Orphée* в "El Desdichado"/, Данте и др.), о том, что такое сошествие — судьба и удел поэта; можно напомнить, что "*Aurélia*" обрывается фразой, которая исключительно важна для понимания психологии творчества Нерваля (и, конечно, многих других поэтов): "...*et je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, pour les anciens, représentait l'idée d'une descente aux enfers*". Образ "упраздненной" башни у Нерваля (*Je suis ... Le prince d'Aquitaine à la Tour abolie* переключается с ахматовскими строками *Кто знает, как пусто небо | На месте упавшей башни...* (Из цикла "Юность"), сопоставляемыми в свою очередь с цитатой из Жан-Поля (*Dieu est mort! le ciel est vide...*), используемой Нервалем в качестве эпиграфа к "*Le Christ aux oliviers*" (указано Т.В.Цивьян); ср. также *Пустых небес прозрачное стекло* (ср. *В той ночи и пустой и железной...*; ... *В пустую ночь, где больше нет тебя...*) и т.п. и другой вариант образа башни ("Уединение") у Ахматовой и мандельштамовское *И стоит осиротелая И немая вышина, | Как пустая башня белая, | Где туман и тишина* ("Скудный луч...", где, кстати, *осиротелая* может быть понято как отсылка к *desdichado*). С образом мертвой звезды (→ звезда смерти) *Ma seule Étoile est morte...*

перекликается И прямо мне в глаза глядит | И скорой гибелью грозит | Огромная звезда (ср.: Была над нами, как звезда над морем, | Ища лучом девятый смертный вал... | А ночью ледяной рукой душила...; Под жакими же звездными знаками | Мы на горе себе рождены? ср. желтую звезду в моем окне... и т.п.), а с мотивом бездны (*Abîme! abîme! abîme!* "Le Christ aux oliviers" и др.) — Тем же воздухом, так же над бездной Я дышала когда-то в ночи... (ср.: Как над пылающей бездной... и т.д.). Видимо, можно поставить вопрос и о "Wahlverwandschaft" других текстов Нерваля со стихами Ахматовой и Мандельштама. Так, богатое "нервалианскими" ходами стихотворение Ахматовой, посвященное памяти Мандельштама (полный вариант), помимо возможной отсылки к "El Desdichado" (*Это голос таинственной лиры, | На загробном гостящей лугу при la lyre d'Orphée* у поэта, дважды пересекшего Ахерон, в финале стихотворения), может быть, объясняется хотя бы частичными перекличками с прозой Нерваля. Ср.: *Это кружатся Эвридики... (при Ничего, голубка Эвридика... у Мандельштама и возможных реминисценциях мейерхольдовской постановки глюковского "Орфея" в Мариинском театре в 1911 г. /ср.: Где-то хоры сладкие Орфея...; Чуть мерцает призрачная сцена, | Хоры слабые теней...; О широкий ветер Орфея.../)* — *Eurydice! Eurydice!*, эпитафия ко 2-ой части "Aurélia", начинающейся словами — *Une seconde fois perdue!* [ср.: *deux fois vainqueur... .*]. *Tout est fini, tout est passé!* и т.д. По наблюдениям Т.В.Цивьян, мандельштамовское "Notre Dame" в ряде образов ориентировано на "Notre-Dame de Paris" Нерваля. Ср.: *... cette carcasse lourde, | Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde | Rongera tristement ses vieux os de rocher. | ... Viendront pour contempler cette ruine austère... при ... распластывая нервы, | Играет мускулами крестовый легкий свод... | Чтоб масса грузная стены не сокрушила, | ... Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, | Я изучал твои чудовищные ребра... с определенной соотносительностью концовок обоих стихотворений. Не исключено, что противопоставление, заключенное в стихе *Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres* ("Vers dorés") учтено Мандельштамом там, где камень соотносен с темой души (как ранний вариант *тяжести и нежности*); ср. инверсию: *И храма маленькое тело | Одушевленное стократ | Гиганта, что скалою целой | К земле беспомощно прижат!* (ср.: маленький — гигант) или противопоставление *Чудака Евгения*, который бедности стыдится, и жесткой порфиры государства, грубой, как власяница, в "Петербургских строфах". И все-таки именно "El Desdichado" стал той, если не единственной, то наиболее важной страницей, на которой раскрылся Нерваль для русской акмеистической поэзии.*

К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИКИ СТИХОВОГО СЛОВА

1. Опыт послесимволистской поэзии и параллельное ему теоретическое осмысление природы стиховой семантики свидетельствуют о кризисе традиционного отношения к слову в стихе. За поисками нового языка, в замысле прозрачного для смысла или имманентного смыслу ("заумь"), универсального (в силу многоязычия текста — Э.Паунд, или обращения к глубинным всеобщим "корням", "струнам мировой азбуки" — В.Хлебников) или же, напротив, углубленного в фонетическую и грамматическую уникальность родного языка, стоит девальвация "обыденного", "прозаического", "словарного" слова как носителя смысла и эмотивного стимула. Стихотворный язык "универсалистского" типа отменяет необходимость перевода, "уникалистского" — делает перевод в сущности невозможным.

2. Теории "стихотворного языка" или "языка лирики" созвучны современному им творческому опыту: свой объект они описывают отталкиваясь от "прозы слова", в контраст ей. Можно заметить, что значительное переосмысление затрагивает самый статус слова как основной семантической единицы художественного языка (характерен демонстративный разрыв с традицией Потебни, пытавшегося построить всю теорию литературы на основании слова). Смысловой единицей выбирается больший, чем слово, речевой фрагмент ("стиховой ряд" с его общим "колеблющимся признаком значения" у Ю.Н.Тынянова). Преобразование же или "деформация" семантики отдельного слова в таких "рядах", контекстах разной протяженности ("в слово сплавлены слова" Б.Пастернак), осуществляется за счет выявления затемненных в "прозе" составных его семантики: грамматического, этимологического значений, фонетического квази-смысла. Таким образом, "естественному" масштабу слова в его цельности и отделенности предпочитают "макро-" и "микро-" элементы семантики. "Макроэлементы" несут неустойчивый, предельно индивидуализированный смысл, "микро"- же, напротив, в замысле предельно постоянны в своем обобщенном значении. Крайний случай такого сдвига масштабов представлен в стихах В.Хлебникова ("Слово об Эль" и др.): смысл отдельного слова (границы которого неустойчивы, что выражается даже в графике) здесь — более частный, чем смысл звука, который оно включает, он — составляющая этого смысла.

3. Среди многообразных попыток "реформы" стихотворного слова особое место принадлежит Р.М.Рильке, чей опыт противостоит в сем поискам языка, прозрачного для смысла, противопоставит как находка. Смысловая единица языка его "новой лирики" — несомненно, слово. "Новым" это слово становится весьма своеобразным способом: не путем отказа от старого, более "прозаического" слова, а путем усугубления самых старых его свойств. Слово Рильке, прежде всего,

углубленно словарное; оно освобождено от всех суживающих употреблений и несет в себе не столько смысловые потенции языка, сколько смысловые потенции того мира вещей, на который оно просто указывает. Лучший контекст для такого слова – перечень, список, избавляющий от взаимодействия с речевым окружением (см. экстатические "списки" Дуинских Элегий – напр., *die Sterne des Leidlands* Десятой Элегии:

...Dann, weiter, dem Pol zu:

Wiege; Weg; Das Brennende Buch; Puppe; Fenster).

"Простота" словаря Рильке превратно трактуется как "сниженность", "прозаизм": прозаизм, как и поэтизм, включают в себя слишком много смысловой периферии, Рильке же необходимо слово вне стилистики, менее всего соотносительное с субъективностью. Он выбирает нейтральный центр семантического поля, "бедное" (как *беден*, напр., "лес" рядом с "рощей", "бором" и т.п.), но отнюдь не "прозаическое" слово. Слово Рильке при этом конкретно: многозначность его связана только с многозначностью смысла самой "вещи". Второй полюс значения у всех его внутренне синонимичных лейтмотивных слов – не какой-то отдельный, хотя и не исчерпываемый пониманием смысл, как это бывает в символистской поэзии, а нечто вроде *Alles*. Внутренне однородный смысл ключевых слов отсылает к смысловой однородности самих "вещей" Рильке, за каждой из которых "стоит Бог". Полнее всего эти отношения различия и однородности передает образ созвездий, одна из любимых "картин" Рильке. Выбирая уподобления для своего *Alles*, Рильке не прибегает к "готовым" мифическим и религиозным системам уподоблений, выбирая "малые вещи (*resp.* слова), как и великие". Присутствие слов, отсылающих к предметам, не имеющим долгой культурной традиции смысловой ценности, и дает повод для плоского вывода о "прозаизации" поэзии у Рильке. На самом деле это ее поэтизация, возвращение к "первому поэту" (Орфею, пророку, Царю Давиду у Рильке) завоевывающему мир вещей для смысла. Кроме "бедности" слов, избранных ключевыми, нужно отметить "бедность" самого словаря Рильке. Речь идет не о его реальном объеме, а об ощутимой ограниченности и семантической неизменности слов, превращающихся в квази-термины – и существительных, таких, как *Mädchen, Teich, Garten* ..., и глаголов, таких как *meinén, warten, sagen* ..., и прилагательных, как *dunkel, leise, warm, tief*, и даже междометий. Они переносятся из стихотворения в стихотворение в одном и том же сугубо рильковском смысле. Характерно избегание метафор, особенно антропоморфных в описании нечеловеческой реальности. Центральное место занимает сравнение – представляющее, по-своему, не меньшую, чем список, возможность сохранения словарной, внеконтекстуальной полноты значения слов и разделенности уподобленных "вещей". В особой степени этой способностью обладает сравнение изблбленной Рильке структуры: сопоставление "внутреннего", или "абстрактного" – и "здешнего", или конкретного образов:

Die Sehnsucht wie ein Garten liegt. Тяжесть такого сравнения лежит на "здешнем" образе: именно он постоянен, тогда как "внутренний" переменен и может быть замещен другим. *Hiersein ist herrlich.* В своем пределе язык "новой лирики" Рильке — это "язык вещей", а не "язык слов", причем "вещей" как можно менее искаженных всем слишком личным в восприятии: автор высказывания исчезает, роль его сводится к понимающему молчанию при беседе разьединенных вещей. Так, путем отказа от всякого волевого преобразования или деформации смысла слова, Рильке выводит за пределы слова и языка, к композиции смыслов, к расположению "вещей", которые остаются собой и в другой языковой плоти (в подстрочнике). Идеологичность стремления к стихотворению-вещи, стихотворению-смыслу очевидна:

**Sind wir vielleicht hier um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster; —
höchstens: Säule, Turm... aber zu sagen, versteh's
o zu sagen so wie selber die Dingen niemals
innig meinen zu sein... (Девятая Элегия).**

Ю.Г.Проскураков

МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Природа мифа определяет его знаковое устройство. Знаковые представления, связанные с мифом, образуют иерархию символов в пределах метаинварианта. Метаинвариант представляет собой треугольник, вершины которого образованы символами деятеля, среды и атрибута. Развитие мифопоэтического ряда в стихотворении Д.Томаса "A Grief Ago" происходит, в частности, за счет немифической эмблематики, совмещаемой с исходными мифическими атрибутами или замещающей их, а также с помощью аллюзий и травестизма. В визуальной модели рассматриваемого текста присутствует инвариант символа мирового дерева (ср. работы В.В.Иванова и В.Н.Топорова). Символ дерева реализуется в тексте через многозначность слов *thorn, stem, masted, iron, paddler's, fingerman, bud, rod, horn* и др. Все эти слова одновременно реализуют в тексте значение фаллического символа. Подобная трактовка мирового дерева не нова и встречается, скажем, на рисунке из алхимического манускрипта (Bibl. Laurenz., cod. Ashburn, 1166 fol 16^v). Наиболее полно инвариант мирового дерева реализуется в строках II строфы: "*Was who was folded on the rod the aaron/Rose cast to plague*". Здесь *rod* представляет символ дерева, обвитого змеем (по форме посоха первосвященника), *aaron* — символ змееборца, *rose* — текстуальный символ богини Англии (вводимый через эмблему страны). Основным отклонением от инварианта мы считаем организацию визуальных объектов референции, несущих символы, в одной из своих возможных реализаций образующую зрелище, контекстуально означающее грехопадение. Символ

женского божества при этом: реализуется в текстуально-контекстуальной многозначности следующих компонентов поверхностной структуры текста: *she, the fats and flower, hell wind and sea, tower, mail, venus, bowl. chrysalis, leaf, rose, frog.*

Соответствующий смысловой фрагмент подвергается ротации, образуя 8 вариантов в пределах двух первых строф. Оставшиеся три строфы стихотворения "A Grief Ago" дополняют структуру загадки, отгадкой которой является образ мифической богини Англии. Этот образ и связанная с ним группа мифов и являются семантическим стержнем рассматриваемого текста. Выстраивая мифологемы в ряд соответственно времени их возникновения, мы получаем следующие мифопоэтические группы реализации текста (симультанно сосуществующие при восприятии):

а) Античная мифо-поэтическая группа. Здесь женское божество представлено Венерой (Афродитой), на уровне реального изображения – утренней звездой, совпавшей визуально с верхушкой корабельной мачты). Структура метафоры *masted venus* позволяет расслечь античную группу и по пространственному положению символа женского божества провести аналогию с Сиреной (Гомер). Кроме того, перекрытие в культуровой семантике Афродиты и Елены (как покровительницы моряков и богини красоты) подкрепляет связи текста с группой мифов о Троянской войне. Античная группа реализуется главным образом в пределах 1-ой строфы, вводя в текст темы: весны, красоты, любви ветрености, войн, кары и странствия.

б) Библейская мифопоэтическая группа. Возникает в тексте на фоне античной. Женское божество представлено в этой группе богиней Англией (через эмблему Англии – атрибут богини *rose*). В многозначности мифологемы женское божество может быть опосредовано образом Евы (*on the rod the aaron/ rose cast to plague*). Что касается символа мужчины, симметричного символу женского божества, то и в античной, и в библейской группах он представлен культурным героем. Рассмотренные ранее в связи с толкованием символа женского божества аналогии позволяют интерпретировать корабль как символ Одиссея. Появление этого героя в контексте, с нашей точки зрения, весьма многозначительно, так как именно в нем заключается символическая сила, оплодотворяющая богиню-Англию. Не упоминая роли Одиссея в Троянской войне, можно указать его послегомеровскую родословную. По отцовской линии он является прапраправнуком Прометея. Сын Прометея Девкалион и жена его Пирра (дочь Пандоры, созданной по указанию Зевса Гефестом для того, чтобы навлечь на человечество несчастья за похищенный Прометеем огонь) – родоначальники людей, как и их сын Хелен, прадед Одиссея, его дед Эол и отец Сизиф; в начале и конце этого рода – различные преступления против богов и людей, за что, впрочем, расплачивались не только сами, виновники, но и порожденное ими человечество. Одиссей, в библейской группе Адам, внебрачное дитя Антиклеи, изнасилованной Сизифом накануне ее свадьбы с Лаэртом, олицетворение коварства,

насилия и жестокости, становится мужем Елены – Англии, и в ее лице – всей европейской цивилизации. Не случайно поэтому вторая строфа стихотворения завершается апокалиптическим видением Херувима, позволяющим через откровение пророка Иезекииля провести параллели от обстоятельств гибели Иерусалима к закату европейской цивилизации.

Т.В.Черниговская, Л.Я.Балонов, В.Л.Деглин

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА
И ПОСТРОЕНИЕ ТЕКСТОВ ПРИ БИЛИНГВИЗМЕ
(НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Построение текстов на разных языках у полиглотов многие годы является предметом лингвистических дискуссий. Мы полагаем, что в какой-то степени пролить свет на эту проблему может изучение мозговой организации билингвизма. Нейрофизиологическое изучение билингвизма уже более ста лет находится в поле зрения неврологов. Этот интерес связан с большим разнообразием противоречивых и трудно интерпретируемых фактов, свидетельствующих о том, что при афатических нарушениях у полиглотов языки ведут себя по-разному, с разной степенью интерференции или вытеснения. Многочисленные доказательства принципиально разной роли правого и левого полушарий в речевой деятельности, накопленные в последние годы, определили новый подход к изучению билингвизма. Нами исследовалась организация речевого поведения (построение текстов в спонтанной речи, при пересказах и при метаязыковых операциях) у билингва в условиях преходящей инактивации одного из полушарий мозга. Инактивация вызывалась лечебным унилатеральным электрошоком. Чередование право- и левосторонних электрошоков позволяет сопоставлять эффекты угнетения правого и левого полушарий у одного и того же человека. Исследовался больной с родным языком туркменским, русский язык выучен позже школьным методом, владеет им свободно, живя в русскоязычной среде. По данным обследования больной праворукий, левое полушарие доминантно по речи. Все исследования проводились на русском и туркменском языках. Восстановление речевой деятельности в процессе рассеивания угнетения левого полушария характеризовалось опережением включения систем туркменского языка в сравнении с реституцией русского языка, предпочтением использования туркменского языка и затруднением активизации русского. Иные отношения между языками выявились после правосторонних инактиваций. Восстановление речи протекало гораздо быстрее, при этом больной пользовался исключительно русским языком, игнорируя туркменский, отвечал развернутыми, сложно построенными фразами. Грамматическое оформление, связность и осмысленность пересказов коротких текстов также зависит от того, какое полушарие угнетено. В условиях угнетения левого полушария пересказ возможен только на родном языке и только на поздних стадиях послеэпиприпадного периода. Пересказ семантически связан, содержит много конкретных деталей, но сюжет оригинала не воспроизводит. На

русском языке пересказ невозможен. В условиях угнетения правого полушария пересказ текста на обоих языках имеет сходные черты: на ранних этапах восстановительного периода – это бессмысленный набор многократно повторяемых фрагментов грамматических конструкций; на поздних этапах – появление оформленных простых предложений, семантической связности рассказа. В тестах на анализ грамматического материала больному предлагались для классификации фразы, представлявшие собой активные и пассивные, прямые и инвертированные конструкции, включающие обратимые предложения с отсутствием семантического ключа. Понимание таких конструкций требовало полного трансформационного анализа для выяснения субъекта и объекта действия. В лексических тестах больному предъявлялись слова, которые допускали возможность классификации с опорой на языковую форму (синонимия-антонимия с отрицательной трансформацией одинаковых лексем и синонимия-антонимия с использованием разных лексем), либо с опорой на референт. Проведенное тестирование выявило существенные различия в метаязыковых операциях, производивших больным на родном и втором языках при угнетении одного из полушарий. При работе с материалом на родном языке угнетение любого полушария не лишает больного возможности производить метаязыковые операции, но вызывает противоположно направленные их сдвиги: угнетение левого полушария приводит к усилению опоры на семантику и утрате значения языковой формы; угнетение правого полушария усиливает опору на языковую форму и устраняет опору на семантику. При работе над языковым материалом на втором языке угнетение левого полушария ведет к полной утрате возможности производить метаязыковые операции, а угнетение правого полушария не влияет на эту способность, либо даже ее улучшает, при этом больной ориентируется на языковую форму. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что левое и правое полушария играют принципиально разную роль в нервной организации родного языка, приобретенного прямым, материнским методом, и второго языка, выученного школьным методом. Рассматривая значение функциональной асимметрии мозга для языка с позиций генеративной семантики, можно полагать, что нейрофизиологические механизмы правого полушария обеспечивают формирование глубинных структур высказывания на родном языке; левое полушарие курирует постсемантические процессы – трансформации глубинных структур в поверхностные. Порождение глубинных структур второго языка, выученного школьным методом, вероятно, обеспечивается структурами левого полушария, им же организуются трансформационные процессы на этом языке. Таким образом, различие в роли полушарий при билингвизме сводится к разной латерализации механизмов, обеспечивающих начальные этапы порождения текстов на разных языках: порождение глубинно-семантических структур и направление трансформационных процессов. Решающим фактором в распределении функций полушарий при билингвизме является способ овладения вторым языком. Высказанные выше положения

интересно рассмотреть применительно к вопросам интерференции или разделения языков при совмещении в билингве двух языковых кодов — первичного, отражающего процесс мышления, и вторичного, являющегося в известной мере переводом с языка на язык. Способ усвоения языка смещает долю "перевода" в речевой деятельности индивида и по-разному распределяет участие в ней полушарий головного мозга.

В.М.Сергеев

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЯЗЫКА ДИСКА ИЗ ФЕСТА

Исследованию диска из Феста посвящено значительное число работ. Однако большинство из них имели целью полную дешифровку диска на основе априорных суждений о языке текста. Между тем успехи структурной лингвистики позволяют поставить задачу несколько по-иному. На основе структурного анализа текста можно попытаться сопоставить неизвестный язык диска с известными языками ареала. В такой постановке задача, по-существу, трансформируется в задачу распознавания образов. Речь идет о том, чтобы развить метод "стирания" смысловой индивидуальности текста, и выделения "объективной грамматики" языка, которая должна быть сопоставлена с грамматикой "соседних" языков. При этом возникает следующая проблема. Общность структуры ничего не говорит о генетических связях языков. Для выяснения этих связей обычно используется сходство материального воплощения языка (звучание), которое, в отличие от структуры языка, случайно и функционально не нагружено. Настоящая работа основана на том, что в языке существуют структуры, отличные и от грамматической и от смысловой структур и в этом отношении столь же случайные как и звучание. Наличие таких структур делает возможным определение генетических связей неозвученного языка с помощью структурного анализа текста. А именно: в силу ограниченности запаса фонем в языке морфемы, выполняющие разные роли (т.е. встречающиеся в различном грамматическом контексте), могут быть воплощены в одном и том же материале (звучании). Наличие в двух сходных по структуре языках изоморфных по ролям пар морфем, воплощенных одним и тем же материалом, есть факт случайный и может использоваться для выявления родства языков.

В работе применялась следующая методика:

1. Выделялись сегменты текста из повторяющихся последовательностей знаков (словоразделитель тоже считается знаком).
2. В том случае, если сегменты находятся между собой в системном соответствии, они считаются элементами структуры языка. Наиболее важные системные соответствия следующие:

а/ несколько сегментов составляют целое слово; б/ сегменты образуют регулярную последовательность в словесной структуре текста; в/ сегменты систематически располагаются в определенном порядке внутри слова; г/ очень редкие знаки в совокупности с сегментами составляют целое слово.

Примененная методика позволяет построить "развивающийся алгоритм" анализа структуры текста. Использование принципов 1 и 2а приводит к выделению некоторых морфем (корней, префиксов, суффиксов). Регулярности в последовательностях морфем позволяют расчленивать текст на строки и, применяя принципы 2б, в, г, выделить в качестве морфем новые сегменты. После чего можно проверить корректность этого выделения с помощью принципа 2а. Этот цикл может повторяться, причем увеличивающееся количество объектов (морфем) будет приводить к модификации способов обнаружения новых объектов. Таким способом в тексте диска удается идентифицировать не только морфемы, выделенные в работе Г.Ипсена (для этого в основном хватает принципа 2а), но и много других, а главное выделить два класса слов, один из которых обладает агглютинирующей префиксальной структурой с четырьмя рангами префиксов, а другой — как суффиксальной, так и префиксальной структурой. Выделение классов основано на следующем факте: существует группа префиксов и группа суффиксов, которые не встречаются в одном слове. Естественно отождествить первый из этих классов с глаголами, второй — с именами. Кроме этого удается выделить следующие факты грамматики языка диска: основа глагола формально не отличается от именной основы, часть глагольных префиксов является также префиксами имени; наблюдается аллитерация префиксов в соседних словах, возможно образование сложных слов, есть слова, составленные из формантов; знак, обозначающий суффикс имени (передающие косвенный падеж), является частью двусложного глагольного префикса; определение предшествует определяемому. Сопоставление грамматики языка диска с известными языками ареала показывает, что единственным языком, все грамматические показатели которого совпадают с грамматическими показателями языка диска, является хаттский язык. Это, однако, не гарантирует родства указанных языков, так как звучание языка диска неизвестно. Факт родства может быть выявлен путем сопоставления омофонных морфем в обоих языках. В табл. сопоставлены омофонные морфемы хаттского языка и языка диска. С помощью статистической модели оценена вероятность такого или лучшего совпадения. Эта вероятность оказывается порядка 5%. Полученные результаты, на наш взгляд, подтверждают высказанные в работе Вяч.Вс.Ивановым аргументы в пользу родства хаттской культуры и минойской культуры Крита.

суффиксы		префиксы						
имя	глагол	имя		глагол				
		аллит.	не аллит.	0-ранг	1-ранг	2-ранг	3-ранг	4-ранг
язык диска	⊙				⊙			
	✎							✎
	⌒	⌒			⌒	(⌒)	(⌒)	
	(☆)	☆						☆
хаттский язык	ГЛ.+n	es				(es)	es	
	ua	ua		(ua)	ua	(ua)		
	ГЛ.+n	ha					h a	
	pi	pi		(pi)	(pi)	(pi)	(pi)	pi
tu		ka		(tu)	tu			ka
ta						ta		
		se		(se)	(se)	se		

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ТЕКСТА ФЕТСТСКОГО ДИСКА (ФД)

1. По поводу языка ФД было высказано множество предположений. Обычно вопрос о языке решают в контексте происхождения памятника, которое в свою очередь пытаются установить путем идентификации рисуночных знаков с соответствующими объектами материальной культуры народов Сердиземноморья. На этом основании было постулировано: карийское, ликийское, анатолийское, кипрское, семитское, филистимское и др. происхождение.

2. Пафос данной работы состоит в том, что гипотеза о языке выдвигается на основе наблюдения над *синтаксической структурой самого текста*.

3. Методологически работа строилась таким образом, что в длинных цепях со значительным количеством повторяющихся знаков, стоящих в одной позиции, были обнаружены закономерности чередования не только аффиксов, но и знаков основы, относительно последнего может быть высказано предположение о *корневой флексии*, при которой изменение грамматического значения слова достигается изменением диффикса корневого знака (т.е. гласного при корневом согласном), что при слоговом характере письма сопряжено с изменением знака. (Результаты наблюдения представлены в таблице). Конечно не исключена полностью вероятность того, что слова с чередующимся в основе знаками являются разнокорневыми, типа:

от-лич-ный	день(-)		
	день(-)	↔	(-)ме-ди-ка
на-лич-ные	день-ги	↔	из-ме-ди(-)
	тень		из-ме-на(-)
			Ха-но-ва(-)
			.. и т.п.

Однако, вероятность появления в столь коротком тексте, каким является ФД, в таком количестве (2/3 объема текста) цепей подобного рода, составляющих связную речь, — ничтожно мала.

4. Таким образом, синтаксическая структура текста ФД позволяет постулировать гипотезу о *флективно-агглютинативном строе языка* с равноценной аффиксацией слева и справа и корневой флексией, что в ареале Сердиземноморья характерно для языков *семитской группы*.

5. В виду того, что чередующиеся в одной корневой позиции знаки с высокой степенью вероятности имеют общий согласный, дешифровка текста по принципу акрофонии становится надежной, а системный подход к агглютинации текста позволит более уверенно прочесть комбинаторным способом аффиксальные знаки.

6. Если языковая гипотеза верна, то текст имеет потенции для не тривиального пути дешифровки, а именно, — *прочтения комбинаторным способом непосредственно корня*.

КОРНЕВЫЕ БЛОКИ

ИН-ДЕКС	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX(I?)	X	XI
B ₅₋₇				●△□	●△□						
B ₂₄₋₂₇	△▽□●	←	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□					
B ₁₅₋₁₈	△▽□●	△▽□	△▽□	△▽□					
B ₉₋₁₁		△▽□●	△▽□	△▽□	△▽□						
B ₁₃			△▽□●								
B ₁₋₂		△▽□●	△▽□	△▽□	△▽□						
A ₂₈₋₃₁		●△□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	
B ₂₁₋₂₃						△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	
B ₂₉₋₃₀					△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	
A ₂₆₋₂₇					△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	△▽□	
A ₂₂₋₂₄								△▽□	△▽□	△▽□	△▽□
A ₄₋₈								△▽□	△▽□	△▽□	△▽□
A ₁₋₂								△▽□	△▽□	△▽□	△▽□
A ₁₀									△▽□	△▽□	△▽□
A ₁₅									△▽□	△▽□	△▽□
A ₁₆									△▽□	△▽□	△▽□

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ● - "ВАКУИТНОЕ МЕСТО" АРФИКСА, △ - РЕДУТИКАЦИЯ, □ - ОБРАТНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ

СЕРБСКОЕ НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ОБЛАК – 'ЖЕНИХ'

В 1-ой книге классического сборника Вука Караджича "Српске народне пјесме" (Беч, 1841), далее СНП 1, под № 3 помещена свадебная песня из Бараньи, которая поется при сватаньи:

Надвн се облак изнад девојак',
То не био облак изнад девојак',
већ добар јунак тражи девојак'.

а под № 27 песня, которая поется при выезде жениха из своего дома:

Облак се вије по ведром небу,
и лепи Ранко по белом двору,
опроштај иште од своје мајке,
од своје мајке, од свога оца:
"Опрости мени, мила мајчице, –
мила мајчице, бела црквице,
опрости мени и благослов' ме!
Ја ћу да идем у туђе село,
у туђе село, за туђу сеју,
за туђу сеју, за моју љубу."

В формулах "психологического параллелизма" обращает на себя внимание поэтическая метафора 'облако (туча)' – 'жених'. В сравнении с северновеликорусскими поэтическими "терминами", означающими жениха (*зима, зимушка холодная, остудник млад отецкий сын, чуж отецкий сын, вор-злодей, купец, покупатель, потеряй красу*), исследованными А.В.Гурой ("Фольклор и этнография", 1974), сербский материал представляется нам более древним и восходящим к мифологическим представлениям о мужском и женском начале. Синонимический ряд туча – облако – небо в поэтическом контексте подтверждается и архаическим (исконно мифологическим) значением отдельных южнославянских апеллятивных лексических единиц. Самым ярким примером такого рода является болг. родопск. *облак 'небо'* (Толстой, 1962), хотя известно и юномакедонск. *облак 'радуга'* (Толстой, 1976), связанное, вероятно, с представлением о наличии и возможном открытии другого, более высоко стоящего неба и вообще о последовательном ряде небес (вероятно, до семи; ср. русск. *на седьмом небе*). Представление о небе (равно как и облаке-туче; по сербски *облак* мужского рода) как о мужском начале, о земле как начале женском (сербск. *мајка-земља*, клятва *Тако ми мајке земље!*, фразеологизм *пијан ко мајка земља* и т.п.) и дожде как мужском семени – достаточно древние, имеющие индоевропейские корни. Оно сохранилось в сербской загадке *Висок тата, пљосна мама, бубовит зет, манита девојка* – небо, земля, ветер, туман (Новаковић, 1877), которой соответствует польская диалектная загадка *plaskófka matka, wysoki tatka* – земля, небо (Kosiński, 1914) и западноболгарская *Бесан зет, слена*

керка, сниска мајка, висок татко – ветер-горняк, ветер-юг, земля и небо (Стойкова, 1970). Тексты этих загадок (*висок татко – сниска мајка*) очень близки к сербской (из Бачки) песне, поющейся при входе жениха в дом невесты /Вук СНП 1, № 33/:

Сниска стреа, висок Ћувегија (жених),
пријо наша, девојачка мајко!
Диж'те стреу, нови пријатељу,
да наш Ранко не поломи перје!

Слова *висок, ниска, поломити перја* указывают на еще один достаточно ярко выраженный сексуальный план. Наряду с изложенными представлениями существует, как известно, представление о тучах-облаках как о говядях-быках и коровах и о дожде как о молоке. Оно – также очень древнее, имеет ряд индийских, германских и т.д. соответствий и характерно для сербских сакральных текстов, защищающих от града, бури и т.п. (Толстые, 1981). В северновеликорусской свадебной поэтической терминологии ему соответствует вологодское загадывание жениха дружке в виде загадки "Бык или пороз?". На что дружка обычно отвечает: "Не бык, не пороз, а весь поезд!" (Гура, 1974). Учитывая при этом закон мифа, по которому ему присуще множество представлений об одном предмете, такое положение не должно вызывать недоумений. Видимо, однако, разные представления в разных славянских языковых (*гe sp.* народно-культурных) традициях распределены по разным текстам (*гe sp.* жанрам). Однако такое утверждение требует дополнительного и тщательного исследования.

А.Л.Топорков

К ОППОЗИЦИИ МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ В ЭТНОДИАЛЕКТНЫХ ТЕКСТАХ

В докладе анализируются отношения деривации типа: *горшок → горчица, береза → березун*. По нашим наблюдениям, относящимся к Житомирскому Полесью, дублетные названия предметов, противопоставленные по грамматическому роду, релевантны для двух тематических групп лексики: 1/ для терминологии утвари, например: *дежа → дежун, гладышка → гладышун*, и 2/ для терминологии деревьев, например: *дуб → дубица, шелк'вица → шелкун*. Наиболее продуктивным при образовании существительных мужского рода является суффикс *-ун-*, женского рода – *-ик/-иц-/*. С семантической точки зрения процедура деривации описывает расчленение сигнификата на две ипостаси: мужскую и женскую, причем полагают, что свойства денотата зависят от грамматического рода. Ср., например, об оппозиции *дуб/дубица*: "Его опрэдэляють тым, шо вин нэ мае самыноў, вин бэсплодны. А вона мае сэзнэ, жолуды, – дубыца" – с. Рясно Емельчинского р-на Житомирской обл. /1981 г./ Об устойчивости данной словообра-

зовательной модели и стоящих за ней мифо-поэтических представлений свидетельствует тот факт, что по крайней мере в Черниговской, Волынской и Екатеринославской губерниях *дежа* как квашня с четным количеством клепок противопоставлялась квашне с нечетным количеством клепок, которую называли *дежун, дижур, дж*. Существенно отметить при этом поверья о том, что в квашне с нечетным количеством клепок не будет удаваться хлеб, а также о том, что мужчине нельзя заглянуть в квашню: у него перестанет расти борода. Известны случаи, когда *дежун* превращали в *дежку*, вставляя недостающую клепку. При покупке квашни иногда считали клепки на чет/нечет: *диж, дижа, диж, дижа* и т.д. и отказывались покупать, если количество оказывалось нечетным, т.е. если квашня была *дижем*, а не *дижой*. Задача дальнейшего исследования – выявить максимальный набор соответствующих словообразовательных пар и установить наиболее устойчивые из них.

Т.Б.Менская

ДВА АЯКСА И ПРОБЛЕМЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ В "ИЛИАДЕ" ГОМЕРА

Немалое число героев в "Илиаде" – соперников и товарищей (ἑταῖροι) – связано тезо-именностью. Настоящий факт омонимии приобретает особое значение в свете отдельной центральной роли имени в мифе. Соответственно этой роли целые мифологические структуры реализуются на уровне собственных имен героев (так что можно приписать изначальный характер самим именным структурам в мифе как высказыванию). Также наличие двух Аяксов в "Илиаде" следует признать ярким фактом поэтической структуры. До сих пор, однако, нет ни определенности в мнениях исследователей по вопросу так называемого "удвоения образа", ни, впрочем, специального к нему интереса. Представляется, что удвоенность или раздвоение Аякса в "Илиаде" можно рассматривать, с одной стороны, как оформление тезоименностью однородных героических черт, а с другой стороны, как наличие осмысленной и выявляемой текстом оппозиции внутри некоторого формального единства. Тезоименность Аяксов прямо отмечена в поэтическом тексте и определена как омонимия: (†Р 720) ἴσον θυμὸν ἔχοντες διώβυμον. Два Аякса при этом составляют в "Илиаде" своеобразную боевую единицу, то есть в своих действительных проявлениях образуют непрерывное целое, плотное единство (ср. оформление в тексте целых синтаксических периодов – образом двух Аяксов как рамочной конструкцией). Исходя из этимологии Αἴαξ < αἴα, гом. αἴα/γαἴα можно считать, что за постулируемым целым образом Аяксов (за *аяксом*) стоит первочеловек, ветхий Адам; ср. лат. *homo-humus* а за двоящимся образом Аяксов в "Илиаде" – антропогенетический

миф в его фрагментах. Самое оппозицию $\text{Αἴας Τελαμώνιος} - \text{Αἴας Οἰλῆος}$ предлагается возводить к онтологической противоположности плоти и духа, взаимодействующих в природе человека. В сфере же самопроизвольной деятельности человека такая парность героев предопределяется наличием двух возможностей поведения, вроде *видеть – слышать, вперед – назад* – разграниченных по дихотомической модели. Реализованный в образах Великого и Меньшего Аясов выбор не имеет оценочного характера, вроде *да–нет, благое–злое*.

В.Н.Топоров

К ПРЕДЫСТОРИИ "ПОРТРЕТА" И ХЕТТСК. *TARPALLI-*

Согласно архаичным мифопоэтические текстам, тело как бы создает себя вторично (строит свой "портрет", памятник себе) в образе, пространства. В самом общем виде "портретность" в этом случае определяется сходствами (или одно-однозначными соотношениями) между телом (\mathcal{A}) и пространством – в составе частей, их расположении, характеристиках, в частности, и функциональных (ср.: глаз – солнце – зрение, уши – стороны света – ориентация; кровь – реки – жизненная сила, кости – камень – крепость/здоровье и т.п.). Но "пространственный портрет" тела (\mathcal{A}) апеллирует к внешнему по отношению к телу и оторвавшемуся от него; эта абстрагирующая экстериоризация тела в его "портрет" к тому же экстенсивна; она ослаблена в отношении своего тела-Матери, но усилена (по сравнению с телом) как образ внешнего мира.

2. Но история культуры (и тем более – "предискусства") знает и другой принцип "портретирования", когда целью является создание интенсивного образа тела с помощью движения в противоположном направлении – углубление внутрь, интериоризация всей суммы тела (\mathcal{A}) в его сердцевину (ядро как "портрет" целого). В этом случае в центре находится уже не мир как разряженное пространство тела, а само тело, но в его сгущении – в максимуме обостренных, подчеркнутых индивидуальных (а позже и "личных") особенностей. Если в первом случае (тело → пространство мира) мир "наращивается", синтезируется, конструируется, превращаясь в новую реальность, как бы порывающую связь с телом (\mathcal{A}); то во втором случае (тело → его внутренний "портрет") связь с телом, наоборот, укрепляется, и уже оно само через свой "портрет" становится самодостаточным, и связи его с миром перестают быть обязательными. Суть этой последней ситуации – в запоминании тела (\mathcal{A}) с помощью его "портрета". Но чтобы "запомнить" суть, нужно включить ее в особый контекст, где эта суть сохраняется или благодаря избыточному запасу деталей, увеличивающих надежность "портрета", или благодаря "стиранию" случайного, второстепенного, феноменального по преимуществу (отсюда –

наличие двух извечных тенденций в искусстве: к детализирующему натурализму и к обобщающе-абстрагирующему изображению). В широких рамках всей истории изобразительного искусства обнаруживается следующая закономерность эволюции "портрета" — центр "портретирования" со временем смещается к все менее и менее сакральным (в конечном счете выводимым из акта творения и им определяемым ценностям) объектам (бог → царь, жрец, вельможа → человек, выведенный из внешней по отношению к его сути иерархии), так сказать, к "просто" человеку, т.е. человеку, определяемому только из "портрета" и потому становящемуся самодостаточной темой искусства (этому, конечно, не противоречит то обстоятельство, что в определенные периоды "портретируются" преимущественно или даже исключительно наиболее сакральные или социально отмеченные персонажи). Не случайно, что уже в искусстве Нового времени именно такой человек стал основой живописного и скульптурного портрета. Ничем не защищенный и не огражденный от разрушительной работы времени, он "запоминается" в портрете, выступающем в данном случае как средство, обращенное против энтропии

3. Идея "портрета" возникает и/или актуализируется перед лицом смерти как овеществляющей силы забвения (отсюда — постоянная связь **пред**портрета" с заупокойным культом, с ритуалами похорон и жертвоприношения — первоначально человеческого). Складывающиеся представления об искуплении и посмертной жизни (и тем более — позже — о воскресении, вплоть до реального воспроизведения человека), при всех реальных сложностях (включая даже общий запрет на изображение человека), в целом дают весьма сильные и плодотворные импульсы для становления "портрета". Ср. особую роль Древнего Египта в возникновении традиции "портрета" в контексте его религиозных представлений, особенно связанных с темой смерти.

4. Уместно обозначить (разумеется, выборочно и, если угодно, субъективно) некоторые вехи на пути к "портрету" (обозначенное выше движение от мира к телу и далее к его сути, извне → "внутри"): украшения на теле ("личные" и коллективные) живых людей и покойников (бусы, подвески, окраска скелетов /охра/ и т.п.), рубеж 2-го и 1-го десятилетия до н.э. — культовые статуэтки (в частности, в могилах), выработка элементов, позже используемых в портретной живописи и скульптуре (линия, форма, моделировка цветом, стандарты типов и поз и т.п.), VII—VI тысячелетия до н.э. — ритуальные статуэтки (Египет), первые изображения человека в глиптике (печать — Тепе-Гавра II), V—IV тысячелетия до н.э. — начало и "первый расцвет скульптурного портрета (статуи Хеопса, Хефрена, Микерина и др. в Египте, "гизехские" головы /ср. "Тексты пирамид", ранние версии "Книги мертвых" и заупокойный культ/, "портретная" голова Саргона в Двуречье /ср. более раннюю голову Инанны/ и др.), III тысячелетие до н.э. — статуи Ментухотепа I и его вельмож, рельефы его храма

и гробниц фиванской знати, портреты Аменхотепа III, женские портреты (Ти, Нефертити и ее дочерей и др.), рельефы Тукулти-Нинурты I, в Язылы-Кая, из Элама (ср. голову эламского царя из Хамадана) и т.п., II тысячелетие до н.э. — образ человека в греческой вазописи и у скульпторов V—IV вв. (Мирон, Фидий, Пракситель, Поликлет, Скопас, Лисипп и др.), этрусские опыты "портрета" (урны-канопы, воспроизводящие голову /лицо/ покойного [иногда сама канопа моделирует в целом всю фигуру; не редко на крышке пеплохранительницы — скульптурная группа: покойный и его семья], ср. образцы из Клузиума; ритуальные маски, votивные головы, портретные изображения, напр., из воска, хозяина дома [ср. царские статуи в присутственных местах в Древнем Египте или статуи завоевателя города, которые устанавливались на городской площади в Месопотамии]), рождение и расцвет римского скульптурного портрета (к ритуальному аспекту ср.:...*relictum | Effigiemque toro locat, haud ignara futuri. Aen. IV, 508* — о костре Дидоны), живописные фаюмские портреты и т.д., I тысячелетие до н.э. — I-ые века н.э. На этом общем фоне с точки зрения предистории портрета и его связей с культом мертвых заслуживают особого внимания две локально фиксированные традиции: египетская (идея мумификации, статуарные изображения в погребениях [ср. портретные статуи *ка*, души-двойника умершего и проблему отражения невидимого в видимом]), создание канона изображения человека и особенно лица в наиболее репрезентативном виде, изготовление картонажных и гипсовых масок, возлагавшихся на лицо умерших и с начала н.э. уступающих место расписным портретам) и этрусско-римская (ср., напр., принципиальное отделение головы от тела [голова как средоточие важнейших жизненных сил; следующий шаг — особая роль лица, "окно души"; эта метонимия, в которой часть /голова, лицо/ отсылает к целому /человек/, сыграла особую роль в истории портрета и — шире — в укоренении идеи "человеческого" в изобразительном искусстве] и т.п. — вплоть до эмансипации портрета, порвавшего со временем связи с ритуалом). История портрета неотделима от эволюции образа человека в словесном искусстве — в религиозно-мифологических, философских и художественных текстах (если брать крайние случаи, то к перечисленному следовало бы прибавить медицинские и юридические тексты). Все более углубляющееся внимание концентрируется прежде всего на индивидуальных и "предличностных" началах человека (ср. роль категорий личности и совести в становлении и развитии портрета).

5. Легко заметить, что уже "предпортрет" четко и исчерпывающе характеризуется двумя особенностями: он выступает как замена человека и он изоморфен ему, т.е. воспроизводит его, повторяет, транспонирует его в особую знаковую сферу. Собственно говоря, "предпортрет" и является синтезом этих двух черт: он не что иное как изоморфная замена человека. Не касаясь здесь всех (как правило, очень важных и далекоидущих) следствий, вытекающих из возможностей изоморфной замены, стоит обозначить лишь самое

основное. Прежде всего "предпортрет" включается в контекст мифопоэтических представлений о двойничестве (и даже отчасти близнечестве), более старый, чем возникновение "предпортрета" (отсюда особые глубинные связи "портрета" с портретируемым и магическая отмеченность "портрета", ср. двойное отношение к изображению человека в истории культуры, в частности, в религиозных движениях). Вместе с тем "предпортрет" вводит соотношение заменяющего и заменяемого (означающего и означаемого). Тем самым осуществляется прорыв в новую знаковую систему, которая со временем неизбежно обретает самостоятельность, становится самодовлеющей (самостоятельность же завоевывается прежде всего на том участке этой знаковой системы, который связан с моделированием человека). Выведение заменяющего ("портрета") из заменяемого (человек) в предистории искусства сопоставимо типологически с выведением мира из Пуруши (т.е. с внешним "портретом" архаичного Я, человека). Овладение техникой "замены", репродуцирования образа с требуемой точностью позволило открыть новый способ хранения информации (ср. выше о проблеме памяти, противопоставленной смерти и забвению) и — более того — ее расширения и углубления. Открывшиеся на этом пути перспективы имели исключительное значение в истории культуры. Открытие способов передачи облика ("замены"), видимо, соотносено по времени с актуализацией мотива "измены облика" (*Но страшно мне: изменишь облик Ты...*). Передача самого существенного в человеке средствами других знаковых систем (ср. найденные в XX в. возможности передавать голос, движения, действия и т.п. человека) и измена (подмена, замена) его облика, по сути дела, две стороны одного явления — стремления человека создать свой образ, устойчивый по отношению к смерти ("память") путем фиксации своих существеннейших особенностей в знаковой сфере (своего рода обмен между природой и культурой, жизнью и вечностью, незнаковым и знаковым, включающийся в универсальную схему обмена — *échange*). Но, разумеется, следует помнить и о другом результате такой передачи своего Я (и связанной с нею "измены облика") знаковой сфере и ее творениям (в частности, "портрету") — человек (Я) запирает сам себя в тесноту своих собственных отражений (отпечатков-образов); они отменяют человека, делая его лишь сырьем для "портретирования", убивают его (ситуация Свистонова из романа Вагинова): двойник, как Голядкин-младший, вытесняет из жизни того, чьей копией он является.

6. В очерченном выше контексте становления "предпортрета" (изоморфные замены-перекодировки) важное место занимают понятия, передающиеся с помощью анат. *tarp-*, и стоящие за ними ритуально-мифологические реалии. Ср. хеттск. *tarpalli-* (с глоссовым клином) 'Bild', 'Personersatz', 'Ersatzmann' (в соотв. с аккадск. *dinānu*), *tarpāšša- id.*, *tarpanalli-* 'Rebell', 'Widersacher'; 'Ersatz'; 'Gegner', 'Usurpator', *tarpanallašša-* и др. (не исключено, что сюда относятся и SIG*tarpāla-/tarpāli-*, *tarpatarpa-*, *tarpī*); лув. *tarpalli-*, *tarpanalli-*,

tarpita- и др. (ср. *tarpa/i-*, которое, видимо, связано с рассматриваемыми словами, как и иерогл. *tarpa/i/ 'piétiner'/?/*), лув.-иерогл. *tarpa- 'entgegen' (senden)*, ликийск. *trbbi 'wi(e)der', 'zurück'* и т.п. В свою очередь анализ этих форм помогает вскрыть ряд существенных внутриязыковых мотивировок обозначений ритуального субститута (прежде всего человека), из которого, собственно, и вырос "портрет". Этимологические связи *tarp-* здесь не рассматриваются, однако важно помнить, что они намекают на показательные смыслы (ср. $\theta\epsilon\rho\acute{\alpha}\pi\omega\nu$ 'товарищ-заместитель'; продолжения и.-евр. **ter-p-/*tor-p*, понимаемые как 'оборот', 'поворот', так сказать, другая сторона медали [обратное по отношению к человеку, т.е. перевернутое, ср. лат. *per-versus, per-verto* в связи с "отрицательным" значением хетск. *tarpanalli-* 'противник', 'соверник' и под.], балт. *tarp-* как обозначение промежуточного слоя, средостения, посредника, череды, серии и т.п.; сюда же и слав. **torp- > тороп-* и др.); многое уточняется в сфере этимологической реконструкции и семантической типологии (ср балт. **terp-* 'пользовать' / прусск. *enterpo* 'полезно' при *pólъзовать* – 1. 'служить', 'помогать' и 2. 'лечить', ср. $\theta\epsilon\rho\alpha\pi\acute{\epsilon}\iota\omega$ 'услуживать' и лат. *med-* 'посредничать' /> 'служить' / и 'лечить', т.е. *medius, -um* и *medeor, medicus* и т.п.). Но в данном случае важнее сами значения производных от анат. *tarp-* и смысл соответствующих реалий. Благодаря ряду исследований (Güterbock, Kümmel, Meriggi, van Brock прежде всего), нет сомнений в том, что с элементом *tarp-* связано значение замены, замещения (*tarpašša-* 'замена', *tarpalli-* 'человек-заместитель', 'личная замена' и т.п., ср. *tarpanallaššatti-* 'он встал на /мое/место'). Но еще важнее, как установила Н. ван Брок, что это не просто замена, замена-компенсация, т.е. единица обмена, указывающая его эквивалентность и независимая от объектов (ср.: человек \equiv агнец или бык \equiv 3 козла и т.п.), а, видимо, такая субституция, которая в принципе воспроизводит человека, повторяет его в знаковой системе ритуала. *Tarpalli-* и под. не предлагают Богу в обмен на его милость в отношении человека: он – "un autre s'oi-même, une projection de l'individu sur laquelle sont transférées par la magie du verbe toutes les souillures dont on veut se débarrasser". То, что *tarpalli-* живая замена (и ею может быть сам человек), противопоставленная замене человека в виде особой фигурки-куклы *šena-*, что *tarpalli-* – элемент ритуала жертвоприношения и так или иначе соотносится с идеей шанса, риска, как бы поворота колеса судьба (жизнь или смерть, удача или неудача), имеющего отношение прежде всего к человеку, наконец, ряд очень показательных контекстов, в которых выступает элемент *tarp-*, – все это позволяет в известной степени реконструировать важное звено в истории "заместительных" образов человека в малоазиатском ареале. Тем самым восстанавливается важная изоглосса, характеризующая предисторию портрета (Древний Египет \rightarrow Малая Азия \rightarrow Италия/этруско-римский "портрет"/ \rightarrow

Египет предхристианского и раннехристианского времени), во времени протянувшуюся с III тысячелетия до н.э. вплоть до начала нашей эры.

7. Если человеческое, человечески-индивидуализирующее, личностное вошло в изобразительное искусство прежде всего в связи с долгим опытом создания портрета, то оно же так или иначе отражалось еще в двух отчасти параллельных рядах изобразительного искусства: во-первых, в пейзаже и натюрморте, возникающих в европейской живописи практически одновременно с первыми попытками портретирования "личности" ("портрет души") и характеризующихся все более возрастающей "персонализацией" (духотворенная природа и мир вещей, отсылающий к человеку, к еще не автоматизированному человекообразному быту), и, во-вторых, в образах которые могут конструироваться (или исторически получать это значение) как противоположные человеку его копии (статуи, куклы и т.п.), отличающиеся от человека отсутствием подлинности, жизни, разума (ср., впрочем, золотых дев /"роботов"/, сделанных Гефестом и обладавших разумом, из "Илиады"), чувств, т.е. как раз человеческого начал, но внешне подобные ему. Утверждение человеческого в самой, казалось бы, неподходящей для него, заведомо неподлинно-человеческой (квази-человеческой) сфере (ср. статуи как образ овеществляющейся действительности, закрывающей путь к "иной жизни" и направленной против человека в поэзии Сефериса; ἀνθρώματα противопоставлены ἄλλη (ζωή), должно рассматриваться как один из предельных, парадоксальных примеров сложного обмена человеческого и вещественного (не-человеческого). Подступы к подобной ситуации можно видеть во включении таких образов человека (бога), как статуя или кукла, в быт (ср. умывание или одевание их /ср. мотив снятия покрывала/, снабжение их вещественными атрибутами быта, словесное общение с ними и т.п. — вплоть до их апофеоза в ритуале /ср. роль статуй в Элевсинских мистериях и других праздниках), во введении их в ситуацию дублирования человека (Алкеста должна умереть, и Адмет страдится утраты: *Я закажу, чтоб статую твою | Мне сделали и на постель с собою | Ее возьму, чтоб ночью обнимать | Звать именем твоим, воображая, | Что это ты, Алкеста, что тебя | Я к сердцу прижимаю... Это — радость | Холодная, конечно; все же сердцу | С ней будет легче...* у Еврипида, ср. портретную статую Протесилая у оставшейся в одиночестве Лаодамии), в мотиве одушевления статуи (в "Дон Жуане" и многих других произведениях), в принятии ее обиды в свое сердце и готовности к жертве (*Не знаю почему — богини изваянье | Над сердцем сладкое имеет обаянье... | Люблю обиду в ней... | О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам | За равнодушие к обидам и годам* /"Расе"/ — у Анненского, переводчика Еврипида, для творчества которого эта тема была ключевой). Аналогичные функции отмечены и у куклы: от изображения божества, духа, предка, покойного (в память об умершем манси изготавливали соответствующую куклу) через театр марионеток (уже

Герон Александрийский писал о механическом театре, где действовали куклы-автоматы; ср. богатейшую европейскую традицию кукольного и куклообразного /люди, изображающие кукол, маски, театра) вплоть до "очеловечения", одухотворения куклы в художественных опытах XX в. (ср. "Петрушку" Стравинского, Бенуа и Нижинского; ср. также ситуацию в классическом японском театре, где кукла-маска и живой актер находятся в органическом слиянии). Уместно напомнить, что Клейст, уловивший трагические аспекты темы человек-кукла, обозначил и их соотношение: он писал о том преимуществе перед человеком, которое "в наиболее чистом виде обнаруживается в том человеческом телосложении, которое либо вовсе не обладает, либо обладает бесконечным сознанием, то есть в марионетке или в Боге" ("О театре марионеток"). В предельном случае это и есть определение сферы портретируемого человеческого начала.

¹ Введением к тезисам служит статья автора "Пространство и текст" в сборнике "Текст: семантика и структура" (в печ.).

Корректирующее дополнение к с. 121 тезисов В.Н.Топорова
об анаграмме:

Обращает на себя внимание то, что в других случаях *ласточка* соседит с греческими женскими именами, как бы имплицитными (по языку и по рифме) $\chi\epsilon\lambda\iota\delta\acute{\omega}\nu$. Ср.: *Все ласточка, подружка, Антигона...* или *В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, Слепая ласточка бросается к ногам...*, т.е. *ласточка* → Nom. prog. *græc.* → $\chi\epsilon\lambda\iota\delta\acute{\omega}\nu$.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

Стр.

А.В. Головачева, Вяч.Вс.Иванов., Т.Н.Молошная, Т.М.Николаева,Т.Н.Свешникова, Е.АХелимский, ПРИТЯ- ЖАТЕЛЬНОСТЬ (ПОСЕССИВНОСТЬ) И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ	1
Вяч.Вс.Иванов СТРУКТУРА ХАТТСКИХ И ХЕТТСКИХ РИТУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ И СИСТЕМА ХАТТСКИХ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ	6
А.В.Головачева. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПО- СОБ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПОСЕССИВНОСТИ..	8
Т.Н.Молошная. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРТИКЛЕЙ В БОЛГАР- СКОМ ТЕКСТЕ	13
Ю.Д.Апресян. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛЬ- НОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕ- НИЯ	16
Е.В.Падучева. О СВЯЗНОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА	20
Е.Л.Гинзбург, М.А.Пробст. КОНТЕКСТ КАК СТРОЕВАЯ ЕДИНИЦА СЕМАНТИКИ ТЕКСТА	23
Ю.И.Манин. О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ	25
Вяч.Вс.Иванов. НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРОЖДЕНИЯ ДВУЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ У ПОЛИ- ГЛОТОВ	27
О ТЕКСТОВОМ ОТРЕЗКЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ РЕЗУЛЬ- ТАТЫ ДИАХРОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	27
А.А. Зализняк. НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ РЕДУЦИ- РОВАННЫХ ОТ УДАРЕНИЯ В ВОСТОЧНОСЛА- ВЯНСКОМ	28
Р.Ф.Пауфощима. ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПОНТАННОЙ РЕЧИ В ВОЛОГОД- СКИХ ГОВОРАХ	31
Вяч.Вс.Иванов. ЕЩЕ О ПРЕДЫСТОРИИ АЛФАВИТА.	33
О СООТНОШЕНИИ ДЕШИФРОВКИ И ИНТЕРПРЕТА- ЦИИ ТЕКСТА	35
О РЕКОНСТРУКЦИИ УСТОЙЧИВЫХ ПАРНЫХ СОЧЕ- ТАНИЙ В ТЕКСТЕ	36

Вяч.Вс.Иванов, Л.В.Иванов. К ОПИСАНИЮ ФОРМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ФЕСТСКОГО ЯЗЫКА	36
С.Н.Муравьев. О ГЕНЕЗИСЕ АРМЯНСКОГО АЛФАВИТА. К ДЕШИФРОВКЕ КАВКАЗСКО-АЛБАНСКИХ НАДПИСЕЙ	38
О ДРЕВНЕГРУЗИНСКОМ АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ	42
	44

II. МИФ, РИТУАЛ, СИМВОЛ

Н.И.Толстой. ВЕРБАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАК КЛЮЧ К СЕМАНТИКЕ ОБРЯДА	46
А.В.Гура, О.А.Терновская, С.М.Толстая. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РИТУАЛЬНЫХ ФОРМ РЕЧИ У СЛАВЯН	47
Б.А.Успенский. РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РУССКОЙ ЭКСПРЕССИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ	49
В.Н.Топоров. ТЕКСТ ГОРОДА-ДЕВЫ И ГОРОДА-БЛУДНИЦЫ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ	53
Г.Хомерики. О СТРУКТУРЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА: Η ΣΦΙΓΞ	58
К ИСТОЛКОВАНИЮ МИФА О НАРЦИССЕ	60
Вяч.Вс.Иванов. ОБ ОДНОЙ ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ К ЗАГАДКЕ СФИНКСА – ЭДИПА	62
К МИФОЛОГИЧЕСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ ТЕКСТА ОДНОГО ИЗРЕЧЕНИЯ ГЕРАКЛИТА	62
Т.М.Судник, Т.В.Цивьян. ЛЯГУШКА В МИФОЛОГЕМЕ ТВОРЕНИЯ МИРА	63
Т.Н.Свешникова. ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕКСТА И РИТУАЛА	65
Т.В.Цивьян. ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΚΗΠΟΙ: КОММЕНТАРИЙ К РИТУАЛУ	67
Л.Н.Виноградова. МОТИВ "ПРИХОДА ИЗДАЛЕКА" В ОБХОДНОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЗИЦИИ СЛАВЯН	68
О.А.Седакова. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОД ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА	70
А.К.Байбурин. К ИСТОЛКОВАНИЮ НЕСКОЛЬКИХ СЛУЧАЕВ РИТУАЛЬНОЙ ЗАВЕРШЕННОСТИ/НЕЗАВЕРШЕННОСТИ	71
В.Э.Орел. ОБ ОТРАЖЕНИИ АРХАИЧЕСКИХ ЧИСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ	73
В.Айрапетян. К ЧИСЛАМ В СКАЗКАХ	75
В.Н.Топоров. ЧИСЛО И ТЕКСТ	76

III. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ

А. ФОЛЬКЛОР

Вяч.Вс.Иванов, К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОТОТИПА ТЕКСТА ЗАГОВОРА, ОБРАЩЕННОГО К ПЧЕЛИНО- МУ РОЮ	89
Г.А.Левинтон, СЛАВЯНСКИЕ ЭПИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И БЫЛИННЫЕ ИМЕНА, ДОБРЫНЯ	89
С.Е.Никитина, ОБ ОБЩИХ ПРИЗНАКАХ ТЕКСТОВ ЗАГО- ВОРОВ И ДУХОВНЫХ СТИХОВ	92
М.И.Лекомцева, О ДВУХ СЛУЧАЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ МО- ТИВИРОВАННОСТИ В СЕМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ ТЕКСТА	93
Ю.И.Левин, ПРОВЕРБИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО	95
З.М.Волоцкая, СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ В ЗАГАДКАХ.	96
Л.Г.Невская, ТАВТОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА	99
Б.Рейдзане, ВАРИАНТЫ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА И МО- ДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА	101
Е.А.Хелимский, ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ШИФТЕРОВ В СЕЛЬКУПСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ПОВЕСТВОВА- НИИ	102

В. ЛИТЕРАТУРА

Ю.М.Лотман, ТЕКСТ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	104
Л.Я.Гинзбург, К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА	106
В.Н.Топоров, ИЗ ИССЛЕДОВАНИИ В ОБЛАСТИ АНАГРАМ- МЫ	109
Вяч.Вс.Иванов, О СКРЫТОЙ ОСНОВЕ ТЕКСТА К ПРОБЛЕМЕ ШИФТЕРОВ В АНАГРАММАТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННОМ ТЕКСТЕ	121 123
В.Л.Цымбурский, СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СПИС- КОВ ИЗ II ПЕСНИ "ИЛИАДЫ"	124
Н.Н.Казанский, РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЭМЫ СТЕСИХОРА "РАЗРУШЕНИЕ ТРОИ"	125
А.В.Лебедев, АНАКСИМАНДР В1ДК: ОПЫТ ИСТОЛКОВА- НИЯ	126
Н.В.Брагинская, О КОМПОЗИЦИИ "КАРТИН" ФИЛОСТРАТА СТАРШЕГО	129

Е.Г.Рабинович. ПРЕДСМЕРТНЫЕ СЕНТЕНЦИИ	133
Л.А.Гиндин. ИЗ КОММЕНТАРИЯ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО О СЛАВЯНАХ	135
К.И.Логачев. РУКОПИСИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ПАМЯТНИКИ ПРЕДЫСТОРИИ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА	138
Т.М.Николаева. ТИПЫ НОМИНАЦИИ ЛИЦА В МАРИИНСКОМ ЕВАНГЕЛИИ	140
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА В "СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	143
Е.М.Мелетинский. ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО РОМАНА	148
А.Кубулыня, М.Лекомцева. ОБ ОСОБЕННОСТИ КОРЕФЕРЕНТНОСТИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ОЯРА ВАЦИЕТИСА "ЭГОЦЕНТРИЗМ"	151
Л.Б. Кушева. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА "РОМАНА-МИФА" ГЕОРГОСА СЕФЕРИСА	153
В.Н.Топоров. ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ СООТНОШЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПОДТЕКСТОМ ("EL DESDICHAO" И ЕГО ПАРАЛЛЕЛИ В РУССКОМ АКМЕИЗМЕ)	154
О.А.Седакова. К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИКИ СТИХОВОГО СЛОВА	158
Ю.Г.Проскуряков. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ	160

ADDENDA

Т.В.Черниговская, Л.Я.Балонов, В.Л.Деглин. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА И ПОСТРОЕНИЕ ТЕКСТОВ ПРИ БИЛИНГВИЗМЕ (НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)	163
В.М.Сергеев. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЯЗЫКА ДИСКА ИЗ ФЕСТА	165
Н.Н.Ерофеева. К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ТЕКСТА ФЕСТСКОГО ДИСКА (ФД)	168
Н.И.Толстой. СЕРБСКОЕ НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ОБЛАК — 'ЖЕНИХ'	170

А.Л.Топорков. К ОППОЗИЦИИ МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ В ЭТНОДИАЛЕКТНЫХ ТЕКСТАХ	171
Т.Б.Менская. ДВА АЯКСА И ПРОБЛЕМЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ В "ИЛИАДЕ" ГОМЕРА	172
В.Н.Топоров. К ПРЕДЫСТОРИИ "ПОРТРЕТА" И ХЕТТСК. <i>TARPAĻĻI</i> -	173

Подписано к печати 15.12.81. А-06894.
Объем 11,5 п. л. Тираж 400 экз. Зак. 349

Офсетное производство типографии № 3
издательства "Наука"
Москва К-45, ул. Жданова, 12/1.

31781RU